НАТАНИЕЛЬ

ГОТОРН

Легенды губернаторского дома



ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА

Легенды губернаторского дома
Натаниель Готорн

Аннотация
Натаниель Готорн. Легенды губернаторского дома
Видение в ручье
Молодой Гудман Браун
Майское дерево Мерри-Маунта
Опыт доктора Хейдеггера
Легенды губернаторского дома
  Маскарад у генерала Хау
  Портрет Эдуарда Рэндолфа
  Мантилья леди Элинор
  Старая Эстер Дадли
Собрание знатока
Железнодорожный путь в Небеса
Новые Адам и Ева
Чертог фантазии
Ведомство всякой всячины
Званый вечер
Мастер красоты
Огненное очищение Земли
Послания П
Итан Бренд

Аннотация

Натаниель Готорн – автор не только «Алой буквы», признанной классики XIX века, но и множества рассказов и новелл в жанрах мистики и ужасов. Его произведения «Молодой Гудман Браун», «Мастер красоты», «Огненное очищение Земли», «Опыт доктора Хейдеггера», «Маскарад у генерала Хоу» сравнимы с такими шедеврами, как «Маска Красной смерти» Эдгара Аллана По, «Случай на мосту через Совиный ручей» Амброза Бирса, «Рип ван Винкль» Вашингтона Ирвинга.

В сборник вошел весь цикл новелл «Легенды губернаторского дома», а также еще полтора десятка рассказов.

Натаниель Готорн
Легенды губернаторского дома

© Перевод. И. Комарова, 2018
© Перевод. В. Муравьев, наследники, 2018
© Перевод. Е. Токарев, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023

Видение в ручье

Когда мне было пятнадцать лет, я приехал погостить в деревню, расположенную более чем в ста милях от моего родного города. На другое утро после приезда — на дворе стоял сентябрь, но утро выдалось такое теплое и солнечное, что не уступало июльскому, — я отправился побродить по лесу. Густая листва дубов, росших там вперемежку с орешником, почти смыкалась у меня над головою, образуя непроницаемый свод. Земля в лесу была неровная и каменистая; во всех направлениях его пересекали тропки, протоптанные между кустами и молодыми деревцами пасшейся тут местной скотиной. Одна тропа показалась мне шире других; она вывела меня к хрустально-прозрачному роднику, берег которого покрыт был свежей, почти что майской зеленью. Над водою, отбрасывая кружевную тень, нависала ветка раскидистого дуба; одинокий солнечный луч пробивался сквозь густую листву и играл в ручье, как золотая рыбка.

Мне с детства нравилось наблюдать за течением воды, и я тут же предался своему любимому

занятию. Ручей в этом месте расширялся, образуя небольшой, но довольно глубокий водоем приятной округлой формы, нечто вроде выложенной камнями чаши; некоторые камни поросли мхом, другие отливали самыми разнообразными оттенками белого, бурого и красноватого цветов. Дно было песчаное; крупные зерна песка поблескивали в луче солнца, и казалось, что водоем освещается снизу — не отраженным, а собственным светом. В одном месте течение сильно взмутило песок на дне, но при этом вода в глубине оставалась прозрачной, а поверхность родника — гладкой как зеркало. Мне представилось, что из ручья вот-вот возникнет живое существо — какая-нибудь речная нимфа или наяда в облике юной горделивой красавицы, в прозрачном покрывале из водорослей, в ожерелье из радужных брызг, холодная, чистая и бесстрастная. Я заранее ощутил дрожь страха и восторга, которая охватила бы нечаянного зрителя при виде того, как она, примостившись на камне и опустив в воду свои беленькие ножки, шалит с волнами и поднимает тучу брызг, чтобы полюбоваться их блеском на солнце. Она касалась бы играючи травы и цветов — и они тут же покрывались бы капельками влаги, словно первой утренней

росой. Вдоволь наигравшись, она бралась бы за работу, как рачительная хозяйка, и приводила в порядок свой родник: выбирала из него сухие листья, полусгнившие щепочки, прошлогодние желуди, зернышки пшеницы, попавшие в ручей во время водопоя, и прочий мусор, и песок на дне начинал бы сверкать, словно россыпь драгоценных камней. Но если бы случайный наблюдатель дерзнул приблизиться, то на том месте, где ему явилось чудесное создание, увидел бы лишь легкую завесу летнего дождя…

Богиня водной стихии, однако же, не показывалась, и тогда я сам прилег на прибрежный травяной ковер и наклонился над водою. Из водного зеркала на меня глянули глаза — отражение моих собственных. Я всмотрелся внимательнее — и что же? Рядом с моим в глубине родника виднелось еще чье-то лицо — отчетливое и вместе неуловимое, как мимолетная мысль. Видение мое имело облик обворожительной юной девушки с бледно-золотистыми кудрями. Глаза ее лучились смехом, в ямочках на щеках пряталась лукавая улыбка, и все ее прелестное личико, по которому то и дело пробегали легкие тени, непрестанно было в движении — словом, если бы игривый лесной ручеек, журча и плескаясь на солнце,

вздумал обернуться женщиной, более подходящего воплощения нельзя было бы и вообразить. Сквозь прозрачный румянец ее щек я различал в воде побуревшие дубовые листья, обломки веток, желуди и устилавший дно песок. Одинокий солнечный луч играл в ее волнистых волосах, пронизывая их мягким, трепетным светом, отчего ее головка казалась окруженной волшебным сияющим ореолом.

Мое пространное описание совершенно не передает внезапности, с которою явилось и исчезло чудное видение. Я сделал вдох — и увидел его; я выдохнул — и оно пропало! Может быть, моя нимфа ускользнула, а может, растаяла в воде? Я уже готов был поверить, что она мне только пригрезилась…

Любезные мои читатели, вообразите, в какие сладостные мечты я погрузился, оставшись на берегу ручья, где посетило меня и вновь покинуло волшебное видение! Я провел там без малого час; сперва сидел притаившись, ожидая, что оно покажется опять, и боясь спугнуть его неосторожным движением или вздохом. Так иногда, пробудившись от сладких сновидений, мы остаемся лежать в постели, закрыв глаза, в надежде, что сон наш продолжится… И все это

время я размышлял о природе загадочного явления. Может статься, оно мне померещилось и было лишь плодом моей фантазии — сродни тем несусветным созданиям, которые снятся детям, наслушавшимся сказок? Ужели эта пленительная краса порадовала меня на миг, растворившись затем без следа? А может быть, это была все-таки фея или наяда, покровительница ручья, или лесная нимфа, которая прибегала полюбоваться своим отражением? Или мне явился призрак какой-нибудь безымянной девы, утопившейся здесь от несчастной любви? Наконец, то могла быть и вполне земная девушка из плоти и крови, в чьей груди билось настоящее сердце и к чьим губкам можно было бы приникнуть… Что если она неслышно подошла к берегу у меня за спиной и на миг отразилась в воде?

Я все смотрел и ждал, но видение не возвращалось. После часа напрасных ожиданий я покинул это место, вконец завороженный, и в тот же день, ближе к вечеру, неодолимая сила снова потянула меня туда. Все было там по-прежнему: так же струилась вода, так же поблескивал песок на дне, так же сквозил в листве солнечный луч. Только видения не было: вместо него взору моему предстала громадная пятнистая лягушка — местная

пустынница, которая тотчас юркнула под камень и затаилась там, выставив наружу свои длинные задние ноги. «Что за дьявольщина! — подумалось мне. — Уж не злая ли это колдунья и не держит ли она под водою в плену мою красавицу?» Я готов был убить эту противную лягушку!

Унылый и подавленный, возвращался я к себе в деревню. Издалека уже завидел я церковную колокольню; прочие же деревенские строения заслонял от меня небольшой, поросший деревьями холм, высившийся как раз на полдороге. Это был как бы отдельный, самостоятельный лесок; на верхушках дубов еще играли отблески закатного солнца, а к востоку от холма ложилась тень. В преддверии сумерек солнечный свет казался печальным, а тень, напротив того, веселой: в безмятежности предзакатного солнца смешивались блеск уходящего дня и мрак наступающей ночи, как будто под деревьями на вершине холма встречались и братались в этот час дух дня и дух вечера, и трудно было отличить их друг от друга. Наслаждаясь этой мирной картиной, я вдруг заметил, что из чащи деревьев показалась юная девушка. Сердце мое встрепенулось: я узнал ее! Это была моя водяная красавица. Но сейчас она была так далека, воздушна и бесплотна, так

преисполнена светлой печали, разлитой вокруг места, где она стояла, что у меня упало сердце. Смогу ли я когда-нибудь приблизиться к ней?..

Пока я любовался ею, налетел короткий летний дождь. Он весело забарабанил по листьям, и воздух тут же наполнился сиянием, потому что в каждой падающей капле вспыхивала искорка солнца. Туманная пелена дождя, на вид почти невесомая, затянула горизонт, как бы стремясь вобрать в себя закатный солнечный свет. В небе выгнулась многоцветная радуга — яркая, точно радуга над Ниагарским водопадом. Южный ее конец достигал как раз леска на вершине холма, окутывая мою нимфу покровом, сотканным из небесных красок, единственно достойных прикасаться к ней. Когда же радуга растаяла, вместе с ней исчезла и та, которая казалась ее неотъемлемой частью. Может быть, эфемерный призрак и вправду растворился в зыбком воздухе, поглощенный одним из красивейших явлений природы? И однако я не стал поддаваться отчаянию: верил, что снова увижу ее, — ведь она предстала мне в сиянии радуги, как символ надежды!

Так расстался я с моим видением, и с момента разлуки прошло немало печальных дней. Я искал

ее всюду и везде — у ручья и в дремучей чаще, на лесистом холме и в своей деревне; искал на рассвете, по утренней росе, в горячий полдень и в тот волшебный час заката, когда видел ее в последний раз, — но искал напрасно. Дни шли за днями, пролетали недели и месяцы, а она так и не показывалась. Я никому не мог поверить свою тайну; я бесцельно бродил по окрестности или часами сидел в одиночестве, как человек, которому посчастливилось увидеть небо и которого не прельщают больше радости земли. Я уединился в свой особый мир, где существовали только мои собственные мысли и где царило мое видение… Постепенно я сделался как бы сочинителем и вместе героем бесконечного романа: я выдумывал себе соперников, рисовал события самые драматические, включая свои и чужие подвиги, испытывал все, какие только могут быть, оттенки страсти — и в конце концов, пройдя через ревность и отчаяние, познавал неземное блаженство… Ах, если бы я по сей день обладал пламенным воображением юности! Я смог бы прибавить к нему тот более рассудочный дар, который приносят нам зрелые годы, — дар словесного выражения чувств; и как трепетали бы тогда ваши сердца, мои любезные читательницы!

В середине января я был отозван домой. Накануне отъезда я еще раз посетил места, где являлось мне мое видение: ручей затянут был зеркальной коркой льда, а на холме, над которым в тот памятный день сияла радуга, теперь блестел под зимним солнцем снег. «Нет, я не расстанусь с надеждой, — подумал я, — иначе сердце у меня обледенеет, как этот родник, и мир вокруг покажется таким же пустынным, как этот заснеженный холм». Весь день провел я в приготовлениях к отъезду, назначенному на четыре часа утра. После ужина, уложив свой багаж, я спустился в гостиную, чтобы проститься со своими гостеприимными хозяевами — стариком священником и его семьей. Порыв сквозняка задул мою лампу в момент, когда я переступал порог.

По многолетней привычке — ведь так приятно посумерничать, когда в камине весело потрескивает огонь! — все домочадцы расположились у очага, не зажигая света. Поскольку скудные размеры жалованья вынуждали хозяина дома прибегать ко всяческого рода экономии, топили тут обычно дубильным корьем — проще говоря, размельченной дубовой корой, которая никогда не горела ярким пламенем, а только тлела потихоньку с утра до вечера. Сегодня в камин была

подложена свежая порция этого топлива; на куче корья я различил три сырых дубовых поленца да несколько сухих сосновых чурок, которые еще не занялись. В комнате было почти темно, если не считать тусклого свечения двух головешек, лениво догоравших на очаге. Но я хорошо знал, где стоит кресло моего хозяина, где помещается его супруга со своим неизменным вязаньем, как именно надо пройти, чтобы не побеспокоить хозяйских дочек, — одна из них была крепкая, коренастая девушка, истинная сельская жительница, другая страдала чахоткой. Пробравшись ощупью в потемках, я нашарил наконец свой стул и уселся рядом с сыном священника, ученым малым, студентом какого-то колледжа, который приехал к родителям на зимние каникулы и собирался провести их с пользой, учительствуя в местной школе. Я обратил внимание на то, что стул его был сегодня придвинут к моему ближе обычного.

В темноте люди любят помолчать, и в первые минуты после моего появления в гостиной не было произнесено ни слова. Тишина нарушалась только мерным постукиванием спиц почтенной хозяйки дома. Время от времени слабый отблеск огня в камине отражался в стеклах очков хозя-

ина и на секунду высвечивал силуэты сидящих, оставляя во мраке их лица. Вся эта призрачная сцена походила на сборище потусторонних теней, и у меня мелькнула мысль, что так могли бы сообщаться на том свете души некогда близких людей, сохранивших и за гробом свои земные связи. Мы ощущали присутствие друг друга без помощи зрения, осязания или слуха — одним лишь внутренним сознанием. Не так ли было бы и в вечной жизни?

Молчание прервала чахоточная дочь священника, заговорив с кем-то из присутствующих, кого она назвала по имени — Рейчел. В ответ на ее вопрос, произнесенный прерывисто и еле слышно, прозвучало одно только слово, но слово это было сказано голосом, который заставил меня встрепенуться. Слышал ли я когда-нибудь раньше этот нежный, мелодичный голос? А если нет, отчего он пробудил во мне столько воспоминаний — действительных или кажущихся; отчего он возмутил в душе моей призрак чего-то знакомого и в то же время неведомого; отчего мгновенно нарисовал в моем воображении черты той, которая произнесла в темноте одно-единственное слово? Кого узнало мое сердце, что так отчаянно оно забилось в груди? Я весь

превратился в слух, пытаясь уловить ее легкое дыхание, и, повернувшись на звук ее голоса, изо всех сил стал напрягать глаза, чтобы разглядеть ее в сумраке гостиной.

Внезапно сухое сосновое дерево занялось; огонь в камине вспыхнул красноватым пламенем, и там, где только что царила тьма, появилась она — мое видение! Я подумал, что она дух света: в прошлый раз она исчезла вместе с радугой, сейчас возникла в блеске пламени из очага — и, наверное, пропадет опять, когда огонь погаснет… Но щеки ее цвели живым румянцем, и черты юного лица в тепле уютной комнаты были еще нежней, еще прелестней, чем представлялось мне в моих воспоминаниях! И она узнала меня! Глаза ее так же лучились смехом, а в уголках губ и в ямочках на щеках пряталась та же лукавая улыбка, что и в тот день, когда красота ее впервые заворожила меня. На миг наши взгляды скрестились — но тут на разгоревшиеся ветки обрушилась куча сырого корья и тьма опять похитила дочь света, на сей раз навсегда…

Прекрасные читательницы, что я могу еще добавить? Должен ли я раскрыть этот несложный секрет и объяснить, что Рейчел была дочерью местного помещика, что ее увезли в пансион на

другое утро после моего прибытия на жительство в деревню и что вернулась она в канун моего отъезда?.. И удивительно ли, если я преобразил ее в ангела? Так поступает всякий юный влюбленный. Вот и вся моя история. Как же немного нужно, милые девицы, чтобы вы могли сойти за ангелов!

Молодой Гудман Браун

Молодой Гудман Браун на закате вышел на улицу Салема, но, ступив за порог, обернулся, чтобы поцеловать на прощание молодую жену. А Вера, которой это имя подходило как нельзя лучше, высунула в дверь хорошенькую головку. Ветер тотчас заиграл розовыми лентами ее чепца, когда она обратилась к Брауну.

— Дорогой мой, — тихо и немного грустно прошептала она, наклонившись к самому его уху. — Прошу тебя, отложи путешествие до рассвета и поспи этой ночью в своей кровати. Когда женщина одна, ее одолевают такие сны и мысли, что иногда она сама себя пугается. Пожалуйста, дорогой мой муж, побудь со мной этой ночью — именно этой из всех ночей в году.

— Любимая моя Вера, — ответил молодой Гудман Браун. — Из всех ночей в году именно этой ночью я должен ненадолго тебя покинуть. Мое путешествие, как ты его называешь, нужно завершить, пройдя туда и обратно до рассвета. Неужели ты, моя дивная красавица жена, сомневаешься во мне всего лишь через три месяца

после венчания?

— Тогда храни тебя господь, — сказала Вера, и розовые ленты взвились на ветру, — и да увидишь ты все во благости, когда вернешься.

— Аминь! — воскликнул Гудман Браун. — Помолись же, Вера, и ляг спать, как только погаснет вечерняя заря. И ничего плохого с тобой не случится.

Засим они расстались, и молодой человек зашагал своей дорогой, пока, решив свернуть за угол у молельни, не оглянулся и не увидел, что Вера по-прежнему смотрит ему вслед с печальным лицом, несмотря на веселые розовые ленты.

«Бедная Вера! — подумал он с болью в сердце. — Какой же я бессовестный, что оставляю ее, отправляясь по такому делу! Она еще и о снах говорит. Думается мне, что при упоминании о снах лицо у нее было встревоженное, словно сон предупредил ее о том, что надо сделать нынче ночью. Но нет, нет, такие мысли убили бы ее. Ведь она ангел земной, и после этой ночи я неотлучно буду при ней и вместе с нею взойду на небо».

Приняв столь превосходное решение о своем будущем, Гудман Браун счел себя вправе поспешить по теперешнему недоброму делу. Он шел мрачной и безлюдной дорогой, и черневшие

деревья делали ее еще темнее, едва расступаясь по обе стороны узкой тропинки, после чего снова смыкались за спиною путника. На тропе не было ни души, а в подобном одиночестве есть та особенность, что идущий не знает, кто может скрываться за бесчисленными стволами и нависающими над головой ветвями. Так что, шагая по безлюдной тропинке, он в то же время может идти сквозь невидимую толпу.

«Тут за каждым деревом может скрываться злобный индеец, — сказал себе Гудман Браун и, опасливо оглянувшись, добавил: — А что если сам дьявол идет рядом со мной?»

Продолжая оглядываться, он миновал поворот и, снова глядя вперед, увидел фигуру скромно одетого человека, сидевшего под старым деревом. При появлении Гудмана Брауна тот поднялся и зашагал рядом с ним.

— Ты опоздал, Гудман Браун, — произнес он. — Когда я проходил по Бостону, часы на Старой Южной церкви били, а это произошло добрых пятнадцать минут назад.

— Меня немного задержала Вера, — ответил молодой человек слегка дрожавшим голосом, причиной чего было внезапное, хотя и не совсем неожиданное появление его спутника.

В лесу уже окончательно стемнело, особенно там, где шли те двое. Второй путник, примерно лет пятидесяти, явно того же звания, что и Гудман Браун, весьма походил на него, однако, возможно, скорее выражением лица, нежели чертами. И все же их можно было принять за отца и сына. Однако в том, что постарше, несмотря на простые одежду и манеры, чувствовалась неуловимая уверенность человека много повидавшего, который не сконфузился бы за обедом у губернатора или при дворе короля Вильгельма Оранского, если бы оказался там волею судеб. Но единственное, что при взгляде на него бросалось в глаза, — это посох, похожий на большую черную змею, столь причудливо выгнутый, что, казалось, он извивается и дергается, как живой аспид. Это, разумеется, было обманом зрения, дополненным еще и изменчивым светом.

— Живее, Гудман Браун! — крикнул его спутник. — Таким шагом негоже начинать путешествие. Возьми мой посох, если ты так быстро устал.

— Друг, — сказал Браун и остановился вместо того, чтобы прибавить шагу, — исполнив уговор с тобой здесь встретиться, я теперь хочу вернуться туда, откуда пришел. Я сомневаюсь касательно

ведомого тебе дела.

— Вот как ты заговорил? — отозвался державший аспидный посох. — Давай все же двинемся дальше и по пути поговорим. Если я не смогу тебя убедить, то ты повернешь назад. Мы совсем недалеко зашли в лес.

— Слишком далеко! Слишком! — воскликнул Браун, невольно возобновляя шаги. — Ни мой отец, ни отец моего отца никогда не ходили в лес по подобному делу. Со дней мучеников все мы честные люди и добрые христиане, и быть ли мне первым из Браунов, кто ступит на сей путь и свяжется…

— …С такой компанией, хочешь сказать? — заметил тот, что постарше, именно так поняв нерешительность Брауна. — Отлично сказано, Гудман Браун! Я так же хорошо знаю твое семейство, как и остальных пуритан, и это не пустые слова. Я помогал твоему деду-констеблю, когда тот истово гнал плетью квакершу по улицам Салема, и именно я подал твоему отцу горевшую сосновую головню из своего очага, когда тот во время Войны короля Филиппа поджег индейскую деревню. Оба они были моими добрыми друзьями, и много раз мы с ними приятно прогуливались по этой дороге, в веселом располо-

жении духа возвращаясь после полуночи домой. Ради них я готов и с тобой подружиться.

— Если все так, как ты говоришь, — ответил Гудман Браун, — то мне странно, что они никогда об этом не упоминали. Хотя удивляться тут нечему: ведь если бы об этом возник хоть малейший слух, то нас бы изгнали из Новой Англии. Мы люди истово верующие, к тому же трудолюбивые, и не потерпели бы подобного греховодства.

— Греховодство или нет, — произнес путник со змеившимся посохом, — но я в Новой Англии знаю очень многих. Дьяконы многих церквей пили со мной вино причастия, члены советов многих городов выбирали меня своим главою, а большинство законников и судей блюдут мои интересы. Вот и с губернатором мы… Но это государственная тайна.

— Разве так может быть?! — вскричал Гудман Браун, удивленно глядя на бесстрастного спутника. — Хотя мне дела нет до губернатора и законников: у них все по-своему устроено, и они не образец для простого селянина вроде меня. Но, пойди я с тобой, как мне потом смотреть в глаза доброму старику, пастору нашей церкви в Салеме? О, ведь от его голоса я дрожу в день субботний и во время проповеди.

Дотоле старший по возрасту путник слушал Брауна с должной серьезностью, но теперь им овладело неудержимое веселье. Он так сотрясался от смеха, что, казалось, вместе с ним извивается и его похожий на змею посох.

— Ха-ха-ха! — вновь и вновь хохотал он, затем взял себя в руки. — Ну же, продолжай, Гудман Браун, продолжай, но только не умори меня смехом.

— Так вот, чтобы раз и навсегда покончить с этим делом, — весьма уязвленным тоном проговорил Гудман Браун. — У меня есть жена Вера. Это разбило бы ей сердечко, а я уж лучше свое разобью.

— Если так, то я отказываюсь, — ответил его спутник. — Ступай своей дорогой, Гудман Браун. Я не смог бы причинить Вере зла даже ради двадцати старушек вроде той, что идет перед нами.

С этими словами он указал посохом на шагавшую по той же тропинке женскую фигуру, в которой Гудман Браун узнал набожную и благообразную даму, что учила его в детстве катехизису и до сих пор была его советчицей и наставницей в вопросах веры вместе с дьяконом Гукином.

— Воистину удивительно, что благочестивая Клойз оказалась ночью в таком пустынном месте, — проговорил он. — Но с твоим уходом, друг,

я двинусь напрямик через лес, пока эта добропорядочная женщина не останется позади. Будучи с тобой не знакомой, она может спросить, с кем я говорю и куда иду.

— Да будет так, — согласился его спутник. — Иди лесом, а я пойду по тропинке.

По уговору молодой человек свернул в сторону, но при этом не терял из виду спутника, мягко шагавшего по тропинке, пока не оказался от старухи не дальше, чем на длину посоха. Она тем временем двигалась вперед с необыкновенной для своего возраста прытью, что-то бормоча себе под нос — несомненно, молитву. Путник вытянул вперед посох и коснулся им морщинистой шеи женщины, словно змеиным хвостом.

— Дьявол! — вскричала набожная пожилая дама.

— Значит, благочестивая Клойз узнаёт старого друга? — заметил путник, остановившись чуть впереди и опершись на кривую палку.

— Ой, и вправду! Вы ли это, ваша милость?! — воскликнула добропорядочная старушка. — Да, верно, да еще в образе моего кума, констебля Брауна, деда того молодого недоумка, который сейчас здравствует. Однако поверит ли ваша милость в то, что у меня странным образом пропала

метла? Подозреваю, что ее украла эта неповешенная ведьма Кори, да к тому же тогда, когда я вся натерлась снадобьем из сока сельдерея, лапчатки и бореца.

— Смешанных с мукой и жиром новорожденного младенца, — дополнило обличье констебля Брауна.

— Ой, ваша милость знает этот рецепт! — громко хихикая, вскричала старуха. — Так вот, продолжу. Приготовилась я ехать, а коня не было, вот я и решила идти пешком. Говорят, нынче ночью посвящают приятного молодого человека. Но если ваша милость предложит мне руку, то мы домчим в одно мгновение.

— Это вряд ли, — ответил ее друг. — Не смогу предложить тебе руку, благочестивая Клойз. Но если нужен мой посох, то вот он.

С этими словами он бросил посох к ее ногам, где, возможно, тот ожил, поскольку был одним из жезлов, которые его владелец некогда одолжил египетским чародеям. Однако об этом Гудман Браун знать не знал. Он изумленно взглянул вверх, а когда снова опустил глаза, то не увидел ни благочестивой Клойз, ни аспидного посоха. На тропинке остался лишь его спутник, дожидавшийся его с таким спокойным видом, словно

ничего и не случилось.

— Эта старуха учила меня катехизису, — проговорил молодой человек, и в этом простом замечании содержалась глубокая многозначительность.

Они продолжили идти вперед, а путник постарше все увещевал Брауна прибавить шагу и поторопиться, подбирая слова так, что его доводы словно рождались в груди слушателя, а не исходили от него самого. По дороге он сорвал с клена огромный сук, чтобы сделать себе новый посох, и начал очищать его от веточек и сучков, мокрых от вечерней росы. Едва он касался их пальцами, они странно вяли и засыхали так быстро, словно их неделю жгло яркое солнце. Так они двигались широким шагом, пока, спустившись в небольшую темную лощину, Гудман Браун вдруг не присел на пенек, отказавшись идти дальше.

— Друг, — упрямо заявил он, — я все для себя решил. По этому делу я больше шага не сделаю. Что если эта вздорная старуха решила отправиться к дьяволу, когда я подумал, что она устремилась в ад? Разве это причина, чтобы я бросил дорогую Веру и последовал за ней?

— Постепенно ты передумаешь, — сдержанно ответил его спутник. — Посиди, передохни

немного, а когда захочешь снова двинуться в путь, вот тебе в помощь мой посох.

Не говоря больше ни слова, он бросил своему спутнику посох и так быстро исчез из виду, что как будто растворился в сгущавшейся темноте. Молодой человек несколько мгновений посидел на обочине, аплодируя сам себе и думая, с какой чистой совестью завтра встретит пастора во время его утренней прогулки и не станет отводить глаза от доброго дьякона Гукина. И каким сладким будет его сон в эту ночь, которую он собирался провести столь нечестиво, но теперь столь целомудренно и сладко проведет в объятиях Веры! Эти приятные и достойные похвалы размышления были прерваны топотом копыт где-то на дороге, и Гудман Браун счел разумным скрыться в лесу, памятуя о приведшем его туда нечестивом искусе, хотя уже и счастливо отринутом.

Все ближе становились цокот копыт и голоса всадников — два старца рассудительно и неспешно вели разговор. Эти звуки, похоже, двигались вдоль дороги всего в нескольких метрах от того места, где спрятался молодой человек. Но, вне всякого сомнения, благодаря сгустившейся над лощиной темноте ни всадников, ни лошадей

разглядеть было нельзя. Хотя их фигуры задевали ветки у самой обочины, они даже на мгновение не заслонили слабую полоску света от ночного неба, которую наверняка пересекали. Гудман Браун то приседал на корточки, то вставал на цыпочки, раздвигая ветки и вытягивая голову, насколько осмеливался, но видел лишь размытые тени. Еще больше его раздражало то, что он мог поклясться — будь это мыслимо, — что опознал голоса, принадлежавшие пастору и дьякону Гукину, когда они, по обыкновению, ехали неспешной рысью, направляясь на рукоположение или заседание церковного совета. Их еще было слышно, когда один их всадников остановился сорвать прутик.

— Из двух оказий, ваше преподобие, — произнес похожий на дьяконов голос, — я бы скорее пропустил ужин по случаю рукоположения, нежели нынешний ночной сбор. Говорят, кто-то из нашего братства собирается прибыть из Фалмута и даже из более дальних мест: из Коннектикута и Род-Айленда. Плюс еще несколько индейских жрецов, в которых по-своему больше дьявольщины, как и у лучших из нас. Более того, будут посвящать одну благочестивую молодую женщину.

— Просто отлично, дьякон Гукин! — внуши-

тельно пророкотал голос пожилого пастора. — Пришпорьте лошадь, иначе мы опоздаем. Сами знаете, ничего не начнется, пока я не слезу с коня.

Снова застучали копыта, и голоса, столь странно говорившие в пустынном лесу, растаяли в чаще, где никогда не собирались верующие и никогда не молился одинокий путник-христианин. Тогда куда же направлялись двое святых отцов, так далеко заехав в языческие дебри? Гудман Браун вцепился в дерево, чтобы не упасть, вот-вот готовый осесть наземь, ослабев от непомерной тяжести на сердце. Он поднял глаза, сомневаясь, осталось ли над ним небо. Однако он увидел темно-синий небосвод с ярко сверкающими на нем звездами.

— С небесами надо мною и Верой в сердце я выстою против дьявола! — воскликнул Гудман Браун.

Пока он глядел на простиравшуюся над ним небесную твердь и молитвенно воздевал к ней руки, набежала какая-то туча, несмотря на безветрие, и скрыла ярко сверкающие звезды. Все еще проглядывало синее небо, лишь прямо над головой Брауна темнело, и облако быстро мчалось на север. Откуда-то с высоты, будто бы из

самой тучи, послышался сумбурный гомон. Если прислушаться, то можно было различить голоса земляков, мужчин и женщин, набожных и неверующих, многих из которых он встречал в церкви, а других видел бесчинствующими в кабаке. Но голоса звучали так неясно, что в следующее мгновение Брауну показалось, будто слышит он лишь шелест листвы в притихшем лесу. Затем снова накатил вал голосов, которые он каждый божий день слышал на улицах Салема, но ни разу под покровом тьмы. Среди остальных выделялся голос молодой женщины, причитавшей громко, но не очень горестно, и молившей о какой-то милости, которую, возможно, она сама боялась получить. Невидимая толпа святых и грешников, казалось, подбадривала ее и не давала умолкнуть.

— Вера! — с тоской и отчаянием вскрикнул Гудман Браун, и лесное эхо глумливо откликнулось «Вера! Вера!», словно сбитые с толку чудища бросились искать ее в пустынной чаще.

Не успел этот крик горя, злобы и ужаса смолкнуть в ночи, как несчастный муж затаил дыхание в ожидании ответа. Раздался визг, тотчас же потонувший в громком гомоне, переходящем в смех и удалявшемся по мере того, как ветер уносил

тучу прочь. Над головой Гудмана Брауна снова воцарилось ясное и безмолвное небо. Но что-то еле заметно прилетело сверху и зацепилось за ветку. Молодой человек вытянул руку и увидел зажатую в пальцах розовую ленту.

— Моей Веры больше нет! — вскричал он, оправившись от оцепенения. — Нет на земле добра, а грех — всего лишь слово. Приди, дьявол, ибо тебе отдан этот мир.

И после, обезумев от отчаяния, Гудман Браун хохотал долго и громко, а затем схватил посох и снова зашагал с такой скоростью, что, казалось, он не шел и не бежал по тропинке, а летел над нею. Тем временем тропинка становилась все мрачнее и неприветливее, ее становилось все труднее разглядеть, и, наконец, она совсем исчезла, оставив его посреди темной чащи. Но Браун по-прежнему рвался вперед, повинуясь инстинкту, который влечет смертного к греху. Лес был полон пугающих звуков: скрипа деревьев, воя диких зверей и криков индейцев. Ветер временами заунывно гудел, словно далекий церковный колокол, иногда окутывал путника громким ревом, словно природа презрительно насмехалась над ним. Но главный ужас являл собою он сам и не шарахался от прочих ужасов.

— Ха-ха-ха! — громко ревел Гудман Браун, когда над ним смеялся ветер. — Давай послушаем, кто смеется громче. И не вздумай напугать меня своей чертовщиной. Выходи ведьма, выходи, колдун, выходи, индейский жрец, выходи хоть сам дьявол — вот идет Гудман Браун. Бойся меня, как я тебя.

По правде говоря, во всем лесу не было никого страшнее Гудмана Брауна. Он рвался вперед среди черных сосен, неистово размахивая посохом, то разражаясь жуткими богохульными проклятиями, то хохоча так, что весь лес оглашался демоническим эхом. Демон в его собственном обличье куда ужаснее, чем когда вселяется в человека. Так и мчался одержимый им Браун, пока не увидел за деревьями мерцающий красный свет, похожий на пламя, когда на вырубке сжигают поваленные стволы и ветви, и свет этот в полночный час озарял небо грозным сиянием. Когда гнавшая его вперед буря унялась, он остановился и услышал доносившийся издалека многоголосый хор, певший что-то наподобие гимна. Браун узнал мелодию — ее пели хором в деревенском молельном доме. Последняя строфа тревожно смолкла, за ней раздался припев, исполняемый не человеческими голосами, а звуками ночной

чащи, сливавшимися в жуткую гармонию. Гудман Браун закричал, но крик его поглотил вопль лесной глуши.

В наступившем безмолвии он пробирался вперед, пока свет не ударил ему в глаза. На краю большой поляны, окруженной темной стеной леса, высился огромный камень, очертаниями отдаленно напоминавший алтарь или церковную кафедру, окруженный четырьмя соснами с пылающими верхушками и нетронутыми жаром стволами, похожими на свечи, зажигаемые перед вечерней молитвой. Листва выше верхней оконечности камня горела, озаряя ночь всполохами огня и ярко освещая поляну. Каждую веточку и каждый листик объяло пламя. Когда его яркие языки то взмывали к небу, то опадали, всполохи то высвечивали многочисленных собравшихся, то погружали их во тьму, то снова вырывали из нее, наполняя жизнью глухую лесную чащу.

— Мрачное собрание в темных одеяниях, — проговорил Гудман Браун.

Правду сказать — это так и было. Среди собравшихся, то озаряемые светом, то поглощаемые тьмой, мелькали лица, которые назавтра увидишь в совете округа; которые каждое воскресенье благочестиво возносят глаза к небу и

со священных алтарей благосклонно взирают на сидевшую на скамьях паству. Некоторые утверждают, что видели там жену губернатора. По крайней мере, на собрании присутствовали приближенные к ней высокопоставленные дамы и жены почтенных мужей, вдовы в огромном количестве, и старые девы с безупречной репутацией, и хорошенькие девицы, трепетавшие при одной мысли, что за ними проследят матери. Или Гудмана Брауна ослепили всполохи яркого света над далекой поляной, или он и впрямь узнал нескольких прихожан салемской церкви, известных особой набожностью. Благочестивый дьякон Гукин уже прибыл и ждал подле преподобного старца, досточтимого пастора. Но там же, вызывающе близко от почтенных, уважаемых и набожных людей, церковных старшин, благонравных дам и целомудренных дев, стояли известные своей распутной жизнью мужчины и женщины с запятнанной репутацией, негодяи, подверженные всем и всяческим порокам и даже подозреваемые в жутких преступлениях. Странно было видеть, как благочестивые не шарахались от нечестивых, а святые не смущались присутствием грешников. Среди бледнолицых врагов то и дело попадались индейские жрецы,

или шаманы, наводившие на леса страх такими жуткими заклинаниями, какие и не снились ни одной английской ведьме.

«Но где же Вера?» — подумал Гудман Браун и задрожал, когда сердце его озарилось надеждой.

Медленно и скорбно зазвучала очередная строфа гимна, который так любят набожные люди, но в нее вплетались слова, выражавшие все, что природа наша связывает с грехом. Премудрость асмодеев недоступна пониманию простых смертных. Пели строфу за строфой, и после каждой все так же взлетал припев хора лесной чащи, похожий на самый низкий бас могучего органа. После заключительного раската этого жуткого песнопения раздался звук, словно ревущий ветер, бурные реки, воющие звери и все нестройные голоса лесной чащи слились с голосом грешника, воздающего хвалу князю тьмы. Огонь с пылающих сосен взметнулся еще выше и смутно высветил жуткие призраки в клубах дыма, поднимающихся над сборищем нечестивцев. В то же мгновение красное пламя рванулось вверх, образовав у основания камня светящуюся арку, под которой возникла человеческая фигура. Да будет это сказано с глубоким почтением, фигура эта никоим образом — ни одеянием, ни манерою

— не походила ни на одно почтенное духовное лицо церквей Новой Англии.

— Приведите новообращенных! — крикнул голос, эхом разнесшийся по поляне и затихший в лесу.

Услышав эти слова, Гудман Браун вышел из тени деревьев и приблизился к собравшимся, с которыми он почувствовал греховное единение во всем нечестивом, что таилось в его душе. Он мог поклясться, что из клуба дыма его поманил призрак родного отца, а женщина со смутным выражением отчаяния на лице предостерегающе протянула руку с поднятой ладонью. Возможно, это его мать? Однако он не нашел в себе сил ни отступить даже на шаг, ни воспротивиться, когда пастор и благочестивый дьякон Гукин схватили его под руки и повели к ярко сверкавшему камню. Туда же подошла стройная женщина с закрытым вуалью лицом, которую с обеих сторон поддерживали благочестивая Клойз, набожная учительница катехизиса, и Марта Кэрриер, получившая от дьявола обещание сделать ее царицей ада. Это была свирепая ведьма. Оба новообращенных остановились под огненным куполом.

— Добро пожаловать, дети мои, — произнесла темная фигура, — в приобщение к племени сво-

ему. В младости вы обрели сущность и судьбу. Оглянитесь, чада!

Они обернулись, и в ярко вспыхнувшем языке пламени стали видны поклоняющиеся демону. На каждом лице мрачно сияла приветственная улыбка.

— Там, — продолжила черная фигура, — собрались все, кого вы чтите с младых ногтей. Вы считали их благочестивее себя и отвращались от грехов, сравнивая жизнь с жизнью этих праведников, полной молитв и небесных устремлений. Однако все они поклоняются мне. Этой ночью вам будет дано познать их тайные дела: как седобородые богобоязненные старики шептали блудные слова молоденьким служанкам в своих домах, как многие женщины, стремившиеся украсить себя трауром, перед сном давали мужьям питье и позволяли им заснуть у них на груди последним сном. Как безусые юноши торопились унаследовать отцовские богатства, как хорошенькие девицы благородного звания — не краснейте, красотки! — копали в садах могилки и звали меня одиноким плакальщиком на похороны младенцев. Благодаря расположенности человеческого сердца к греху вы всюду почувствуете его запах — в церкви, в спальне, на улице, в поле или в лесу

— там, где совершалось преступление, и возрадуетесь, увидев, что вся земля есть пятно греховное, пятно кровавое. Более того, вам будет дано проникать в каждое сердце и видеть там глубоко спрятанную тайну греха и источник нечестивых ухищрений, который неистощимо питает куда больше злокозненных помыслов, нежели власть человеческая — нежели моя безграничная власть — способна воплотить в деяниях. А теперь, дети мои, поглядите друг на друга.

Они поглядели, и в свете зажженных от адского огня факелов несчастный увидел Веру, а жена — мужа, дрожавшего у неосвященного алтаря.

— Вот вы стоите тут, дети мои, — медленно и торжественно провозгласила фигура почти грустно с ужасающим отчаянием в голосе, как будто некогда падший ангел все еще мог скорбеть о жалком роде человеческом. — Взаимно связанные сердечными узами, вы все-таки надеялись, что добродетель не есть мечта. Теперь вы избавлены от обмана. Природа человеческая есть зло. Зло должно стать вашей единственной отрадой. Еще раз добро пожаловать, дети мои, в приобщение к племени своему.

— Добро пожаловать, — повторили почитатели дьявола единым возгласом отчаяния и торже-

ства.

Они стояли рядом, единственная пара, казалось, еще не решившаяся преступить грань грехопадения в этом темном мире. В камне виднелось углубление. Была ли там вода, красноватая от огненных всполохов? Или кровь? Или, возможно, жидкий огонь? Зловещая фигура погрузила туда руку и изготовилась пометить их чело знаком крещения, дабы они приобщились к тайнам греха, узнали тайные прегрешения других, в деяниях и помыслах куда больше, нежели собственные. Муж взглянул на побледневшую жену, а Вера на него. Каких отвратительных чудищ они увидят друг в друге при следующем взгляде, оба содрогнулись при виде открывшегося им!

— Вера! Вера! — вскричал Гудман Браун. — Взгляни на небо и отринь нечистого!

Послушалась его Вера или нет, Браун не знал. Едва он умолк, как оказался один среди ночной тишины, где прислушивался к реву стихавшего в лесной чаще ветра. Он покачнулся и вцепился в камень, холодный и влажный, а свисавшая ветка, недавно вся пылавшая, брызнула на него холодной, как лед, росой.

На следующее утро молодой Гудман Браун медленно вышел на улицу Салема, смущен-

но оглядываясь по сторонам. Благочестивый пожилой пастор прохаживался по кладбищу, нагуливая аппетит перед завтраком и обдумывая предстоящую проповедь. Увидев Брауна, он благословил его. Тот шарахнулся от святого отца, будто от анафемы. Старый дьякон читал молитву своим домочадцам, и слова ее доносились из открытого окна. «Какому Богу молится этот колдун?» — еле слышно проговорил Гудман Браун. Благочестивая Клойз, образцовая христианка, стояла у забора и наставляла маленькую девочку, принесшую ей кружку свеженадоенного молока. Гудман Браун схватил девочку и потащил прочь, словно вырвал ее из лап самого дьявола. Повернув за угол у молитвенного дома, он заметил Веру в чепце с розовыми лентами, встревоженно всматривавшуюся вдаль. Она так обрадовалась, увидев мужа, что бросилась бежать по улице и едва не расцеловала его на глазах у всей деревни. Но Гудман Браун лишь сурово и грустно посмотрел ей в глаза и пошел дальше, не сказав ни единого слова.

Может, Гудман Браун заснул в лесу, а ведьмин шабаш ему лишь приснился?

Пусть так и будет, если вам угодно. Но увы! Для Гудмана Брауна этот сон стал зловещим предзна-

менованием. С той ночи, когда ему привиделся этот жуткий кошмар, он сделался суровым, грустным, мрачно-задумчивым, недоверчивым, если не вконец отчаявшимся человеком. В день субботний, когда собравшаяся паства пела псалмы, он не мог их слушать, поскольку в ушах у него грохотал гимн греха, заглушая песнопения Божьи. Когда пастор, положив руку на раскрытую Библию, авторитетно и страстно-красноречиво вещал с кафедры о священных истинах нашей веры, о праведной жизни и достойной смерти, о грядущем блаженстве и непередаваемых словами страданиях, Гудман Браун бледнел, боясь, как бы крыша с грохотом не обрушилась на седого богохульника и его слушателей. Частенько, внезапно проснувшись в полночь, он резко отодвигался от Веры, а утром или на закате, когда семья преклоняла колени в молитве, он хмурился, бормотал что-то себе под нос, сердито смотрел на жену и отворачивался. А когда он прожил долгую жизнь и его, поседевшего, чинно отнесли на кладбище в сопровождении постаревшей Веры, детей, внуков и нескольких соседей, то на надгробном камне не высекли возвышенной эпитафии, ибо его смертный час был мрачен и печален.

Майское дерево Мерри-Маунта

В любопытной истории одного из первых поселений Новой Англии близ горы Уолластон, известного под именем Мерри-Маунт, или Веселая гора, кроется богатый материал для целого философского романа. В предлагаемом читателю беглом наброске сухие факты, обнаруженные нами в анналах Новой Англии, сами собою сложились в некую аллегорию. Праздничные обряды, ряженые и маски, упоминающиеся в рассказе, представлены в полном соответствии с обычаями той поры. Подтверждение этому читатель найдет в сочинении Стратта «Об играх и забавах англичан».

Весело жилось в Мерри-Маунте, когда на майском дереве развевался флаг этой беззаботной колонии! Если бы победа осталась за теми, кто водрузил в поселке символическое дерево, суровые холмы Новой Англии на долгие годы озарились бы солнечным светом, а земля ее покрылась бы неувядающим цветочным ковром. Здесь боролись за власть веселье и мрак. Наступил уже канун Иванова дня — время, когда древесная

листва приобретает сочный густо-зеленый оттенок, а розы, которые природа рассыпает вокруг щедрой рукою, пышным цветом своим затмевают нежные бутоны весны. Но месяц май, или, вернее сказать, радость жизни, которую олицетворяет этот зеленый месяц, круглый год царила в Мерри-Маунте: резвилась вместе с летом, пировала вместе с осенью, а долгою зимою мирно грелась у камелька. С мечтательной улыбкой на устах порхала она над миром, полным трудов и забот, и в конце концов нашла себе пристанище среди беспечных колонистов Веселой горы.

Никогда еще майское дерево не красовалось тут в таком роскошном наряде, как в час заката накануне Иванова дня. Стволом ему служила сосна, сохранившая стройную гибкость молодости, но высотой уже соперничавшая с вековыми лесными исполинами. На верхушке развевался шелковый флаг всех цветов радуги. От самой земли ствол украшен был ветками березы и других деревьев, выбранными за особо яркую зелень или красивый серебристый цвет листвы; ветки эти крепились с помощью хитроумно привязанных лент, которые трепетали на ветру двумя десятками разнообразнейших, но исключительно веселых оттенков. Среди зелени, поблескивая

каплями росы, мелькали и садовые цветы, и более скромные полевые; и все они имели такой свежий вид, что казалось, будто они сами, как по волшебству, выросли на этой необыкновенной сосне. Наверху же, где кончалось все это цветочно-лиственное великолепие, горело семью цветами радуги знамя колонии. На самой нижней ветке висел огромный венок из диких роз, собранных на солнечных лесных прогалинах, и из роз лучших английских сортов, выращенных в поселке. О жители золотого века! Из многоразличных трудов земледельца главным для вас было разведение цветов…

Но что за невиданный народ толпился, взявшись за руки, вокруг майского дерева? Неужто фавны и нимфы древности, изгнанные из античных рощ и прочих мифических обителей, нашли убежище, в числе других преследуемых, в заповедных лесах Нового Света? Нет, это были скорее какие-то средневековые чудовища, хотя, быть может, и происходившие от древнегреческих богов. На плечах одного из юношей вздымала ветвистые рога голова дикого оленя; на плечах другого скалилась свирепая волчья морда; третий, с человеческим телом, руками и ногами, был рогат и бородат, как почтенный старый козел.

Имелся там и медведь на задних лапах — зверь зверем, если не считать красных шелковых чулок и башмаков с пряжками. И тут же — о чудо! — стоял и взаправдашний медведь, хозяин дремучего леса, ухватившись передними лапами за руки своих соседей по кругу, готовый вместе со всеми пуститься в пляс. И в этом диком хороводе его звериная природа не так уж сильно отличалась от людской… Иные лица смахивали на мужские и женские, или, скорее, походили на смехотворно искаженные их отражения в кривом зеркале: у одного свисал чуть не до подбородка непомерно длинный красный нос, у другого ухмылялся до ушей размалеванный рот. Здесь можно было видеть знакомую всем из геральдики фигуру дикаря — волосатого, словно павиан, в юбочке из зеленых листьев. Рядом с ним находился воинственный индеец — такой же ряженый, хоть и поблагороднее на вид, в боевом уборе из перьев, перепоясанный вампумом. Многие из этой пестрой компании щеголяли в шутовских колпаках и позвякивали пришитыми к одежде бубенчиками в такт неслышной для чужих ушей музыке, весело звеневшей в их сердцах. Были там и менее казисто одетые юноши и девушки, но их присутствие среди разномастной толпы

не слишком бросалось в глаза, поскольку лица их носили печать всеобщей необузданной веселости. Такое зрелище являли собою колонисты Мерри-Маунта, собравшись при ласковом свете заката вокруг почитаемого ими майского дерева.

Если бы странник, сбившийся с дороги в этом сумрачном лесу, заслышал их смех и гомон и украдкой бросил взгляд в их сторону, то в испуге решил бы, что перед ним сам бог Комус в окружении своих приспешников, которые либо уже оборотились в диких зверей — кто целиком, а кто наполовину, — либо вот-вот оборотятся, а пока предаются неуемному пьяному разгулу. Но для отряда пуритан, наблюдавших описанную сцену без ведома ее участников, все эти шуты и скоморохи были погибшими душами, воплощением нечистой силы, водившейся, по их поверьям, в здешних лесах.

В хороводе чудовищных личин выделялись два ангелоподобных существа, коим бы пристало не ступать по твердой земле, а парить на золотисто-розовом облачке. Один был юноша в одежде, сплошь расшитой блестками, с двойною перевязью всех цветов радуги на груди. В правой руке он держал золоченый посох — знак его особого положения среди присутствующих, а левой

сжимал нежные пальчики прелестной юной девушки в столь же ослепительном наряде. В темных шелковистых кудрях у обоих пламенели алые розы, и земля вокруг тоже была усыпана розами — впрочем, возможно, что цветы эти сами расцвели у их ног. Против них, у самого ствола майского дерева, тень от ветвей которого играла на его жизнерадостной физиономии, стоял англиканский священник в традиционном облачении, однако тоже разубранный цветами на языческий лад; на голове у него красовался венок из листьев местного дикого винограда. Его бесшабашно-веселый вид и кощунственное пренебрежение к священному одеянию выдавали в этом человеке главного заводилу праздника: казалось, он и есть сам Комус, собравший вокруг себя чудовищный сонм своих приспешников.

— Служители майского дерева! — возгласил этот странный пастор. — Весь нынешний день окрестные леса звенели эхом вашего веселья. Но теперь настал самый веселый ваш час, дети мои! Перед вами майские король и королева, которых я, оксфордский клирик и верховный жрец Веселой горы, намерен сочетать священными узами брака. Внемлите мне, плясуны, певцы и музыканты! Внемлите, старцы и девицы, и вы, волки

и медведи, и все остальные, рогатые и бородатые! Затянем хором нашу праздничную песню — пусть она гремит, как в доброй старой Англии, пусть вольется в нее шум весеннего леса! А потом дружно пустимся в пляс и покажем нашей юной паре, что такое жизнь и с каким легким сердцем надо шагать по ней! Итак, всех, кто поклоняется майскому дереву, я призываю вплести свой голос в свадебный гимн в честь короля и королевы!

Объявленное таким странным образом бракосочетание было задумано всерьез — не в пример обычному круговороту событий в Мерри-Маунте, где потехи и забавы, лицедейство и притворство сливались в беспрерывный карнавал. Майские король и королева — правда, этот почетный титул они должны были сложить с себя в момент заката солнца — действительно собирались стать спутниками на жизненном пути, а вернее сказать, партнерами в жизненном танце, и первые па им предстояло сделать именно в этот радостный вечер. Венок из роз, украшавший нижнюю ветку майского дерева, сплетен был нарочно для них: ему надлежало стать символом их увенчанного цветами союза. Как только священник окончил свою речь, толпа чудовищ разразилась возгласами неистового ликования.

— Начните вы, преподобный отец, — раздался единодушный клич, — а мы подхватим, и здешние леса услышат такой веселый хор, какого еще не слыхивали!

И тотчас из ближних зарослей полились звуки музыки — то запели свирель, контрабас и кифара под пальцами искусных менестрелей, и заразительный их напев заставил даже ветки майского дерева заколыхаться в ритме танца. Но майский король — юноша с золоченым посохом, наклонившись к своей королеве, поражен был задумчиво-печальным взглядом ее глаз.

— Эдит, прекрасная моя королева, — шепнул он с легким укором, — отчего ты так грустна? Или эта розовая гирлянда кажется тебе нашим похоронным венком? О, Эдит, это наш золотой час! Не омрачай же его своей задумчивостью; может статься, до конца жизни у нас не будет ничего счастливее простого воспоминания о том, что происходит сейчас.

— Потому я и грущу, что думаю об этом. Как ты догадался? — отвечала Эдит еле слышно, ибо любое проявление печали в хороводе у майского дерева считалось изменою. — Потому я и вздыхаю при звуках этой праздничной музыки. И знаешь ли, милый мой Эдгар, мне кажется, что я

сплю и вижу дурной сон, что вокруг меня одни лишь призраки, и веселье у них не настоящее, и на самом деле ты вовсе не майский король, а я не королева. Какая-то тревога гложет мне сердце…

В этот миг, словно расколдованные от долгой спячки, лепестки вянущих роз дождем посыпались с майского дерева. Ах, бедные влюбленные! Как только в их юных сердцах зажглось пламя подлинного чувства, в души к ним проникло ощущение непрочности и легковесности их прежних забав и утех — вместе со зловещим предчувствием неминуемых перемен. Полюбив, они отдались во власть забот и печалей — обычного удела людей; радость их не была уже безоблачной, и среди жителей Веселой горы они более не находили себе места. Таковы были причины неясной тревоги, охватившей молодую девушку. Но оставим это шумное сборище — пусть священник венчает нашу майскую пару, пусть все пляшут и веселятся: есть еще время до заката, до той минуты, когда угаснет последний солнечный луч и мрачные тени лесных деревьев смешаются с хороводом ряженых. Оставим их — и посмотрим, откуда взялся этот беззаботный народ.

Две сотни лет назад, а то и больше, Старый Свет и его обитатели поняли, что изрядно надоели

друг другу. Тысячи людей стали отправляться на запад: одни затем, чтобы менять стеклянные бусы и тому подобные побрякушки на меха, добытые индейцами; другие затем, чтобы покорять неведомые земли; третьи — угрюмые аскеты — затем, чтобы молиться. Но первые поселенцы Мерри-Маунта не принадлежали ни к одной из этих групп, и к отъезду их побудило совсем иное. Во главе их стояли люди, всю молодость проведшие в забавах и увеселениях: даже Разум и Мудрость зрелых лет не могли побороть их суетность и тщеславие — и, более того, не устояли сами перед тысячью житейских соблазнов. Сбитый с толку Разум и вывернутая наизнанку Мудрость нацепили карнавальные личины и принялись корчить шутов. Утратив задор и непосредственность юности, люди, о которых мы ведем речь, решились покинуть родину и на новом месте осуществить идеал своей доморощенной безумной философии: удовольствие превыше всего. Они собрали под свое знамя представителей того ветреного племени, чья повседневность неотличима от праздников их более трезвых соотечественников. Были там бродячие музыканты, хорошо известные на улицах Лондона; странствующие комедианты, дававшие представления в домах

знати; скоморохи, канатные плясуны, шуты и гаеры, без которых в доброй старой Англии не обходились ярмарки, сельские пирушки и престольные праздники, — короче говоря, там были все, кто умел потешить публику, а умельцев таких в те времена было хоть отбавляй, и многие из них на собственной шкуре успели испытать, чем грозит им распространение пуританства. Они шли по жизни не задумываясь — и так же, не задумываясь пустились в плавание через океан. Одни, побывав во многих передрягах, впали в какое-то веселое отчаяние; другие отчаянно веселились просто потому, что были молоды — как майские король и королева, — но каковы бы ни были поводы для веселья, все первые поселенцы Мерри-Маунта, молодые и старые, веселились напропалую. Молодежь ничего лучшего и не желала и почитала себя вполне счастливою; люди же постарше, если и сознавали, что веселье не замена счастию, по собственной охоте следовали за этой лукавой тенью, поскольку ее одежды блестели ярче других. Дав обет без оглядки растратить свою жизнь на пустые утехи, они и слышать не хотели о более суровой жизненной правде — даже во имя истинного спасения.

Новосельцы пересадили на другую почву

все традиционные забавы старой Англии. На Рождество устраивалась шуточная коронация рождественского короля; во главе праздничного стола величественно восседал председатель «пира дураков». В канун Иванова дня целые участки леса вырубались и шли на костры, и колонисты всю ночь напролет плясали вокруг них в цветочных венках и бросали цветы в огонь. Во время жатвы, как бы ни был скуден урожай, они мастерили из снопов огромное чучело, разукрашивали его гирляндами плодов и листьев и торжественно несли домой. Но главным предметом культа у жителей Мерри-Маунта было, разумеется, майское дерево, и потому история ранних лет поселения читается как волшебная сказка. Весной майское дерево убиралось первыми цветами и молодыми побегами; летом его наряд составляли пышные розы и густая лесная листва; осень приносила великолепие золота и пурпура, превращавшее любой древесный лист в произведение искусства; зима развешивала на ветвях ледяные сосульки и серебрила инеем ствол майского дерева, так что все оно сияло и сверкало, как застывший солнечный луч. Всякое время года воздавало на свой лад почести и платило доброхотную дань майскому дереву. Его восторженные почитатели

по крайней мере раз в месяц сходились плясать вокруг дерева, называли его своим алтарем, своей святыней, и всегда на нем развевалось семицветное знамя Веселой горы.

К несчастью, не все в Новом Свете придерживались той же веры, что поклонники майского дерева. Недалеко от Мерри-Маунта находился поселок пуритан — мрачных фанатиков, которые до свету служили заутреню и день-деньской трудились в лесу или на пашне, пока не наступало время служить вечерню. Они не расставались с оружием и пускали его в ход при любой случайной встрече с дикарями. Вместе они сходились отнюдь не для веселья, а для того лишь, чтобы слушать многочасовые проповеди или назначать награды за волчью шкуру или индейский скальп. По праздникам они постились, а в виде развлечения пели хором псалмы. И беда тому юнцу или девице, которые посмели бы выказать желание потанцевать! Старейшина делал знак констеблю — и легкий на ногу преступник уже сидел в колодках, а если и доводилось ему поплясать, то разве что вокруг позорного столба — этого пуританского майского дерева.

Отряды суровых пуритан, с трудом продираясь сквозь чащу, приближались иногда к залитым

солнцем владениям Мерри-Маунта. Обремененные железными доспехами, какие впору было бы навьючить на лошадь, они наблюдали из-за кустов, как разодетые в шелк колонисты скачут вокруг майского дерева. То они обучали медведя плясать и выделывать разные штуки, то старались втянуть в свои забавы степенного индейского вождя, то рядились в шкуры оленей и волков, на которых охотились с этой именно целью. Частенько затевалась общая игра в жмурки: всем жителям колонии, включая членов местной управы, завязывали глаза, и все наперебой гонялись за каким-нибудь козлом отпущения, который еле увертывался от своих преследователей, жалобно позвякивая пришитыми к одежде бубенчиками. Говорят, что однажды пуритане видели в Мерри-Маунте похоронную процессию, когда усопшего, убранного цветами, провожали к могиле с музыкой и хохотом. Один покойник не смеялся… В более тихие часы они распевали баллады и рассказывали сказки, просвещая тем самым своих набожных посетителей, или поражали их ловкостью рук, показывая фокусы, или, просунув голову в лошадиный хомут, строили дурацкие рожи. Когда же им приедался весь этот балаган, они, не теряя чувства юмора, устраивали

конкурс на самый продолжительный и звучный зевок. Железные пуритане качали головой при виде всех этих безобразий и так сурово хмурились, что весельчаки невольно поднимали глаза кверху, глядя, не набежала ли на солнце тучка, — а солнечным светом они дорожили превыше всего. Пуритане, в свою очередь, утверждали, что, когда из их святилища неслось псалмопение, эхо его, возвращаясь из леса, сильно смахивало на припев озорной песни, завершавшийся раскатом хохота. Кто же так докучал им, если не сам дьявол и его верные слуги — шайка обитателей Мерри-Маунта? Вражда между подобными соседями была неизбежна — и она началась. Со стороны пуритан это была вражда угрюмая и ожесточенная, а со стороны колонистов Мерри-Маунта — настолько серьезная, насколько серьезность вообще допускалась в среде легкомысленных поклонников майского дерева. От исхода этой вражды зависел будущий характер Новой Англии. Если бы нетерпимые праведники одержали верх над беспечными грешниками и установили свои законы, мрачный дух пуританства навсегда превратил бы этот край в царство грозовых туч, унылых лиц, безрадостного труда, псалмов и проповедей. Если же знамя победы взвилось бы над

Веселой горой, здесь не бывало бы пасмурных дней; на полях и лугах круглый год цвели бы цветы, и отдаленные потомки колонистов воздавали бы почести майскому дереву.

Покончив с этими историческими отступлениями (за их подлинность мы ручаемся), вернемся теперь к нашей свадебной церемонии. Увы! Мы слишком много времени уделили истории, и события успели приблизиться к печальной развязке. Одинокий закатный луч освещает только самую верхушку ствола и золотит трепещущий на ней радужный флаг, но вот-вот угаснет и этот последний отблеск. На смену зыбкому свету сумерек приходит вечерняя мгла, и из темного леса к Веселой горе со всех сторон подступают зловещие тени. И самые мрачные из них — тени в людском обличье — внезапно врываются в ликующий майский хоровод…

Так завершился последний радостный день в жизни обитателей Мерри-Маунта. Круг ряженых смешался и рассыпался; олень в смущении понурил свои великолепные рога; волк сделался слаб, как ягненок; бубенчики на шутовских колпаках зазвенели от страха. Пуритане вступили в игру, словно им тоже была отведена роль в карнавале их недругов. Черные силуэты пришельцев сме-

шались с толпою ряженых, и вся эта сумятица похожа была на картину человеческого сознания в минуту пробуждения от сна, когда трезвые мысли дня вторгаются в самую гущу не успевших еще развеяться ночных фантазий. Предводитель пуритан стал в центре круга и обвел грозным взглядом сонм чудовищ, которые съежились от страха, словно злые духи при появлении всемогущего чародея. В его присутствии немыслимы были шутовство и фиглярство. Наружность этого человека была так сурова и неприступна, что и душа его, и тело казались выкованными из одного куска железа, наделенного способностью дышать и мыслить; он составлял как бы единое целое со своим шлемом и панцирем. То был пуританин из пуритан — то был сам Эндикотт!

— Изыди, жрец Ваала! — прогремел он, обратившись к священнику и оттолкнув его прочь без всякого почтения к духовному сану. — Я знаю тебя — ты Блэкстон![1] Ты не желал блюсти законы своей же богопротивной церкви и явился сюда

[1] Примечания: 1

Если бы губернатор Эндикотт не назвал так недвусмысленно этого имени, мы склонны были бы заподозрить в архивной записи какую-то ошибку. Преподобный Блэкстон действительно обладал причудами, но не был, по имеющимся сведениям, человеком безнравственным, поэтому мы оставляем за собой право усомнитъся в его тождестве с выведенным здесь священником. — *Прим. авт.*

проповедовать порок, подавая пример собственными деяниями. Но настал час показать всем, что не напрасно Господь освятил сии пустынные места, даровав их избранному своему народу! Горе тому, кто посмеет осквернить их! И первым делом пора покончить с гнусным алтарем богохульства и идолопоклонства! Мы свалим это разубранное цветами бревно!

И, выхватив из ножен шпагу, Эндикотт нанес сокрушительный удар по славному майскому дереву. Сопротивлялось оно недолго. Унывно застонав, стряхнуло на плечи неистового своего противника целый каскад лепестков и листьев — и стройный сосновый ствол покачнулся и рухнул наземь со всеми ветками, цветами и лентами, как древко побежденного знамени, как символ минувшего счастья. Легенда утверждает, что небо после этого сразу потемнело и тени от деревьев сделались еще более зловещими.

— Конец! — воскликнул Эндикотт, обозревая с торжеством плоды своих трудов. — Конец последнему в Новой Англии майскому дереву! Оно повержено во прах, но это лишь первый шаг: я твердо верю, что подобная судьба уготована всем шутам и бездельникам среди нас и среди наших потомков. Аминь! Так говорю я, Джон

Эндикотт!

— Аминь! — подхватили его товарищи.

Но из уст почитателей майского дерева при виде их низвергнутого идола вырвался глухой стон. Услышав этот стон, вождь пуритан обвел глазами пеструю толпу ряженых: маски по-прежнему скалили свои хохочущие рты, но странным образом выражали теперь скорбь и смятение.

— Доблестный капитан, — произнес Питер Пэлфри, старейшина отряда, — что делать с пленными?

— Я полагал, что, сокрушив майское дерево, не стану сожалеть о нем, — ответил Эндикотт, — но теперь почти готов водрузить его на прежнее место и заставить каждого из этих богомерзких язычников еще раз хорошенько поплясать вокруг своего кумира. Отменный получился бы позорный столб!

— Тут и сосен в избытке, — возразил Питер Пэлфри.

— Твоя правда, почтеннейший, — согласился капитан. — Итак, свяжите эту банду идолопоклонников да задайте-ка им плетей для начала; позднее суд назначит им всем наказание по справедливости. Самых отпетых негодяев нехудо бы посадить в колодки, чтобы поразмыслили на

досуге, но придется подождать, пока мы с божьей помощью доберемся до одного из наших благоустроенных поселений. Приказ относительно дальнейших мер, как то: клеймение, отрезание ушей и прочее воспоследует в самом скором времени.

— Сколько плетей назначить попу? — спросил старейшина.

— Этого пока оставьте, — ответил Эндикотт, метнув на преступника суровый взгляд из-под насупленных бровей. — Его гнусные злодеяния будет рассматривать Генеральный суд — он один полномочен решить, достаточно ли подвергнуть его обычному наказанию плетьми либо длительному тюремному заключению, или же он достоин более строгой кары. Пусть знает, что получит по заслугам! К тем, кто нарушает гражданские законы, допустимо иногда проявить милосердие, но горе тому нечестивцу, который посягнет на нашу веру!

— А что делать с медведем? — продолжал допытываться старейшина. — Выпороть, как прочих плясунов?

— Сей же час пристрелите его! — распорядился энергичный пуританин. — Я подозреваю, что в этом звере сидит нечистая сила!

— А вот еще пара красавчиков! — добавил Питер Пэлфри, указывая на майского короля и королеву. — Эти, по всему видать, в особом почете у шайки кознодеев, так что заслуживают по меньшей мере двойной порции плетей!

Опершись на свою шпагу, Эндикотт смерил пронизывающим взглядом нашу злосчастную чету. Они стояли перед ним, потупив глаза, бледные и смятенные, но лица и позы их выражали взаимную поддержку и нежное участие, кроткую мольбу о помощи и готовность оказать ее; видно было, что это истинные муж и жена, союз которых благословлен и узаконен. В минуту опасности юноша бросил свой золоченый посох и обнял майскую королеву, которая доверчиво прильнула к его груди, и они продолжали стоять обнявшись, как бы показывая, что судьбы их навеки связаны, что они будут вместе и в радости, и в горе. Поняв, что очередь дошла до них, они сперва взглянули друг на друга, а потом подняли глаза на неумолимого капитана. Это был первый час их супружества — час, когда праздное веселье, олицетворявшееся их товарищами, отступило перед суровыми жизненными невзгодами в лице угрюмых пуритан. И никогда их юная, цветущая красота не представлялась более чистой и одухо-

творенной, чем в годину напасти.

— Юноша, — произнес Эндикотт, — дела твои плохи: вы оба повинны в беззаконии — и ты, и твоя невеста. Приготовьтесь же — я намерен сделать так, чтобы вы на всю жизнь запомнили день вашей свадьбы!

— О, грозный воин, — воскликнул майский король, — как могу я разжалобить твое жестокое сердце? Будь я вооружен, я сражался бы до последнего вздоха, но я беспомощен и вынужден просить милости. Делай со мной все, что хочешь, но пощади мою жену и отпусти с миром!

— Как бы не так! — возразил неумолимый фанатик. — Не в обычае у нас проявлять преступное снисхождение к полу, который надлежит содержать в вящей строгости. А ты что скажешь, девушка? Согласна ли ты, чтобы твой раззолоченный жених принял на себя двойную кару?

— Пусть этой карой будет смерть, — ответила Эдит, — и пусть она постигнет меня одну!

Эндикотт не погрешил против истины — дела нашей юной четы и впрямь выглядели скверно. Их враги торжествовали победу, их друзья были схвачены и подвергнуты унижениям; вместо крова у них был объятый мраком лес, и проводником их в этих дебрях была жестокосердая судьба,

принявшая обличье пуританского вождя. Однако в густеющем свете сумерек они заметили, что железный человек слегка смягчился: трогательное зрелище юной любви вызвало на его губах улыбку, и он украдкой вздохнул о неизбежном крушении юных надежд.

— Невзгоды рано коснулись этой молодой пары, — промолвил Эндикотт. — Посмотрим, как они справятся с первым своим испытанием, прежде чем подвергнутся новым. Если есть среди добычи одежда попристойнее, дайте ее этому франту и его невесте: пусть скинут с себя всю прежнюю мишуру, дабы суетность и тщеславие никогда больше не касались их! Займитесь ими кто-нибудь!

— Не обстричь ли молодцу волосы? — спросил Питер Пэлфри, глядя с отвращением на длинные шелковистые кудри майского короля, затенявшие его лоб и спадавшие до самых плеч.

— Обстригите его немедля, да как положено — наголо! — приказал капитан. — И уведите их отсюда вместе с остальными, но не будьте с ними чересчур суровы. В юноше я замечаю свойства, которые могут сделать из него храброго воина, усердного труженика и набожного христианина, а его невеста, быть может, станет в нашем Израи-

ле добропорядочной матерью и сумеет воспитать свое потомство в более праведном духе, чем воспитали ее самое. Мы живем на этом свете лишь мгновение, и не в том счастье, чтобы тратить отпущенный нам краткий миг на пляски вокруг майского дерева!

С этими словами Эндикотт, самый твердокаменный из всех пуритан — родоначальников уклада Новой Англии, поднял с земли розовый венок, чудом уцелевший среди остатков майского дерева, и своей рукой в тяжелой рукавице накинул его на плечи майского короля и королевы. Этот жест оказался пророческим. Подобно тому как жизненные уроки затмевают недолговечные людские радости, дремучие леса Новой Англии заполонили тот приют беззаботного веселья, где выросли наши герои: их дом подвергся опустошению, и возврата назад для них не было. Но увенчавшая их гирлянда роз сплетена была из самых ярких и душистых цветов во всей округе, и потому в соединившие их брачные узы вплелись все самые чистые и светлые радости их юных лет. Они пошли путем спасения, поддерживая друг друга на этом многотрудном пути, и ни единой мыслью не сожалели о суете и тщеславии, царивших когда-то на Веселой горе.

Опыт доктора Хейдеггера

Однажды отличавшийся чудаковатостью старый доктор Хейдеггер пригласил к себе в кабинет четырех почтенных друзей. Ими были три седобородых господина — мистер Медбурн, полковник Киллигру и мистер Гайскойн, — а также увядшая пожилая вдова по фамилии Уичерли. Все они выглядели меланхоличными стариками, которым не повезло в жизни, и главное их невезение заключалось в том, что все они уже стояли у края могилы.

Мистер Медбурн во цвете лет стал преуспевающим торговцем, но лишился богатства в результате безрассудной спекуляции и теперь влачил полунищенское существование. Полковник Киллигру растратил лучшие годы жизни, здоровье и состояние в стремлениях к греховным наслаждениям, что породило целый букет болезней, включая подагру и прочие душевные и телесные недуги. Мистер Гаскойн был низвергнутым с высот политиком, снискавшим дурную славу, или, по крайней мере, являлся таковым, пока время не стерло его из памяти нынешнего

поколения и не обрекло на безвестность взамен осуждения. Что же касается вдовы Уичерли, то в молодости, говорят, она славилась дивной красотой, но вот уже очень долго жила в уединении по причине скандальных историй, испортивших ей репутацию. Стоит упомянуть то обстоятельство, что каждый из вышеназванных пожилых господ — мистер Медбурн, полковник Киллигру и мистер Гаскойн — находился в одно время в любовной связи с вдовой Уичерли и однажды соперники чуть не перерезали друг другу глотки.

Прежде чем продолжить, отмечу, что доктор Хейдеггер и четверо его гостей считались людьми немного не в своем уме, что не редкость среди стариков, отягощенных или насущными заботами, или скорбными воспоминаниями.

— Дорогие мои друзья, — произнес доктор Хейдеггер, жестом приглашая всех сесть. — Хочу попросить вас о помощи в одном небольшом опыте из тех, какими я время от времени развлекаюсь.

Если верить слухам, кабинет доктора Хейдеггера являлся местом прелюбопытнейшим. Это была полутемная старомодная комната с гирляндами паутины и многолетней пылью повсюду. Вдоль стен выстроились дубовые книжные шкафы,

нижние полки которых заполняли ряды огромных фолиантов и антикварных книг форматом в одну четвертую листа, а на верхних стояли томики размером с двенадцатую долю листа в пергаментных переплетах. На возвышающемся в центре шкафу красовался бронзовый бюст Гиппократа. По рассказам знающих людей, доктор обычно консультировался с ним по всем трудным случаям в своей практике. В самом темном углу комнаты виднелся высокий узкий стенной шкаф из дуба с приоткрытой дверью, за ней угадывалось нечто, напоминающее человеческий скелет. Между шкафами висело большое запыленное зеркало в поблекшей золоченой раме. Среди множества легенд об этом зеркале выделялась одна, гласившая, что внутри него обитают духи умерших пациентов доктора, которые глядят ему в глаза всякий раз, когда тот в него смотрится.

Противоположную стену кабинета украшал ростовой портрет некоей молодой дамы в дивном наряде из шелка, атласа и парчи. Однако краски его так же потускнели от времени, как и ее лицо. Более полувека назад доктор Хейдеггер едва не женился на этой женщине. Однако за день до свадьбы с ней приключилось легкое недомогание и, проглотив предписанное возлюбленным

лекарство, она скоропостижно скончалась. Остается упомянуть главный и самый примечательный предмет в кабинете: огромный фолиант в переплете из черной кожи с массивными серебряными застежками. Надписей на нем не было, и названия книги никто не знал. Но книга эта считалась волшебной, и однажды, когда служанка подняла ее, чтобы смахнуть пыль, скелет в шкафу загремел костями, молодая дама на портрете ступила одной ногой на пол, из зеркала выглянули несколько наводящих ужас физиономий, а бронзовая голова Гиппократа нахмурилась и сказала: «Изыди!»

Таков был кабинет доктора Хейдеггера. В тот солнечный летний день, о котором идет повествование, посреди комнаты помещался небольшой круглый стол черного дерева; на нем стояла хрустальная чаша изысканной формы и тонкой работы. Лучи солнца проникали между тяжелыми фестонами дамасских штор и, отражаясь от этой чаши, озаряли пепельно-серые лица сидевших вокруг стариков. Там же, на столе, стояли четыре бокала для шампанского.

— Дорогие мои друзья, — повторил доктор Хейдеггер, — могу ли я рассчитывать на вашу помощь при постановке чрезвычайно интерес-

ного опыта?

Так вот, доктор Хейдеггер был пожилым человеком с огромными странностями, и его эксцентричность стала причиной возникновения тысячи фантастических россказней. Некоторые из них — сознаюсь, к своему стыду, — возможно, появились благодаря моей приверженной к объективности особе. И если что-то в настоящем повествовании покажется читателю недостоверным, мне должно принять клеймо досужего выдумщика.

Когда гости доктора услышали от него о предстоящем опыте, они не ожидали ничего более удивительного, чем убиение мыши при помощи воздушного насоса, исследование под микроскопом паутины или тому подобных пустяков, какими он имел привычку постоянно докучать близким друзьям. Однако, не дожидаясь ответа, доктор Хейдеггер, прихрамывая, двинулся в дальний конец кабинета и вернулся с тем самым переплетенным в черную кожу фолиантом, который молва полагала волшебной книгой. Щелкнув серебряными застежками, он раскрыл его и достал лежавшую между страниц с готическим шрифтом розу. Точнее, то, что некогда было розой, поскольку теперь зеленые листочки и

алые лепестки обрели монотонный бурый окрас, а древний цветок, казалось, собирался рассыпаться в прах в руках доктора.

— Эта роза, — со вздохом проговорил доктор Хейдеггер, — этот увядший и осыпающийся цветок распустился пятьдесят пять лет назад. Его подарила мне Сильвия Уорд, чей портрет висит вон там, и я хотел вдеть его в петлицу в день нашей свадьбы. Пятьдесят пять лет она хранилась между страницами этой старинной книги. Теперь скажите, допускаете ли вы, что эта роза сможет снова зацвести полвека спустя?

— Чепуха! — ответила вдова Уичерли, раздраженно тряхнув головой. — С тем же успехом можно спросить, способно ли вновь зацвести морщинистое старушечье лицо.

— Глядите! — воскликнул доктор Хейдеггер. Он снял крышку с чаши и бросил цветок в налитую туда воду. Сначала роза неподвижно лежала на поверхности жидкости, не впитывая влагу. Однако вскоре стали заметны происходящие с цветком удивительные перемены. Сморщенные и иссохшие лепестки шевельнулись и стали постепенно принимать алый оттенок, словно пробуждаясь от летаргического сна. Тонкий изящный стебель и листочки снова сделались

зелеными. И вот уже роза, полвека пролежавшая в фолианте, выглядит такой же свежей, как в ту пору, когда Сильвия Уорд вручила ее своему возлюбленному. Бутон едва распустился, поскольку нежные красные лепестки стыдливо обрамляли влажную сердцевину, в которой сверкали две или три капли росы.

— Определенно — дивный фокус! — заявили друзья доктора, не особенно, впрочем, впечатлившись, поскольку видели куда более чудесные вещи на представлениях иллюзионистов. — Но скажите на милость, как вам это удалось?

— Вы никогда не слышали об Источнике Юности? — спросил доктор Хейдеггер. — Том самом, на чьи поиски двести или триста лет назад отправился испанский искатель приключений Понс де Леон?

— А разве Понс де Леон нашел его? — спросила вдова Уичерли.

— Нет, — ответил доктор Хейдеггер, — поскольку он искал Источник не в том месте. Знаменитый Источник Юности, если меня верно информировали, находится в южной части полуострова Флорида, недалеко от озера Макако. Родник скрыт несколькими гигантскими многовековыми магнолиями, сохраняющими первозданную

свежесть благодаря чудодейственным свойствам тамошней воды. Один мой знакомый, зная мой интерес к подобным предметам, прислал мне жидкость, которую вы видите в чаше.

— Грмм! — откашлялся полковник Киллигру, не веря ни единому слову из рассказа доктора. — А каким может быть воздействие этой жидкости на человеческий организм?

— Вы должны составить об этом собственное суждение, мой дорогой полковник, — ответил доктор Хейдеггер. — И вас, мои уважаемые друзья, я приглашаю выпить ровно столько этой восхитительной влаги, сколько потребуется для того, чтобы возвратить вам цветение юности. Касательно себя скажу, что мне стоило немалых трудов состариться, и поэтому я не тороплюсь вновь становиться молодым. Посему, с вашего разрешения, я стану лишь следить за ходом эксперимента.

С этими словами доктор Хейдеггер наполнил четыре бокала водой из Источника Юности. Она, очевидно, была насыщена неким шипучим газом, поскольку со дна бокалов постоянно поднимались крохотные пузырьки и лопались на поверхности серебристыми брызгами. Поскольку напиток источал приятный аромат, старики не

сомневались, что он обладает стимулирующими и освежающими свойствами. И хотя гости с огромным скепсисом относились к заключенной в нем силе омоложения, тем не менее они намеревались залпом осушить бокалы. Однако доктор Хейдеггер убедил их немного подождать.

— Прежде чем выпить, мои уважаемые друзья, — сказал он, — я хочу чтобы вы, руководствуясь опытом прожитых лет, вывели каждый для себя несколько общих правил, дабы следовать им, когда во второй раз станете подвергаться опасным соблазнам юности. Подумайте, сколь греховно и позорно было бы пренебречь особыми преимуществами и не стать образцами добродетели и мудрости для теперешнего молодого поколения!

Четверо почтенных друзей доктора в ответ лишь рассмеялись слабым, безжизненным смехом — настолько комичной им казалась мысль о том, что они смогут вновь впасть в соблазны, зная, сколь близко покаяние следует за прегрешением.

— Итак, пейте, — с поклоном произнес доктор. — Я радуюсь, что так удачно выбрал участников для своего эксперимента.

Дрожащими старческими руками гости под-

несли бокалы к губам. Если напиток и вправду обладал приписываемыми ему доктором Хейдеггером свойствами, стоило бы труда найти представителей рода человеческого, нуждающихся в нем более остро. Гости выглядели так, словно никогда не ведали, что такое молодость и наслаждение. Наоборот, они казались порождениями старческого слабоумия матушки Природы, словно всегда были седыми, иссохшими существами, которые теперь, скрючившись, сидели за столом в кабинете доктора, столь хилые душой и телом, что придать им живости не могла даже возможность снова стать молодыми. Они выпили воду и поставили бокалы на стол.

Безусловно, облик гостей почти мгновенно изменился к лучшему, подобно тому, как это случается после бокала благородного вина. И одновременно на их лица упали веселые солнечные лучи. Пепельно-серая бледность, делавшая их похожими на покойников, сменилась здоровым румянцем. Они смотрели друг на друга, и им казалось, будто некая волшебная сила и вправду начала разглаживать глубокие и скорбные борозды, которые безжалостное Время давным-давно проложило на челе каждого из них. Вдова Уичерли поправила чепец, поскольку снова начала

чувствовать себя женщиной.

— Дайте нам еще этой чудесной воды! — жадно вскричали гости. — Мы стали моложе, но мы все еще слишком стары! Быстрее дайте нам еще!

— Терпение, терпение! — взывал доктор Хейдеггер, сидевший и с философским спокойствием наблюдавший за ходом опыта. — Вы очень долго старились и, конечно же, захотите помолодеть за полчаса. Однако вода в вашем полном распоряжении.

Он снова наполнил бокалы гостей напитком молодости, которого в чаше оставалось столько, что можно было бы половину стариков в городе сделать ровесниками собственных внуков.

Едва у краев бокалов успели заиграть пузырьки, как гости схватили их со стола и залпом выпили. Не успела жидкость миновать их глотки, как каждый из них всем своим существом ощутил разительные перемены. Или это им только чудилось? Глаза их сделались ясными и лучистыми, седые кудри стали темнеть. И вот за столом уже сидели трое мужчин средних лет и полногрудая женщина в самом соку.

— Дорогая вдова, вы очаровательны! — воскликнул полковник Киллигру, впившийся глазами в ее лицо, в то время как тени старости

покидали его, подобно тьме, отступающей под натиском утренней зари.

Красавица-вдова давно знала, что комплименты полковника Киллигру не всегда соотносятся с правдой. Поэтому она ринулась к зеркалу, все еще боясь, что ее взору предстанет безобразное старушечье лицо.

Тем временем поведение троих джентльменов явственно доказывало, что вода из Источника Юности обладает некими опьяняющими свойствами, если только их веселость и приподнятое настроение не объяснялись легким головокружением, причиною которого стало освобождение от бремени прожитых лет. Мистера Гаскойна, похоже, занимали политические темы, но определить, относятся они к прошлому, настоящему или будущему, представлялось сложным, поскольку одни и те же идеи и словеса были в моде последние пятьдесят лет. Вот он громогласно вещал о патриотизме, славе нации и правах народа. Вот он лукавым и опасливым шепотком высказывал пагубные сентенции, да так осторожно, что его собственный ум не до конца вникал в суть. Вот он произносил речь столь размеренно и почтительно, словно его отточенной риторике внимало августейшее ухо. Полковник Киллигру

все это время напевал застольную песню, позвякивая бокалом в такт припеву, а взгляд его блуждал по пышным формам вдовы Уичерли. Сидевший по ту сторону стола мистер Медбурн погрузился в денежные расчеты, странно сочетавшиеся с прожектом поставки льда в Вест-Индию посредством упряжки китов, тянущих за собой полярный айсберг. Что же до вдовы Уичерли, то она стояла перед зеркалом, жеманно улыбаясь и делая реверансы своему отражению, приветствуя его, как друга, которого любишь больше всех на свете. Она едва не прижималась лицом к стеклу, чтобы разглядеть, исчезла ли давняя морщинка на лбу или гусиная лапка возле глаза. Она пристально всматривалась, без остатка ли стаял снег в волосах, чтобы можно было без опаски раз и навсегда выбросить вдовий чепец. Наконец, резко отвернувшись от зеркала, она, пританцовывая, подошла к столу.

— Мой дорогой доктор! — воскликнула она. — Молю вас, дайте мне еще бокал!

— Разумеется, сударыня моя, непременно! — галантно ответил доктор. — Глядите! Бокалы уже налиты.

И действительно, на столе стояли четыре бокала, до краев наполненные живительной влагой,

а сверкание лопавшихся на поверхности пузырьков напоминало трепетный блеск бриллиантов.

Солнце почти зашло, и в кабинете начал сгущаться сумрак, однако от чаши исходило мерное, похожее на лунное, бледное сияние, освещавшее лица гостей и величественную фигуру доктора. Он сидел в дубовом кресле с украшенной изысканной резьбой высокой спинкой, и лицо его, обрамленное благородными сединами, вполне могло сравниться с ликом самого Времени, чье могущество никогда не оспаривалось никем, кроме этой компании счастливчиков. Даже поглощая третий бокал воды из Источника Юности, гости испытали почти благоговейный ужас, увидев загадочное выражение лица доктора. Но в следующее мгновение освежающий поток молодости разнесся по их жилам. Теперь они оказались в самом расцвете беззаботной юности. Старость с ее жалкой чередой забот, скорбей и болезней вспоминалась как страшный сон, обернувшийся радостным пробуждением. Вновь обретенная душевная легкость, утраченная так рано, что сменяющие друг друга события мирской жизни представлялись без нее лишь галереей поблекших картин, снова придала очарование всем их помыслам. Они чувствовали себя заново

рожденными обитателями заново сотворенной вселенной.

— Мы молоды! Мы молоды! — восторженно кричали они.

Молодость, как и глубокая старость, сгладила отличительные черты, приобретенные ими в среднем возрасте, и сделала их похожими друг на дружку. Они превратились в веселую молодежь, едва не обезумевшую от свойственной их возрасту жизнерадостности. Наиболее ярким проявлением такой беззаботности стало осмеяние немощи и дряхлости преклонного возраста, которыми они совсем недавно страдали. Они громко хохотали над своей одеждой — ведь на юношах красовались широкополые сюртуки и старомодные жилеты с отворотами, а на цветущей девушке — старушечий чепец и чопорное платье. Один из них захромал по полу, передразнивая походку разбитого подагрой старца, другой водрузил на нос очки, делая вид, что вчитывается в испещренные готическим шрифтом страницы волшебной книги, третий уселся в кресло и принялся пародировать величественную фигуру доктора. Затем все они с довольными криками стали прыгать по комнате.

Вдова Уичерли — если можно назвать вдовой

цветущую девицу — подошла к доктору с озорной улыбкой на порозовевшем лице.

— Доктор, дорогой наш старикан! — воскликнула она. — Встаньте и потанцуйте со мной!

Вся четверка молодых людей рассмеялась еще громче, представляя, какие па станет выписывать бедный старый эскулап.

— Прошу меня извинить, — негромко ответил доктор. — Я стар, у меня ревматизм, и танцы для меня остались в далеком прошлом. Однако любой из этих веселых молодых джентльменов с радостью составит тур с такой прелестной дамой.

— Потанцуйте со мной, Клара! — воскликнул полковник Киллигру.

— Нет, нет! Этот танец мой! — вскрикнул мистер Гаскойн.

— Она пятьдесят лет назад обещала мне руку! — обидчиво возопил мистер Медбурн.

Все трое обступили красавицу-вдову. Один страстно сжимал ее руки в своих ладонях, другой обнимал за талию, третий запустил пальцы в блестящие локоны, выбивавшиеся из-под вдовьего чепца. Краснея, задыхаясь, ворча и смеясь, по очереди обдавая каждого теплым дыханием, она старалась уклониться от их объятий, но не могла высвободиться. Невозможно представить себе

более живую картину соперничества юношей за прекрасную чаровницу. Однако из-за странного оптического обмана или благодаря царившему в кабинете сумраку и старомодным нарядам высокое зеркало, как поговаривают, отразило фигуры трех седых иссохших стариков, состязавшихся за обладание худой, морщинистой и безобразной старухой. Но они были молоды, и это доказывала их пылкая страстность.

Распаленные до полубезумия кокетством девицы-вдовы, которая не принимала и одновременно не отвергала их ухаживаний, трое соперников принялись обмениваться угрожающими взглядами. Не выпуская из рук драгоценной добычи, они неистово вцепились друг другу в глотки. Во время борьбы опрокинули стол, и чаша разлетелась на тысячу осколков. Драгоценная Вода Юности сверкающим потоком разлилась по полу, намочив крылья бабочки, которая состарилась к концу лета и присела на пол в ожидании смерти. Она вспорхнула, весело пролетела по комнате и приземлилась на седую голову доктора Хейдеггера.

— Довольно, довольно, господа! Довольно, госпожа Уичерли! — воскликнул он. — Право же, я возражаю против подобной необузданности!

Они замерли и содрогнулись, поскольку показа-

лось, что седое Время призывает их из солнечной молодости обратно в холодную и темную юдоль старости. Они поглядели на почтенного доктора Хейдеггера, который сидел в резном кресле и держал в руке розу возрастом в полвека, извлеченную из-под осколков разбитой чаши. По взмаху его руки четыре нарушителя спокойствия снова заняли места за столом — довольно охотно, поскольку необузданные шалости утомили их, пусть к ним и вернулась молодость.

— Роза моей бедной Сильвии! — вырвалось у доктора Хейдеггера, державшего цветок в лучах пробивавшегося сквозь облака предзакатного солнца. — Кажется, она снова вянет.

Так оно и было. Пока собравшиеся глядели на него, цветок продолжал чахнуть, покамест не сделался таким же сухим и хрупким, как до помещения в чашу. Он стряхнул оставшиеся на лепестках капельки влаги.

— Я люблю ее так же, как и в пору ее первозданной свежести, — заметил он, прижимая увядшую розу к своим сморщенным губам.

Пока он говорил, бабочка вспорхнула с его седых волос и упала на пол. Гости снова вздрогнули. Их постепенно начала охватывать странная вялость. Вялость то ли тела, то ли духа — нельзя

сказать наверное. Они поглядели друг на друга, и им показалось, что каждое убегающее мгновение уносит с собой частицу очарования, оставляя все углубляющиеся морщины там, где раньше их и в помине не было. Или это только чудилось? Неужели перемены всей жизни втиснулись в столь малый промежуток времени, и они опять старики, сидящие в гостях у давнего друга, доктора Хейдеггера?

— Мы снова так быстро состарились?! — жалобно вскричали они.

Они действительно состарились. Вода Юности обладала действием более кратковременным, чем вино, и вызванное ею опьянение улетучилось. Да, они опять превратились в стариков. Судорожным движением, все еще свойственным женщине, вдова сцепила у лица тощие руки и пожелала, чтобы лицо ее накрыла крышка гроба, поскольку оно больше не может быть красивым.

— Да, друзья, вы снова стары, — проговорил доктор Хейдеггер. — Взгляните! Вся Вода Юности расточена по земле. Но я об этом не стенаю, ибо, даже если бы источник ее забил у самого моего порога, я бы не нагнулся, чтобы омыть в нем губы. Нет — пусть даже опьянение длилось бы годы, а не мгновения. Таков урок, что вы мне

преподали.

Однако четверо друзей доктора не извлекли для себя уроков из случившегося. Они тотчас же решили совершить паломничество, дабы денно и нощно вкушать от Источника Юности.

Легенды губернаторского дома

Маскарад у генерала Хау

Однажды прошлым летом я как-то днем гулял по Вашингтон-стрит, и мое внимание привлекла вывеска, помещавшаяся над узкой аркой почти напротив Старой Южной церкви. Там был изображен фасад величественного здания, а рядом красовалась надпись: «СТАРЫЙ ГУБЕРНАТОРСКИЙ ДОМ, содержатель Томас Уэйт». Я обрадовался, поскольку вспомнил о давнишнем желании посетить и осмотреть особняк прежних королевских губернаторов Массачусетса. Я прошел под арку, пробитую в кирпичной стене торговых рядов, и, сделав несколько шагов, перенесся из оживленного центра современного Бостона в маленький уединенный двор. По одну сторону стоял квадратный фасад трехэтажной резиденции губернаторов, увенчанный башней, на самом верху которой виднелась фигура индейца с натянутым луком, будто бы целившегося во флюгер на шпиле Старой Южной церкви. Фигура эта целится из лука уже больше семидесяти лет, с тех пор как дьякон Драун, искусный резчик по дереву, установил ее в касчестве охраняющего город стража.

Губернаторский дом построен из кирпича, и его стены, похоже, совсем недавно выкрасили светлой краской. Короткая лестница из красного песчаника с балюстрадой с изящным узором ведет к широкому крыльцу, над которым нависает балкон с чугунными перилами с таким же узором. Здесь к узору добавляются буквы и цифры «16 П.С. 79», очевидно, обозначающие год постройки и инициалы архитектора.

Через широкую двустворчатую дверь я попал в вестибюль, где по правую руку находится вход в буфет. Полагаю, именно здесь давнишние губернаторы устраивали приемы, пышностью не уступавшие вице-королевским, стоя в окружении военных, советников, судей и прочих служителей короны, тогда как верноподданные толпами валили, чтобы оказать им почести. Но теперешний вестибюль по виду не может похвастаться даже отблесками прежнего великолепия. Деревянные стенные панели покрыты потускневшей краской и кажутся еще темнее из-за тени, которую на губернаторский дом отбрасывает кирпичная стена, отделяющая его от Вашингтон-стрит. Туда больше не проникает луч солнца, как и не долетает свет праздничных факелов, погасших во времена революции. Самый примечательный

и красивый тамошний предмет — камин, выложенный голландскими изразцами, на которых в два цвета — синим и белым — изображены сцены из Священного Писания. Судя по тому немногому, что я знаю, у этого камина могла сидеть жена губернатора Паунэлла или Бернарда, которая рассказывала детям истории по сюжету каждого из изразцов. Вдоль стены располагается современная буфетная стойка, плотно уставленная графинами, бутылками, ящиками с сигарами и плетеными корзинками с лимонами. Там же помещается пивной кран и фонтанчик с содовой водой.

Войдя, я заметил пожилого мужчину, который причмокивал губами от удовольствия, и я тут же ощутил уверенность, что в погребах губернаторского дома по-прежнему стоят бочки с хорошим вином, хотя, несомненно, далеко не тем, которое смаковали губернаторы минувших времен. После стакана портвейна с мускатным орехом, умело приготовленного проворными руками мистера Томаса Уэйта, я попросил досточтимого преемника и «наследника» многих исторических лиц провести меня по освященному славой былых времен особняку. Он охотно согласился, однако, правду сказать, мне пришлось довольно сильно

напрягать воображение, чтобы найти что-то интересное в доме, который, если отбросить его историческое прошлое, является заурядной гостиницей, и где обычно живут благообразные пожилые горожане и старомодные господа из провинции. Внутренние покои, вероятно, в прежние времена очень просторные, теперь разделены перегородками на тесные клетушки, в которых едва помещаются узкая кровать, стул и туалетный столик. Однако главная лестница без особого преувеличения представляет собой образчик пышности и великолепия. Она располагается посереди здания, широкие марши перемежаются просторными квадратными площадками и простираются до самого купола. Вдоль нее до самого верха с обеих сторон тянутся перила с резными балясинами диковинной формы. На нижних этажах они сверкают свежей краской, а ближе к верхним становятся грязноватыми. По этим ступеням многие губернаторы в военных сапогах или, возможно, в мягких туфлях для подагриков поднимались на башню, откуда открывался дивный вид на город и его окрестности. Башня представляет собой восьмиугольник с ведущей на крышу дверью. Отсюда, думал я, Гейдж мог наблюдать свою пиррову победу в битве при

Банкер-Хилле (если только ему не мешала одна из вершин прилепленных друг к дружке холмов), а Хау отмечал приближение осаждавших город войск Вашингтона, хотя построенные с тех пор здания заслоняют вид на все, кроме колокольни Старой Южной церкви, до которой, кажется, можно дотянуться рукой. Спускаясь с башни, я задержался у чердака, чтобы посмотреть на мощные стропила из белого дуба, куда более массивные, чем в современных домах, и потому напоминающие скелет древнего животного. Стены из голландского кирпича и деревянные перекрытия все так же прочны, но полы и другие части здания основательно прогнили. По этой причине есть мысли снести все внутри и выстроить новое здание, помещенное в старый каркас из кирпича и дерева. Среди других неудобств мой провожатый отметил то, что при любом сильном ударе или резком движении наверху пыль веков сыплется на головы обитателей нижнего этажа.

Через огромное окно до пола мы вышли на балкон, откуда, вне всякого сомнения, в былые времена наместники короны показывались верноподданному населению, благосклонно внимая восторженным возгласам и взирая на подбрасываемые вверх шляпы. В те дни фасад

губернаторского дома выходил на улицу, и место, ныне занятое кирпичной громадой торговых рядов, а также двор отдали под зеленую лужайку с тенистыми деревьями, обнесенную кованой железной оградой. Теперь старое барственно-изысканное здание прячет поблекшие от времени стены за новоделом. В одном из задних окон я заметил хорошеньких швей, занятых шитьем, болтавших и смеявшихся за работой. Они то и дело поглядывали на балкон. Потом мы спустились и снова вошли в буфет. Вышеупомянутый пожилой господин, чье причмокивание столь лестно говорило о содержимом винного погреба мистера Уэйта, все так же сидел, развалившись на стуле. Похоже, там он считался если не постояльцем, то, по крайней мере, завсегдатаем с открытым у хозяина кредитом; для него держали место у окна летом и у камина — зимой. Будучи человеком общительным, я отважился обратиться к нему с замечанием, рассчитанным на то, чтобы он пустился в исторические воспоминания, если таковые у него имеются. Попытка моя была вознаграждена тем, что этот почтенный господин, как оказалось, знал несколько любопытных историй, связанных с губернаторским домом, пусть они и представляли собой нечто среднее

между правдой и вымыслом. Меня особенно заинтересовал фрагмент нашего с ним разговора, который стал основой приводимого ниже рассказа. По словам этого господина, он услышал его от потомка очевидца в первом или втором поколении. Однако его содержание с течением времени наверняка менялось с каждым новым изложением. Поэтому, не теша себя надеждой на изложение истинных обстоятельств, я решился внести в повествование некоторые изменения ради пользы и удовольствия читателя.

На одном из праздников, устроенных в губернаторском доме ближе к окончанию осады Бостона, произошел случай, которому до сих пор не найдено приемлемого объяснения. Британские армейские офицеры и оставшиеся верными короне помещики, большинство которых собралось в осажденном городе, были приглашены на бал-маскарад, поскольку сэр Уильям Хау стремился скрыть бедствия, опасности и становившееся все более безнадежным положение в городе пышностью и показным весельем праздников. Если верить самым старым представителям тогдашнего высшего общества, во дворце губернатора никогда еще не устраивали столь веселого и роскошного приема, как в тот вечер. Множество

людей, наполнявших ярко освещенную резиденцию, похоже, сошли с потемневших полотен старинных портретов или со страниц романов, или же, на крайний случай, прилетели из одного из лондонских театров прямо в сценических костюмах. Закованные в железо рыцари времен Вильгельма Завоевателя, бородатые вельможи елизаветинской эпохи и фрейлины королевы-девственницы в высоких плоеных воротниках смешивались в толпе с персонажами комедий, такими как шут в разноцветном наряде и колпаке с бубенчиками, Фальстаф, почти такой же смешной, как его прототип, и Дон Кихот с жердью вместо копья и крышкой от кастрюли вместо щита.

Но наибольшее веселье вызвала группа в потешной старой военной форме, похоже, купленной на армейской барахолке или найденной на свалке, куда французы и британцы выбрасывали изношенные мундиры. Кое-какие из этих одеяний, вероятно, носили еще во время осады Луисбурга, а наиболее новые шинели, наверное, были иссечены саблями, пулями и штыками в эпоху побед генерала Вульфа. Один из этих храбрецов — высокий и худой, размахивавший ржавой шпагой непомерной длины, — изображал

не кого иного, как генерала Джорджа Вашингтона, а другие подобные ему чучела — других военачальников американской армии: Гейтса, Ли, Патнэма, Скайлера, Уорда и Хита. Героико-комические переговоры между мятежными воинами и британским главнокомандующим вызвали бурю аплодисментов, при этом громче всех хлопали местные лоялисты.

Однако среди гостей находился человек, стоявший в стороне и глядевший на это фиглярство одновременно и сурово, и презрительно, нахмурив брови и горько улыбаясь. Это был старик, некогда занимавший в колонии высокое положение и пользовавшийся доброй репутацией, а также бывший очень известным военным чином. Вызывало удивление, что полковник Джолифф, известный своими виговскими взглядами, хоть и слишком пожилой, чтобы участвовать в борьбе между партиями, остался в Бостоне во время осады. Еще более странным казалось то, что он согласился приехать в резиденцию сэра Уильяма Хау. Однако он приехал туда под руку с хорошенькой внучкой и стоял посреди всеобщего веселья и шутовства суровой одинокой фигурой, как нельзя лучше представляя посреди этого маскарада древний дух своей родины. Кое-кто

из гостей утверждал, что сердитый пуританский взгляд Джолиффа словно бы отбрасывал вокруг него темную тень, однако, несмотря на его хмурый вид, они продолжали веселиться еще пуще, подобно — жутковатое сравнение! — светильнику, который разгорается еще ярче перед тем, как вскоре догореть.

Через полчаса после того, как часы на Старой Южной церкви пробили одиннадцать, среди веселившегося общества прошел слух, что вскоре последует новое представление или живая картина, которая станет достойным завершением этого феерического вечера.

— Какую еще забаву вы нам приготовили, ваше превосходительство? — спросил преподобный Мэзер Байдз, чьи пресвитерианские принципы не помешали ему принять участие в увеселении. — Верьте слову, сэр, я уже насмеялся больше, чем подобает моему сану, вашим уморительным переговорам с мятежным генералом-оборванцем. Еще одна такая шутка, и мне придется снять сановное облачение.

— Вы не правы, дорогой мой доктор Байлз, — ответил сэр Уильям Хау. — Будь веселье прегрешением, вы никогда бы не стали доктором теологии. Что же до новой забавы, то я знаю о

ней не больше, чем вы, возможно, даже меньше. А если честно, доктор, уж не вы ли подвигли некоторых своих воздержанных земляков, чтобы те разыграли на маскараде какую-нибудь сцену?

— Возможно, — лукаво заметила внучка полковника Джолиффа, чье самолюбие было уязвлено многочисленными насмешками над жителями Новой Англии, — возможно, нам предстанет шествие аллегорических фигур: Победы с трофеями из Лексингтона и Банкер-Хилла, Изобилия с переполненным рогом, символа нынешнего богатства нашего дивного города, и Победы с венком на челе вашего превосходительства.

Сэр Уильям Хау улыбнулся, услышав эти слова, на которые бы он ответил, грозно нахмурив брови, если бы их произнесли губы, под которыми красовалась борода. Случившееся следом избавило его от необходимости парировать подобную насмешку. Снаружи послышалась музыка, словно на улице заиграл военный оркестр, но вступил он не с приличествующей случаю праздничной мелодией, а с медленным похоронным маршем. Барабаны ударили приглушенно, трубы жалобно запричитали, отчего веселье гостей сразу улетучилось и собравшиеся ощутили удивление пополам с дурным предчувствием. Многие ре-

шили, что у входа в резиденцию остановилась похоронная процессия, провожающая в последний путь какого-то великого человека, или что в парадные двери вот-вот внесут отделанный бархатом и пышно украшенный гроб. На мгновение прислушавшись, сэр Уильям Хау строгим голосом подозвал капельмейстера, который до того развлекал общество веселыми легкими мелодиями. Капельмейстер был тамбурмажором[2] одного из британских полков.

— Дайтон, — сурово спросил он, — что это за дурачество? Немедленно прекратите похоронный марш, иначе, даю слово, мои гости и вправду впадут в уныние. Прекратить, и сейчас же!

— Покорнейше прошу прощения, ваше превосходительство, — ответил тамбурмажор, чье румяное лицо моментально побледнело, — я не виноват. Мой оркестр здесь в полном составе, и я сомневаюсь, что хотя бы один из музыкантов смог сыграть этот марш без нот. Я слышал его лишь однажды — на похоронах Его Величества покойного короля Георга Второго.

— Так, так! — проговорил сэр Уильям Хау, беря себя в руки. — Это, наверное, прелюдия к какой-то

---

[2] Примечания: 2
Тамбурмажор — управляющий военным оркестром на марше.

маскарадной сцене. Пусть играют.

В зале появилась еще одна фигура, но никто из множества одетых в самые фантастические костюмы и маски не мог точно сказать, откуда она взялась. Человек в старомодном наряде из черной саржи с лицом и осанкой дворецкого или мажордома приблизился к парадному входу, настежь распахнул двустворчатую дверь, отошел чуть в сторону и оглянулся на широкую лестницу, словно ожидая выхода важной особы. В то же время музыка взлетела ввысь в громком скорбном призыве. Взгляды сэра Уильяма Хау и его гостей были прикованы к лестнице, и вот с верхней площадки, которая хорошо просматривалась снизу, начали спускаться несколько фигур. Впереди шел мрачный человек в остроконечной шляпе, надетой поверх скуфьи, в темном плаще и больших сапогах со складками выше колен. Под мышкой он нес знамя, похожее на британский флаг, но странно продырявленное и оборванное. В правой руке он держал шпагу, в левой — Библию. За ним следовал другой с лицом менее суровым, но не уступавшим первому в величественности, одетый в мантию из тканого бархата, черный бархатный камзол и панталоны в обтяжку. Борода его свисала на широкий плоеный воротник,

в руке он держал рукописный свиток. Сразу за ними спускался молодой человек, резко выделявшийся манерами. На челе у него лежала печать глубоких раздумий, глаза то и дело вспыхивали восторженным сиянием. Одежда у него, как и у шедших впереди, была старинная, а на плоеном воротнике алело пятно крови. За ними шло еще трое или четверо, все с величественными властными лицами, ведшие себя так, словно привыкли к взглядам толпы. Глядевшие на них гости губернатора решили, что эти люди собираются присоединиться к загадочной похоронной процессии, остановившейся у дверей. Однако эта догадка противоречила выражению торжества, с которым они помахали руками, прежде чем вышли за порог и скрылись из виду.

— Черт подери, это что еще такое? — пробормотал сэр Уильям Хау, обращаясь к стоявшему рядом господину. — Парад судей-цареубийц, обрекших на смерть короля-мученика Карла Первого?

— Это, — проговорил полковник Джолифф, едва ли не впервые за весь вечер нарушив молчание, — если я правильно понимаю, пуританские губернаторы Массачусетса, правители-родоначальники демократической колонии. Эндикотт со знаменем, с которого он сорвал символ пап-

ского владычества, Уинтроп и сэр Генри Вейн, Дадли, Хейнс, Беллингем и Леверетт.

— А почему у молодого человека кровь на воротнике? — спросила мисс Джолифф.

— Потому что впоследствии, — ответил ей дед, — он положил мудрейшую в Англии голову на плаху во имя свободы.

— Не прикажет ли ваше превосходительство вызвать караул? — прошептал лорд Перси, который вместе с другими британскими офицерами подошел к генералу. — За этим лицедейством может скрываться заговор.

— Чушь! Нам нечего бояться, — беспечно ответил сэр Уильям Хау. — В этом балагане измены не больше, чем шутки, и шутки глупейшей. Будь она даже острой и язвительной, нам лучше всего над ней посмеяться. Смотрите! Вон еще какая-то братия идет.

По лестнице спускалась еще одна группа. Впереди шел почтенный седобородый старец, осторожно щупавший дорогу посохом. Следом торопливо шагал, вытянув руку в перчатке, словно пытаясь ухватить старика за плечо, высокий, похожий на воина человек в стальном шлеме с плюмажем, в сверкающем нагруднике и с длинной, грохотавшей по ступенькам шпагой. За ним

следовал плотный мужчина в богатой одежде придворного, но не с придворными манерами. Он шел вразвалку, как матрос, и, случайно споткнувшись на лестнице, вдруг посуровел лицом и отчетливо выругался. Затем стал спускаться человек с благородным лицом в завитом парике, какие можно увидеть на портретах времен королевы Анны и чуть раньше, грудь его камзола украшала вышитая звезда. Идя к двери, он изящно и подобострастно кланялся направо и налево, но, ступив за порог, в отличие от губернаторов-пуритан, в отчаянии заломил руки.

— Почтенный доктор Байлз, прошу вас внести лепту, — произнес сэр Уильям Хау. — Кто эти достойные господа?

— С позволения вашего превосходительства, они жили до меня, — ответил доктор. — Однако наш друг полковник, несомненно, был близко с ними знаком.

— При жизни я никого из них не знал, — мрачно проговорил полковник Джолифф, — хотя и лично говорил со многими правителями земли нашей. Думаю, старческой рукой благословить еще одного из них, прежде чем умру. Но речь идет об этих фигурах. Полагаю, что почтенный старец — это Брэдстрит, последний из пуритан,

бывший губернатором где-то в девяносто лет. Следом шагает сэр Эдмунд Андрос, тиран, известный в Новой Англии каждому школьнику. За это его и скинули с вершин власти и бросили в темницу. За ним идет сэр Уильям Фиппс, пастух, бондарь, шкипер и губернатор. Дай Бог многим его землякам подняться так же высоко из самых низов! И наконец, вы видели благородного графа Белламонта, правившего нами при короле Вильгельме Оранском.

— Но что это все означает? — спросил лорд Перси.

— Будь я мятежницей, — вполголоса сказала мисс Джолифф, — решила бы, что тени прежних губернаторов вызваны сюда для того, чтобы составить процессию на похоронах королевского владычества над Новой Англией.

Теперь на площадке лестницы появились еще несколько фигур. У шедшей впереди было задумчивое, встревоженное и хитроватое лицо, свидетельствовавшее о том, что его обладатель вполне способен пресмыкаться перед теми, кто выше него. Через несколько ступенек от него шагал офицер в расшитом алом мундире старинного покроя, который, вероятно, носил еще герцог Мальборо. Его розоватый нос в сочетании

с блестящими глазами характеризовал хозяина как любителя выпить с веселыми собутыльниками. Однако его явно что-то беспокоило: он то и дело озирался по сторонам, словно боясь тайных интриг. Затем шел дородный господин в сюртуке из ворсистой ткани с подбоем из тонко выделанного бархата. Лицо у него было умное, хитроватое и веселое, под мышкой он держал толстую книгу. Но в то же время казалось, словно он чуть ли не до смерти доведен неустанными и мучительными размышлениями. Он торопливо спустился, и за ним последовал статный мужчина в костюме из пурпурного бархата с чрезвычайно богатой вышивкой. Он выглядел бы еще величественнее, если бы не сильная подагра, из-за которой он еле ковылял по ступеням, то и дело содрогаясь всем телом и морщась от боли. Увидев на лестнице эту фигуру, доктор Байлз затрясся, будто в лихорадке, но продолжал неотступно следить за подагрическим господином, пока тот не дошел до порога, тоскливо и отчаянно взмахнув рукой, и не скрылся в темноте, куда звала его траурная музыка.

— Губернатор Белчер, мой былой благодетель, прямо как живой! — ахнул доктор Байлз. — Какое жуткое глумление.

— Скорее пошлая выходка, — с равнодушным

видом заметил сэр Уильям Хау. — Но кто же трое предшественников?

— Губернатор Дадли, коварный политик, однако собственное интриганство довело его до тюрьмы, — ответил полковник Джолифф. — Губернатор Шют, прежде служивший полковником у герцога Мальборо. Народ вынудил его бежать отсюда. И, наконец, ученый губернатор Бернетт, которого непомерные труды на ниве закона довели до лихорадки и свели в могилу.

— Мне думается, что все эти королевские губернаторы Массачусетса были убогими и несчастными людьми, — заметила мисс Джолифф. — Боже праведный! Как быстро гаснет свет!

И действительно, освещавшая лестницу большая люстра горела теперь блекло, отчего несколько фигур, торопливо спустившихся по ступенькам и исчезнувших за порогом, больше походили на призраков, нежели на людей из плоти и крови.

Сэр Уильям Хау и его гости стояли у дверей примыкавших к залу апартаментов и наблюдали за этой пышной процессией со смешанными чувствами: злобой, отвращением и смутно ощущаемым страхом, но все без исключения — с тревожным любопытством. Фигуры, похоже, за-

торопившиеся присоединиться к таинственной процессии, теперь узнавали только по поразительным отличиям в одежде или бросавшимся в глаза особенностям поведения, а не по портретному сходству с их прототипами. Лица всех без исключения скрывались в густой тени, но доктор Байлз и другие господа, знавшие сменявших друг друга правителей Новой Англии, шепотом называли имена Ширли, Паунэлла, сэра Френсиса Бернарда и недоброй памяти Хатчисона, тем самым признавая, что актеры, кто бы они ни были, в этой призрачной череде губернаторов сумели достичь сходства, пусть и отдаленного, с реальными людьми. Когда они исчезали за дверью, их тени продолжали горестно вскидывать руки к небу. Вслед за изображавшей Хатчисона фигурой появился военный, прикрывавший лицо снятой с напудренного парика треуголкой, однако эполеты и другие знаки отличия говорили о том, что это генерал-майор, и что-то в его наружности напоминало о человеке, который недавно был хозяином губернаторского дома и правителем окружающих земель.

— Это же Гейдж, прямо как живой! — бледнея, воскликнул лорд Перси.

— Конечно же нет! — с истерическим смехом

вскричала мисс Джолифф. — Это не Гейдж, иначе сэр Уильям обязательно бы поприветствовал давнего товарища по оружию. Возможно, следующего он не обделит вниманием.

— В этом будьте уверены, барышня, — ответил сэр Уильям Хау, впившись многозначительным взглядом в застывшее лицо ее деда. — Я достаточно долго пренебрегал долгом хозяина по отношению к уходящим гостям, и следующий, кто вознамерится откланяться, удостоится этой чести.

В открытую дверь ворвалась мрачная, безотрадная музыка. Казалось, медленно собиравшаяся процессия вот-вот тронется, и это громкое завывание труб и глухая барабанная дробь призывают поторопиться кого-то замешкавшегося наверху. Многие взгляды, следуя неодолимому порыву, обратились на сэра Уильяма Хау, словно именно его печальная музыка звала на похороны ушедшей в мир иной власти.

— Смотрите! Вот последний идет! — прошептала мисс Джолифф, дрожащим пальцем показывая на лестницу.

Появилась будто бы шагавшая вниз по ступеням фигура, однако там, откуда она явилась, царила такая мгла, что некоторым показалось,

словно она возникла из темноты. Фигура спускалась вниз четким строевым шагом, и когда она дошла до последней ступени, то все увидели высокого мужчину, закутанного в военный плащ, доходивший до ворсованных полей обшитой галуном шляпы и поэтому полностью скрывавший лицо. Но британские офицеры решили, что раньше уже видели этот плащ, и даже узнали обтрепанную вышивку на воротнике, как и позолоченные ножны шпаги, выбивавшиеся из-под складок и блестевшие в лучах света. Но помимо этих малозначительных признаков были еще походка и манера держаться, которые заставили изумленных гостей перевести взгляды с закутанной фигуры на сэра Уильяма Хау, словно чтобы удостовериться, что хозяин внезапно не исчез со своего места. Они увидели, как генерал с потемневшим от злости лицом вытащил шпагу и шагнул к фигуре в плаще, прежде чем та успела сделать шаг вперед.

— Открой лицо, негодяй! — вскричал он. — И ни шагу дальше!

Фигура даже не шевельнулась при виде устремленной ей в грудь шпаги. Торжественно выдержав паузу, она опустила верх плаща, закрывавшего лицо, но недостаточно для того, чтобы

его разглядели зрители. Однако сэр Уильям Хау наверняка увидел, сколько нужно. Суровость на его лице сменилась изумлением, если не страхом, когда он отступил на несколько шагов и уронил шпагу. Человек в военном одеянии снова прикрыл лицо плащом и двинулся дальше, оставаясь спиной к собравшимся, но, дойдя до порога, топнул ногой и потряс в воздухе кулаками. Позднее утверждалось, что сэр Уильям Хау повторил этот полный ярости и отчаяния жест, когда он как последний королевский губернатор покидал резиденцию.

— Слушайте! Процессия двинулась, — сказала мисс Джолифф.

Музыка на улице стала затихать, и ее печальные аккорды сливались с полночным боем часов на башне Старой Южной церкви и с грохотом орудий, возвещавшим о том, что осаждавшая город армия Вашингтона подошла к его стенам так близко, как никогда раньше. Когда гром пальбы достиг ушей полковника Джолиффа, он не без усилия выпрямился и мрачно улыбнулся британскому генералу.

— Вашему превосходительству угодно еще глубже вникнуть в тайну этого маскарадного действа? — спросил он.

— Побереги седую голову! — яростно вскричал сэр Уильям Хау, пусть и дрожащим голосом. — Она слишком долго держалась на плечах предателя.

— Тогда вам нужно поторопиться ее отрубить, — спокойно ответил полковник, — поскольку не пройдет и нескольких часов, как власти сэра Уильяма Хау или его короля не достанет на то, чтобы с этой седой головы упал хотя бы один волос. Сегодня вечером Британская империя находится в своей старой колонии при последнем издыхании. И когда я говорю эти слова, она уже труп. Сдается мне, что тени прежних губернаторов — подходящие плакальщики на ее похоронах.

С этими словами полковник Джолифф набросил плащ и, взяв под руку внучку, покинул последний праздник, устроенный британским наместником провинции Массачусетс-Бэй. Полагали, что полковник с внучкой обладают некими секретными сведениями о загадочном представлении, разыгранном тем вечером. Но как бы то ни было, эти сведения так и не стали достоянием широкой публики. Участвовавшие в живых картинах актеры исчезли даже вернее, чем переодевшиеся индейцами горожане, побросавшие в

воды залива груз чая с кораблей, но так и оставшиеся неизвестными. Однако одна из легенд, связанных с этим особняком, упорно твердит, что каждую ночь перед годовщиной окончания британского владычества в Массачусетсе тени прежних губернаторов выходят из парадного подъезда резиденции. И последней в их череде появляется фигура, закутанная в генеральский плащ, потрясающая воздетыми к небу кулаками и топающая обутой в кованый сапог ногой на широкой лестнице из красного песчаника, не издавая при этом ни единого звука.

Когда смолк говоривший «сущую правду» голос пожилого господина, я глубоко вздохнул и оглядел зал, изо всех сил пытаясь силою воображения придать окружавшей меня действительности оттенок романтичности и прошлого великолепия. Но в ноздри мне ударил запах табачного дыма, облака которого обильно пускал рассказчик, как я полагаю, в знак того, что его история овеяна флером неясности и расплывчатости. Более того, мои дивные фантазии были горестно нарушены позвякиванием ложечки в бокале с пуншем, который мистер Уэйтс готовил для очередного посетителя. Не добавляла романтики деревянным стенным панелям и висевшая на одной

из них вместо геральдического щита одного из родовитых губернаторов грифельная доска с расписанием почтовых дилижансов до Бруклина. У окошка сидел кучер такого дилижанса и читал свежую дешевую газетку «Бостон Таймс». Он являл собой типичный образец горожанина, портрет которого вполне мог красоваться на первой полосе лет семьдесят или сто назад. На подоконнике лежал аккуратный сверток из коричневой бумаги, на котором я из чистого любопытства прочел надпись: «Мисс Сюзан Хаггинс, гостиница “Губернаторский дом”». Несомненно, какая-нибудь хорошенькая горничная. По правде говоря, чрезвычайно трудно придать ореол старины вещам, которые связаны с нашей жизнью и которые мы видим каждый день. И все же, когда я смотрел на величественную лестницу, по которой спускалась процессия губернаторов, и когда выходил из парадных дверей, из которых до меня прошествовали их тени, я с радостью ощутил благоговейный трепет. Затем я нырнул под узкую арку, сделал несколько шагов и вскоре оказался на оживленной Вашингтон-стрит.

Портрет Эдуарда Рэндолфа

Почтенный завсегдатай губернаторского дома, чей рассказ так поразил мое воображение, с лета до самого января не выходил у меня из головы. Как-то в середине зимы, в свободный от всяких дел вечер, я решился нанести ему повторный визит, полагая, что застану его, как обычно, в самом уютном уголке гостиничного бара. Не утаю, что я при этом льстил себя надеждой заслужить признательность отечества, воскресив для потомков еще какой-нибудь позабытый эпизод его истории. Погода стояла сырая и холодная: яростные порывы ветра со свистом проносились по Вашингтон-стрит, и пламя газовых фонарей то замирало, то вспыхивало. Я торопливо шел вперед, сравнивая в своем воображении нынешний вид улицы с тем, какой она, вероятно, имела в давно минувшие дни, когда дом, куда я теперь направлялся, был еще официальной резиденцией английских губернаторов. Каменные строения в те времена были чрезвычайно редки: их начали возводить лишь после того, как бо`льшая часть деревянных домов и складов в самой населенной части города несколько раз кряду выгорела

дотла. Здания стояли тогда далеко друг от друга и строились каждое на свой манер: их физиономии не сливались, как теперь, в сплошной ряд утомительно одинаковых фасадов — напротив, каждый дом обладал особенными, неповторимыми чертами, сообразно со вкусом владельца, и вся улица являла собою зрелище, пленявшее живописной прихотливостью, отсутствие которой не возместится никакими красотами нашей новейшей архитектуры. Как непохожа была улица тех времен, окутанная мглою, сквозь которую лишь кое-где пробивался слабый свет сальной свечи, мерцавшей за частым оконным переплетом, на нынешнюю Вашингтон-стрит, где было светло как днем, — столько газовых фонарей горело на перекрестках, столько огней сверкало за огромными стеклами витрин.

Но, подняв глаза, я решил, что черное, низко нависшее небо, должно быть, так же хмуро глядело на обитателей Новой Англии колониальной поры и точно так же свистел у них в ушах пронизывающий зимний ветер. Древняя колокольня Старой Южной церкви, как и прежде, уходила в темноту, теряясь между небом и землей, и, приблизившись, я услышал бой церковных часов, которые многим поколениям до меня твердили

о бренности земного существования, а теперь веско и медленно повторили и мне свою извечную, столь часто оставляемую без внимания проповедь. «Еще только семь часов, — подумал я. — Хорошо, если бы рассказы моего приятеля помогли мне скоротать время до сна».

Я прошел под узкой аркой и пересек закрытый двор при свете фонаря, подвешенного над парадным крыльцом губернаторского дома. Как и ожидал, первый, кого я увидел, переступив порог общего зала, был мой старый знакомец. Хранитель преданий сидел перед камином, в котором ярко пылал антрацит, и курил внушительных размеров сигару, пуская клубы дыма. Он приветствовал меня с нескрываемым удовольствием: благодаря редкостному дару терпеливого слушателя я неизменно пользуюсь расположением пожилых джентльменов и словоохотливых дам. Придвинув кресло поближе к огню, я попросил хозяина приготовить нам два стакана крепкого пунша, каковой напиток и был незамедлительно подан — почти кипящий, с ломтиком лимона на дне, с тонким слоем темно-красного портвейна сверху, щедро сдобренный тертым мускатным орехом. Мы чокнулись, и мой рассказчик наконец отрекомендовался мне как мистер Бела

Тиффани; странное звучание этого имени пришлось мне по душе — в моем представлении оно сообщало облику и характеру особы, носившей его, нечто весьма своеобразное. Горячий пунш, казалось, растопил его воспоминания — и полились повести, легенды и истории, связанные с именами знаменитых людей, давно покойных; одни из этих рассказов были по-детски наивны, как колыбельная песенка, иные же могли бы оказаться достойными внимания ученого историка. Сильнее прочих впечатлила меня история таинственного черного портрета, когда-то висевшего в губернаторском доме, как раз над той комнатой, где сидели теперь мы оба. Читатель едва ли отыщет в других источниках более достоверную версию этой истории, чем та, которую я решаюсь предложить его благосклонному вниманию, — хотя, без сомнения, кое-кому моя повесть может показаться чересчур романтической и даже похожей на сказку.

В одном из покоев губернаторского дома на протяжении многих лет находилась старинная картина: рамы ее казались вырезанными из черного дерева, а самое полотно так потемнело от времени, дыма и сырости, что на нем нельзя было различить даже самого слабого следа кисти

художника. Годы задернули картину непроницаемой завесой; что же касается предмета изображения, то на сей счет существовали самые смутные толки, предания и домыслы. Губернаторы сменяли друг друга, а картина, словно в силу какой-то неоспоримой привилегии, висела все там же, над камином; продолжала она оставаться на прежнем месте и при губернаторе Хатчинсоне, который принял управление провинцией после отъезда сэра Фрэнсиса Бернарда, переведенного в Виргинию.

Однажды на исходе дня Хатчинсон сидел в своем парадном кресле, прислонившись головой к его резной спинке и вперив задумчивый взор в черную пустоту картины. Между тем время для подобных праздных мечтаний было вовсе не подходящее: события величайшей важности требовали от губернатора безотлагательных действий, ибо не далее как час назад он получил известие о том, что в Бостон прибыла флотилия британских кораблей, доставивших из Галифакса три полка солдат для подавления беспорядков среди жителей. Войска ожидали разрешения губернатора, чтобы занять Форт-Уильям, а затем и самый город. Однако же вместо того чтобы скрепить своей подписью официальный приказ,

губернатор продолжал сидеть в кресле и так старательно изучал пустую черноту висевшей перед ним картины, что его поведение привлекло внимание двух людей, находившихся в той же комнате. Один из них, молодой человек в желтом военном мундире, был дальний родственник губернатора, капитан Фрэнсис Линколн, комендант Форт-Уильяма; другая, юная девушка, сидевшая на низкой скамеечке рядом с креслом Хатчинсона, была его любимая племянница, Элис Вейн.

В облике этой хрупкой бледной девушки, одетой во все белое, сквозило что-то неземное: уроженка Новой Англии, она получила образование в Европе, и теперь казалась не просто гостьей из чужой страны, но почти существом из иного мира. Много лет, до кончины ее отца, она прожила вместе с ним в солнечной Италии и там приобрела вкус и склонность к ваянию и живописи — склонность, которую редко можно было удовлетворить в холодной и аскетической обстановке жилищ провинциальной знати. Говорили, что ее собственные первые опыты показывали недюжинное дарование, однако суровая атмосфера Новой Англии неизбежно сковывала ей руку и лишала блеска многоцветную палитру ее воображения. Но сейчас упорный взгляд губер-

натора, который, казалось, стремился пробиться сквозь туман долгих лет, окутывавший картину, и обнаружить предмет, на ней изображенный, пробудил любопытство молодой девушки.

— Известно ли кому-нибудь, милый дядюшка, — спросила она, — что это за картина? Быть может, предстань она перед нашим взором в своем первозданном виде, мы признали бы в ней шедевр великого художника — иначе отчего она так много лет занимает столь почетное место?

Видя, что губернатор, против обыкновения, медлит с ответом (он всегда бывал так внимателен к малейшим капризам и прихотям Элис, как если бы она приходилась ему родной дочерью), молодой комендант Форт-Уильяма решился прийти ему на помощь.

— Этот старинный холст, любезная кузина, — сказал он, — перешел в губернаторский дом по наследству и хранится здесь с незапамятных времен. Имя художника мне неизвестно, но если верить хотя бы половине слухов, что ходят об этой картине, даже величайшим итальянским живописцам не удавалось создать произведение столь прекрасное.

И капитан Линколн тут же рассказал несколько связанных с этой старинной картиной легенд,

которые хранились и передавались из уст в уста подобно народным поверьям, поскольку опровергнуть их с помощью зримых доказательств не было никакой возможности. Одна из самых фантастических и в то же время самых распространенных версий утверждала, что это подлинный и достоверный портрет самого дьявола, каковой позировал художнику во время шабаша ведьм близ Сейлема, и что поразительное и страшное сходство портрета с оригиналом было впоследствии публично засвидетельствовано многими ведьмами и чародеями, судимыми по обвинению в колдовстве. Другая версия гласила, что за черной поверхностью картины обитает некий дух, нечто вроде фамильного демона губернаторского дома, который уже не раз являлся королевским губернаторам в годину каких-либо грозных бедствий. Например, губернатору Шерли зловещий призрак показался накануне постыдного и кровопролитного поражения армии генерала Эберкромби у стен Тикондероги. Многим слугам губернаторского дома, когда они ворошили тлеющие в камине уголья, нередко чудилось, будто чье-то мрачное лицо выглядывает из черных рам — бывало это обычно на рассвете, в сумерках или же глубокой ночью, — однако, ес-

ли который-нибудь из них отваживался поднести к портрету свечу, полотно представлялось таким же непроницаемо-черным, как раньше. Старейший житель Бостона вспоминал, что его отец, при жизни которого на полотне сохранялись еще слабые следы изображения, взглянул как-то раз на таинственный портрет, но ни единой душе не решился поведать, чье лицо там увидел. В довершение загадочности в верхней части рам сохранились каким-то чудом обрывки черного шелка, указывавшие, что портрет был некогда завешен вуалью, на смену которой явилась затем более надежная завеса времени. Но удивительнее всего было, разумеется, то, что важные губернаторы Массачусетса, словно по уговору, сохраняли за этой изгладившейся картиной ее законное место в парадном зале губернаторского дома.

— Многие из ваших историй, право же, наводят ужас, — заметила Элис Вейн, у которой рассказ ее кузена не единожды вызывал то улыбку, то невольное содрогание. — Было бы любопытно удалить с этого полотна верхний, почерневший слой краски — ведь подлинная картина наверняка окажется менее устрашающей, чем та, которую нарисовало людское воображение.

— Но возможно ли, — осведомился ее кузен, —

возвратить этому старинному портрету его изначальные цвета?

— Таким искусством владеют в Италии, — отвечала Элис.

Губернатор меж тем очнулся от задумчивости и с улыбкой прислушивался к беседе своих юных родственников, но когда предложил им свое объяснение загадки, в голосе его послышались странные ноты.

— Мне жаль подвергать сомнению правдоподобие легенд, которые ты так любишь, Элис, — начал он, — но мои собственные изыскания в архивах Новой Англии давно помогли мне разгадать тайну этой картины — если только можно назвать ее картиной, ибо образ, запечатленный на ней, никогда более не предстанет перед нашим взором, точно так же как сам давно умерший человек, с которого она была писана. Это был портрет Эдуарда Рэндолфа, основателя этого дома, лица знаменитого в истории Новой Англии.

— Портрет Эдуарда Рэндолфа? — вскричал капитан Линколн. — Того самого, который добился отмены первой хартии Массачусетса, дававшей нашим прадедам почти демократические права? Того самого, который заслужил прозвище злейшего врага Новой Англии и чье имя до сего

дня вызывает негодование как имя человека, лишившего нас наших законных свобод?

— Да, того самого Рэндолфа, — ответил Хатчинсон, беспокойно повернувшись в кресле. — Ему на долю выпало отведать горечь народного презрения.

— В наших хрониках записано, — продолжил комендант Форт-Уильяма, — что всенародное проклятие тяготело над Рэндолфом до конца его жизни, что оно навлекало на него одну беду за другой и наложило печать даже на его последние мгновения. Говорят также, будто невыносимые душевные муки, причиняемые этим проклятием, пробились наружу и начертались на самом лице несчастного, вид которого был настолько ужасен, что на него нельзя было глядеть без содрогания. Если в действительности все было так и если висящий здесь портрет верно передавал облик Рэндолфа, мы можем лишь возблагодарить Небо за то, что теперь его скрывает темнота.

— Все это глупые россказни, — возразил губернатор. — Мне ли не знать, как мало общего они имеют с исторической правдой! Что же касается личности и жизненной стези Эдуарда Рэндолфа, то тут мы чересчур доверились доктору Коттону Мазеру, который, как ни прискорбно говорить об

этом (ведь в моих жилах есть капля его крови), заполнил наши первые хроники бабьими сказками и сплетнями, столь же неправдоподобными и противоречивыми, как предания Греции и Рима.

— Но разве не правда, — шепнула Элис Вейн, — что в каждой сказке есть нравоучение? И если лицо на этом портрете и впрямь так ужасно, мне думается, не зря он столько лет провисел в губернаторском доме. Правители могут забыть о своей ответственности перед согражданами, и тогда не мешает напомнить им, как тяжко бремя всенародного проклятия.

Губернатор вздрогнул и кинул тревожный взгляд на племянницу: казалось, что ее ребяческие фантазии задели в его груди какую-то чувствительную струну, оказавшуюся сильнее всех его твердых и разумных принципов. Он превосходно понимал, что кроется за этими словами Элис, которая, невзирая на европейское воспитание, сохранила исконные симпатии уроженки Новой Англии.

— Умолкни, безрассудное дитя! — произнес он наконец небывало резким тоном, поразившим его кроткую племянницу. — Недовольство короля должно быть для нас страшнее, чем злобный рев сбитой с толку черни. Капитан Линколн, я

принял решение. Один полк королевских солдат займет Форт-Уильям, двум другим я прикажу расположиться в городе или стать лагерем за городской чертой. Давно пора, чтобы наместники его величества после стольких лет смут и чуть ли не мятежей получили надежную защиту.

— Повремените, сэр, не отвергайте с такой поспешностью веры в преданность народа, — возразил капитан Линколн, — не отнимайте у людей надежды на то, что британские солдаты навсегда останутся им братьями, что сражаться они будут лишь плечом к плечу, как сражались на полях Французской войны. Не превращайте улицы своего родного города в военный лагерь. Взвесьте все еще раз, прежде чем отнять Форт-Уильям, ключ ко всей провинции, у его законных владельцев — жителей Новой Англии — и отдать его в чужие руки.

— Молодой человек, это дело решенное, — повторил Хатчинсон, вставая с кресла. — Нынче же вечером сюда прибудет британский офицер за инструкциями касательно размещения войск. Для этого потребуется и ваше присутствие. Итак, до вечера.

С этими словами губернатор поспешно покинул зал; молодые люди, переговариваясь вполголоса,

в нерешительности последовали за ним и с порога еще раз оглянулись на таинственный портрет. При этом капитану Линколну почудилось, что в глазах Элис промелькнуло затаенное лукавство, сообщившее ей на мгновение сходство с теми сказочными духами — феями или персонажами еще более древней мифологии, — которые вмешивались порой в дела своих смертных соседей, отчасти из озорства, отчасти из сострадания людским напастям. Пока молодой человек придерживал дверь, чтобы пропустить вперед свою кузину, Элис помахала портрету рукой и с улыбкой воскликнула:

— Явись нам, дьявольская тень! Твой час настал!

Вечером того же дня генерал Хатчинсон снова восседал в зале, где произошла описанная выше сцена, на сей раз в окружении людей, которых свели вместе самые различные интересы. Сюда прибыли члены Бостонской городской управы — простые, непритязательные представители патриархальной власти, достойные наследники первых эмигрантов-пуритан, чья угрюмая сила наложила столь глубокий отпечаток на душевный склад жителей Новой Англии. Как непохожи были на этих людей члены колониального совета

провинции, державшиеся с церемонной манерностью придворных и щеголявшие, согласно пышной моде того времени, в напудренных париках и расшитых камзолах! Среди собравшихся был и майор британской армии: ждал распоряжения губернатора относительно высадки войск, которые до сих пор не сошли с кораблей. Капитан Линколн стоял рядом с губернаторским креслом, скрестив руки на груди и несколько высокомерно взирая на британского офицера, своего будущего преемника на посту коменданта Форт-Уильяма. На столе посредине комнаты стоял серебряный шандал, и пламя полудюжины свечей бросало яркий отблеск на документ, по всей видимости ожидавший губернаторской подписи.

У одного из высоких окон, наполовину скрытая обширными складками занавесей, ниспадавшими до самого пола, виднелась женская фигура в воздушном белом платье. Пребывание Элис Вейн в этом зале в такой час могло бы показаться неуместным, но что-то в ее по-детски своевольной натуре, не стеснявшейся никакими правилами, заставляло снисходительно относиться к ее причудам, и потому присутствие девушки не удивило тех немногих, кто заметил ее. Между тем председатель городской управы продолжал

свою пространную речь, заявляя губернатору торжественный протест против введения в город британских войск.

— И если ваша милость, — заключил этот достойный во всех отношениях, но слегка прозаически настроенный джентльмен, — не придумает ничего лучшего, как отдать наши мирные улицы во власть наемным стрелкам и рубакам, мы снимаем с себя ответственность. Подумайте, сэр, пока еще не поздно: ведь пролейся в городе хоть единая капля крови, она навеки запятнает честное имя вашей милости. Вы сами, сэр, своим искусным пером увековечили в назидание потомкам подвиги наших прадедов; тем паче надлежит позаботиться о том, чтобы собственные ваши деяния, деяния истинного патриота и справедливого правителя, нашли заслуженное упоминание в истории.

— Мой добрый сэр, — отвечал Хатчинсон, с трудом скрывая свою досаду под маской любезности, — я отнюдь не чужд естественного желания оставить по себе достойную память в анналах истории, но именно потому я не нахожу лучшего выхода, нежели противодействие временной вспышке бунтарского духа, который, не во гнев вам будь сказано, обуял даже людей преклонного

возраста. Не хотите ли вы, чтобы я сидел сложа руки и дожидался, пока разбушевавшаяся толпа разграбит резиденцию королевских губернаторов так же, как разграбили мой собственный дом? Поверьте мне, сэр, — придет час, когда вы рады будете найти защиту под знаменем короля, под тем самым знаменем, вид которого сейчас внушает вам такое отвращение.

— Совершенно справедливо, — сказал британский майор, с нетерпением ожидавший приказа губернатора. — Здешние политики-горлодеры заварили тут дьявольскую кашу, а теперь и сами не рады. Но мы изгоним отсюда дух дьявола во имя Бога и короля!

— Поведешься с дьяволом — берегись его когтей! — возразил комендант Форт-Уильяма, задетый за живое оскорбительными словами англичанина.

— С вашего милостивого позволения, сэр, — произнес почтенный председатель управы, — не поминайте дьявола всуе. Мы станем бороться с угнетателем постом и молитвой, как боролись бы наши отцы и деды, и, как они, покоримся любому жребию, который ниспошлет нам всеблагое Провидение, — но, конечно, прежде постараемся изменить этот жребий в свою пользу.

— Вот тут-то дьявол и покажет свои когти! — пробормотал Хатчинсон, отлично знавший, что такое пуританская покорность. — Медлить больше нельзя. Когда на каждом перекрестке выставят часового, а перед ратушей построят караул гвардейцев, только тогда человек, верный своему королю, сможет решиться выйти из дому. Что мне вой мятежной толпы здесь, на далекой окраине империи! Я знаю одно: мой господин — король, мое отечество — Британия! За мною сила королевского оружия — я наступлю ногой на этот жалкий сброд и не убоюсь его!

Он схватил перо и уже собирался было скрепить своею подписью лежавший на столе документ, как вдруг комендант Форт-Уильяма опустил руку ему на плечо. Этот вольный жест, столь не вязавшийся с церемонным почтением, которое в те времена принято было оказывать высокопоставленным особам, поверг в изумление присутствующих, и более всех самого губернатора. Гневно вскинув голову, он увидел, что его юный родственник указывает рукой на противоположную стену. Хатчинсон перевел туда взгляд и увидел то, чего никто до сих пор не заметил: загадочный портрет был закутан черным шелковым покрывалом. Ему тотчас припомнились

недавние разговоры о картине; он почувствовал, что ко всему этому каким-то образом причастна его племянница, и, охваченный странным смятением, громко позвал:

— Элис! Поди сюда, Элис!

Едва эти слова успели слететь с его губ, как Элис Вейн бесшумно скользнула прочь от окна и, заслонив глаза рукой, другой отдернула черную занавеску, скрывавшую портрет. Раздался общий возглас изумления, но в голосе губернатора послышался смертельный ужас.

— Клянусь Небом, — прошептал он, обращаясь скорее к самому себе, чем к окружающим, — если бы призрак Эдуарда Рэндолфа явился к нам прямо оттуда, где его душа расплачивается за земные прегрешения, и тогда все ужасы ада не смогли бы явственнее отразиться на его лице!

— Провидение, — торжественно произнес старый председатель управы, — с благою целью рассеяло туман времени, который столько лет окутывал этот чудовищный лик. Ни единой живой душе не дано было узреть того, что ныне видим мы!

В старинных рамах, еще недавно заключавших только черную пустоту, теперь возникло изображение, весьма рельефное, несмотря на темный

колорит. Это был поясной портрет бородатого мужчины, одетого в бархатный, расшитый по старинной моде кафтан с широкими брыжами, в широкополой шляпе, затенявшей лоб. Глаза из-под полей шляпы сверкали необычайным блеском и создавали впечатление живого человеческого взгляда. Вся его фигура резко контрастировала с фоном картины: словно вырывалась из рамы, и похоже было, что кто-то глядит со стены на собравшихся в зале людей, скованных ужасом. Лицо на портрете, если только можно передать словами его выражение, словно принадлежало человеку, уличенному в каком-то злодействе и переданному на поругание безжалостной толпе, глумящейся над ним и изливающей на него свою ненависть и презрение. Дерзкий вызов словно боролся в нем с тягостным сознанием собственной низости — и последнее возобладало. Душевные муки отразились на его лице как в зеркале. Казалось, будто за те несчетные годы, пока картина была скрыта от людского взора, краски ее продолжали сгущаться, изображение становилось все более мрачным — и наконец теперь вспыхнуло новым, зловещим огнем. Таков был портрет Эдуарда Рэндолфа, на котором, если верить преданию, запечатлелся тот миг, когда несчастный

познал всю тяжесть народного проклятия.

— О, какое ужасное лицо — оно сведет меня с ума! — пробормотал Хатчинсон, словно завороженный этим зрелищем.

— Остерегитесь! — шепнула Элис. — Он захотел посягнуть на права народа. Пусть постигшая его кара послужит вам предупреждением — и да охранит вас Небо от этого шага!

Дрожь охватила губернатора, но, призвав на помощь всю силу воли, ему не слишком свойственную, он стряхнул с себя оцепенение, в которое его поверг вид Эдуарда Рэндолфа.

— Дерзкая девчонка! — вскричал он с горьким смехом, повернувшись к Элис. — Ты пустила в ход свое искусство с беззастенчивостью, достойной твоих учителей-итальянцев: решилась прибегнуть к интригам и театральным трюкам. Уж не думаешь ли, что с помощью столь жалких ухищрений можно воздействовать на волю правителей и вмешиваться в судьбы народов? Смотри же!

— Одумайтесь, ваша милость, — вмешался председатель управы, увидев, что Хатчинсон опять схватился за перо, — ведь если хоть одному смертному довелось получить предостережение от души, страждущей на том свете, то этот смерт-

ный — вы!

— Ни слова! — гневно перебил его Хатчинсон. — Даже если бы этот безжизненный кусок холста возопил: «Остановись!» — я не переменил бы своего решения!

И, метнув презрительный взгляд в сторону Эдуарда Рэндолфа, в жестоких и страдальческих чертах которого, как почудилось всем в этот момент, изобразилась крайняя степень ужаса, он нацарапал на листе нетвердым почерком, выдававшим его смятение, два слова: «Томас Хатчинсон». После этого, как рассказывают, он содрогнулся, будто предчувствуя, что этой подписью обрекает себя на погибель.

— Кончено, — проговорил он и обхватил голову руками.

— Да будет небо милосердно к вам, — тихо отозвалась Элис Вейн, и ее грустный голос прозвучал как прощальный привет доброго духа, покидающего дом.

Когда наступило утро, по дому поползли слухи, распространившиеся затем по всему городу, будто темный таинственный человек на портрете ночью сходил со стены и с глазу на глаз беседовал с самим губернатором. Если это чудо и имело место в действительности, от него не осталось

никаких видимых следов, потому что в старинных рамах снова ничего нельзя было различить, кроме непроницаемого облака, которое издавна окутывало портрет. Если Эдуард Рэндолф и отлучался из рамы, то с первым лучом солнца, как и полагается привидениям, воротился на свое место и укрылся за вековой завесой тьмы. Скорее всего, разгадка заключалась в том, что средство обновления красок, которое употребила Элис Вейн, действовало лишь короткое время. Но и этого оказалось довольно: те, кому суждено было увидеть на мгновение ужасный образ Эдуарда Рэндолфа, ни за что на свете не согласились бы повторить опыт и до конца дней своих с дрожью вспоминали об этой сцене, словно повстречались с самим дьяволом. Что же сталось с Хатчинсоном? Когда далеко за океаном он почувствовал приближение своего смертного часа, то, задыхаясь, прохрипел, что в горле у него клокочет кровь невинных жертв Бостонской бойни, и Фрэнсис Линколн, бывший комендант Уильямского форта, стоя у изголовья умирающего, был потрясен сходством его безумного взгляда со взглядом Эдуарда Рэндолфа. Кто знает — может быть, его сломленный дух почувствовал наконец в этот страшный час, как невыносимо бремя народного

проклятия?

Когда эта удивительная история подошла к концу, я осведомился у моего рассказчика, по-прежнему ли висит на том же месте картина, о которой шла речь. На это мистер Тиффани сообщил мне, что ее давно увезли и, как он слышал, запрятали в дальний закоулок в каком-то музее Новой Англии. Вполне возможно, что какой-нибудь любитель древностей еще доберется до нее и с помощью мистера Хоуворта, тамошнего реставратора картин, представит миру отнюдь не лишнее доказательство правдивости изложенных здесь фактов.

Пока я слушал эту легенду, на дворе разбушевалась метель, и у нас над головой поднялся такой треск и грохот, что казалось, будто наверху сошлись и бесчинствуют все прежние обитатели губернаторского дома — губернаторы и прочие знаменитости, о которых как раз в это время вел рассказ мистер Тиффани. Если в старинном доме прожили свою жизнь многие поколения людей, то с течением лет свист ветра в щелях, скрип балок и стропил делаются до странности похожими на звуки человеческого голоса, на раскаты громогласного хохота, на тяжелые шаги, гулко отдающиеся в опустевших покоях. В доме словно

пробуждается эхо столетней давности. Именно такой фантастический хохот и невнятное бормотание доносились до нас, когда я прощался с моими собеседниками у камелька губернаторского дома, и этот шум все еще звучал у меня в ушах, пока спускался с крыльца в темноту и шел домой навстречу хлеставшей мне в лицо метели.

Мантилья леди Элинор

Несколько дней назад мой досточтимый друг, содержатель гостиницы в губернаторском доме, любезно пригласил нас с мистером Тиффани отведать устриц за его столом. При этом он великодушно объявил, что такой незначительный знак внимания — ничто в сравнении с наградой, которую по справедливости заслужили мы оба: мистер Тиффани — своими непревзойденными рассказами, а я — скромной попыткой записать их. Так или иначе, но последствия нашей первой счастливой встречи принесли заведению мистера Томаса Уэйта небывалую дотоле популярность. Не одна сигара была там выкурена; не один стакан вина, а то и более крепкой aqua vitae [3]осушен до дна; не один обед поглощен был любопытными гостями, которым никогда не вздумалось бы пуститься поздно вечером по глухим улицам к историческому зданию губернаторского дома, не вступи мы с мистером Тиффани в столь плодотворное сотрудничество. Короче говоря, если полагаться на восторженные уверения мистера

---

[3] Примечания: 3
Водки (*лат.*).

Уэйта, мы напомнили публике о существовании губернаторского дома так же убедительно, как если бы снесли все сапожные и мясные лавки, загораживающие от мира его аристократический фасад. Впрочем, блюдя интересы мистера Уэйта, не станем чересчур распространяться о его расширившейся клиентуре: чего доброго ему не удастся возобновить аренду губернаторского дома на прежних выгодных условиях.

Хозяин радушно приветствовал нас как своих благодетелей, и мы с мистером Тиффани без дальнейших церемоний воздали должное превосходному ужину. Быть может, трапеза выглядела менее великолепно, чем те пиры, безмолвными свидетелями которых бывали в минувшие времена обшитые панелями стены губернаторского дома; быть может, и хозяин наш исполнял обязанности председателя с меньшей торжественностью, чем подобало бы человеку, сменившему на этом почетном месте королевских губернаторов; быть может, и гости являли собою менее внушительное зрелище, чем высокопоставленные особы в пудреных париках и расшитых камзолах, пировавшие во время оно за губернаторским столом, а ныне мирно спящие в своих украшенных гербами склепах на

кладбище Коппс-хилл или вокруг Королевской часовни, — и все же я осмелюсь утверждать, что никогда со времен королевы Анны до самой Войны за независимость в этом доме не собиралось столь приятное общество. Особый интерес сообщило нашей дружеской вечеринке присутствие одного почтенного джентльмена, живо помнившего далекие события, связанные с именами Гейджа и Хоу, и даже знавшего две-три не слишком достоверные истории из жизни Хатчинсона. Он принадлежал к той небольшой, в наши дни почти исчезнувшей группе людей, чья приверженность монархии и колониальной системе управления со всеми ее атрибутами выдержала испытание временем и устояла против всех демократических ересей. Юная королева Британии имеет в лице этого достойного старца самого верного своего подданного; нет на земле человека, который склонился бы перед ее троном с таким благоговением, как он, и хотя голова его поседела уже при республике, он до сих пор, особенно под хмельком, именует эту гуманную форму правления узурпацией. Сказать по правде, старый монархист немало повидал на своем веку; жизнь его не баловала — зачастую он оставался совсем без друзей, а если такие и находились,

то в выборе их нельзя было проявлять особой щепетильности, — и потому он вряд ли отказался бы от стакана вина в доброй компании, будь его собутыльником сам Оливер Кромвель или даже Джон Хэнкок — я уж не говорю о ныне здравствующих демократических деятелях. Может статься, я еще вернусь к этому господину и более подробно познакомлю с ним читателя в одном из следующих рассказов о губернаторском доме.

В положенный час хозяин наш откупорил бутылку мадеры такого отличного букета и изысканного вкуса, что происхождение ее не оставляло никаких сомнений: перед тем как попасть к нам на стол, бутылка, надо полагать, пролежала долгие годы в сокровеннейшем тайнике губернаторского погреба, куда предусмотрительно прятал лучшие вина какой-нибудь неунывающий старый дворецкий, не успевший на смертном одре передать свою тайну потомству. Совершим же возлияние в память его, и да почиет в мире красноносая тень нашего безвестного благодетеля! Мистер Тиффани проявил незаурядное рвение, поглощая драгоценный напиток, и после третьего стакана поведал нам одну из самых странных историй, хранившихся на чердаке его памяти среди других сокровищ

старины. Я осмелился лишь слегка подцветить эту повесть, которая была примерно такова.

Вскоре после того как полковник Шют взял в свои руки бразды правления Массачусетсом, то есть лет сто двадцать назад, в Бостон приехала из Англии богатая и знатная молодая дама, опекуном которой он был. Полковник состоял с нею в весьма отдаленном родстве, но поскольку она лишилась всех своих родных одного за другим, оказался единственным близким ей человеком, и леди Элинор Рочклиф, принадлежавшая к самым именитым и состоятельным кругам, решилась пересечь океан, чтобы найти приют в губернаторском доме. Добавим к этому, что супруга губернатора, когда леди Элинор еще в младенчестве осиротела, долгое время заменяла ей мать и теперь жаждала предоставить кров своей воспитаннице, полагая, что в непритязательном обществе Новой Англии красивая молодая женщина будет в несравненно большей безопасности, чем у себя на родине, где она каждодневно подвергалась бы пагубному влиянию придворной суеты. Правда, если бы губернатор и его супруга соображались с собственными выгодами, то поспешили бы переложить на других заботу о леди Элинор, ибо в характере последней черты благородные и

привлекательные соединялись с неслыханным высокомерием и надменным сознанием своих наследственных и личных преимуществ, и ничто не могло обуздать ее гордость и своеволие. Судя по многочисленным дошедшим до нас толкам, поведение леди Элинор граничило чуть ли не с мономанией; если же исходить из того, что все ее действия совершались в здравом уме, оставалось только ждать, что Провидение — рано или поздно — жестоко покарает столь непомерную гордыню. Оттенок чудесного, привносимый почти во все полузабытые легенды, еще более способствовал впечатлению, которое произвела в тот вечер удивительная история леди Элинор Рочклиф.

Корабль, на котором прибыла леди Элинор, бросил якорь в Ньюпорте, откуда она проследовала в Бостон в губернаторской карете, под охраной небольшой свиты из шести всадников. На пути через Корнхилл тяжелый громыхающий экипаж, запряженный четверкой вороных, привлекал всеобщее внимание; неменьшее любопытство возбуждали кавалеры на своих гарцующих скакунах: их шпаги свешивались до самого стремени, а за поясами торчали пистолеты в кобуре. Сквозь широкие окна кареты прохожие могли различить силуэт леди Элинор, у которой царственная

величавость осанки удивительным образом сочеталась с нежной прелестью совсем еще юной девушки. Среди провинциальных дам носился странный слух, будто приезжая красавица обязана своим неотразимым очарованием некой мантилье, вышитой искуснейшей рукодельницей Лондона и таившей в себе магические силы. Однако в день приезда леди Элинор не стала прибегать к чародейству наряда — на ней была бархатная амазонка, которая на любой другой фигуре показалась бы грубой и неизящной.

Кучер натянул вожжи, и карета, а за ней и вся кавалькада, остановилась перед кованой узорчатой оградой, отделявшей губернаторский дом от остальной части улицы. Случилось так, что именно в этот момент колокол Старой Южной церкви ударил к похоронной службе, и таким образом вместо радостного звона, которым обычно знаменовалось прибытие именитого гостя, леди Элинор встретил погребальный гул, словно возвещавший о том, что вместе с ней на землю Новой Англии пришла беда.

— Какая неучтивость! — воскликнул капитан Лэнгфорд, английский офицер, доставивший незадолго перед тем депешу губернатору. — Следовало бы повременить с похоронами и не

омрачать приезд леди Элинор столь неподходящим приветствием.

— С вашего позволения, сэр, — возразил доктор Кларк, местный врач и ярый приверженец народной партии, — что бы там ни говорили церемониймейстеры, мертвого нищего положено пропускать вперед — живая королева может и подождать. Смерть дарует неоспоримые привилегии.

Такими замечаниями обменялись эти два джентльмена, ожидая возможности пройти через толпу, сгрудившуюся по обе стороны ворот губернаторского дома, так что свободным оставался лишь узкий коридор от кареты до парадного входа. Чернокожий лакей в ливрее соскочил с запяток и распахнул дверцу как раз в тот момент, когда губернатор Шют, спустившись с крыльца своей резиденции, приготовился было подать руку леди Элинор, чтобы помочь ей выйти из кареты. Но эта торжественная сцена была вдруг прервана самым неожиданным образом. Молодой человек с бледным лицом и разметавшимися черными волосами внезапно отделился от толпы и распростерся на земле подле кареты, безмолвно предлагая леди Элинор воспользоваться им как подножкой. Какое-то мгновение она колебалась,

но нерешительность ее, казалось, была вызвана скорее сомнением в том, достоин ли молодой человек прикосновения ее ноги, нежели замешательством при виде столь непомерных почестей, воздаваемых ей, простой смертной.

— Встаньте, сэр! — сурово приказал губернатор, занося над наглецом свою трость. — Что за безумная выходка!

— О нет, ваша светлость! — возразила леди Элинор тоном, в котором насмешка преобладала над жалостью. — Не трогайте его! Коль скоро люди мечтают лишь о том, чтобы их попирали ногами, было бы жестоко отказывать им в милости, такой ничтожной и такой заслуженной!

Сказав это, она легко, как солнечный луч прикасается к облачку, ступила на свою живую подножку и протянула руку губернатору. На какой-то миг она задержалась в этой позе: и трудно было бы найти более выразительное воплощение аристократической гордости, подавляющей душевные порывы и попирающей святые узы братства между людьми. Однако же зрители были так ослеплены красотой леди Элинор, что гордость ее показалась им непременной принадлежностью создания столь прекрасного, и из толпы вырвался единодушный возглас восторга.

— Кто этот дерзкий юнец? — спросил капитан Лэнгфорд, по-прежнему стоявший рядом с доктором Кларком. — Если он в своем уме, его наглость заслуживает палок; если же это помешанный, следует упрятать его за решетку и оградить леди Элинор на будущее от подобных выходок.

— Этого юношу зовут Джервис Хелуайз, — ответил доктор. — Он не может похвалиться ни богатством, ни знатностью — словом, ничем, кроме ума и души, которыми наделила его природа. Одно время он служил секретарем при нашем колониальном посреднике в Лондоне и там имел несчастье повстречать леди Элинор Рочклиф. Он влюбился в эту жестокосердую красавицу и совершенно потерял голову.

— Надобно было с самого начала не иметь головы на плечах, чтобы позволить себе питать хоть малейшую надежду, — заметил английский офицер.

— Может статься, и так, — произнес доктор, нахмурившись. — Но скажу вам по чести — я усомнюсь в справедливости небесного судьи, если этой женщине, так горделиво вступающей теперь в губернаторский дом, не придется когда-нибудь познать самое жестокое унижение. Сейчас она тщится показать, что выше человеческих чувств:

отвергая то, что создает общность между людьми, идет наперекор велениям природы. Увидим, не предъявит ли со временем природа своих законных прав на нее и не уравняет ли ее с низшими из низших!

— Никогда! — в негодовании вскричал капитан Лэнгфорд. — Этого не будет ни при жизни ее, ни после того, как она обретет покой на кладбище своих предков!

Немного дней спустя губернатор давал бал в честь леди Элинор Рочклиф. Самым именитым особам в колонии были составлены письменные приглашения, и нарочные губернатора поскакали во все концы, чтобы вручить адресатам пакеты, запечатанные сургучом на манер официальных депеш. Приглашенные не замедлили явиться, и губернаторский дом гостеприимно распахнул свои двери богатству, знатности и красоте, которые в тот вечер были представлены так обильно, что едва ли стенам старинного здания доводилось когда-либо видеть столь многочисленное и притом столь избранное общество. Без боязни удариться в дифирамбы это собрание можно было бы назвать блистательным, потому что дамы, по тогдашней моде, блистали в великолепных шелках и атласах, раскинутых

на широких фижмах, а кавалеры сверкали золотым шитьем, щедро украшавшим лиловый, алый или небесно-голубой бархат их кафтанов и камзолов. Последней статье наряда придавалась чрезвычайная важность: камзол облегал фигуру чуть ли не по колено и обычно бывал расшит таким множеством цветов и листьев, что на изготовление одного камзола уходил порою целый годовой доход его владельца. На наш нынешний вкус — вкус, знаменующий глубокую перемену во всем общественном устройстве, — любая из этих разряженных фигур показалась бы просто нелепой, но в тот вечер гости не без тщеславия ловили свое отражение в зеркалах, любуясь собственным блеском на фоне блестящей толпы. Как жаль, что ни в одном из зеркал не застыла навеки картина этого бала! Именно благодаря своей преходящести такое зрелище могло бы научить нас многому, что стоило бы знать и помнить.

И не досадно ли, что ни зеркало, ни кисть художника не донесли до нас хотя бы бледного подобия того, о чем уже упоминалось в нашей истории, — вышитой мантильи леди Элинор, наделенной, по слухам, волшебной властью и всякий раз придававшей ее владелице новое, невиданное очарование. Пусть виной этому мое

праздное воображение, но загадочная мантилья сумела внушить мне благоговейный страх — отчасти из-за чудодейственной силы, которую ей приписывали, отчасти же потому, что она вышивалась смертельно больной женщиной и в фантастически сплетающихся узорах угадывались лихорадочные видения, преследовавшие умирающую.

Как только закончился ритуал представления, леди Элинор удалилась от толпы и осталась в немногочисленном кругу избранных, которым она выказывала более благоволения, чем прочим. Сотни восковых свечей озаряли эту картину, выгодно подчеркивая ее живописность, но леди Элинор, казалось, не замечала ничего. Порой в ее взгляде мелькало скучающее и презрительное выражение, однако для ее собеседников оно затмевалось женственной прелестью и в ее глазах они не способны были прочесть порочность ее души. А прочесть там можно было не просто насмешливость аристократки, которую забавляет жалкое провинциальное подражание придворному балу, но то более глубокое презрение, что заставляет человека гнушаться общества себе подобных, не допуская даже мысли о том, чтобы можно было разделить их веселье. Не знаю, в

какой мере позднейшие рассказы о леди Элинор преобразились под влиянием ужасных событий, вскоре последовавших; так или иначе, тем, кто видел ее на балу, она запомнилась возбужденной и неестественной, хотя в тот вечер только и разговоров было что о ее несравненной красоте и о неописуемом очаровании, которое придавала ей пресловутая мантилья. Более того, от внимательных наблюдателей не ускользнуло, что лицо ее то вспыхивало жарким румянцем, то покрывалось бледностью, и оживленное выражение сменялось на нем подавленным; раз или два она даже не сумела скрыть внезапно охватившую ее слабость, и казалось, что она вот-вот лишится чувств. Однако всякий раз она, нервически вздрогнув, овладевала собою и тут же вставляла в разговор какое-нибудь живое и остроумное, но весьма колкое замечание. Манеры ее и поведение были настолько необъяснимыми, что должны были насторожить всякого мало-мальски разумного слушателя: в самом деле, при виде ее странного, блуждающего взгляда и непонятной улыбки трудно было не усомниться в том, отдает ли она себе отчет в своих словах и вообще в здравом ли она уме. Понемногу кружок гостей, центром которого была леди Элинор, начал редеть, и скоро

там осталось только четверо мужчин. Эти четверо были уже знакомый нам офицер, капитан Лэнгфорд; плантатор из Виргинии, прибывший в Массачусетс по каким-то политическим делам; молодой англиканский священник, внук британского графа; и, наконец, личный секретарь губернатора, чье подобострастие снискало ему некоторую благосклонность леди Элинор.

Время от времени в зале появлялись губернаторские слуги в богатых ливреях, разносившие на огромных подносах французские и испанские вина и легкие закуски. Леди Элинор, отказавшись даже от капли шампанского, опустилась в глубокое, обитое узорчатой тканью кресло с видом крайнего утомления, причиненного то ли царящей вокруг суетой, то ли тем, что все это зрелище ей смертельно наскучило. На мгновение она забылась и не слышала ни смеха, ни музыки, ни голосов, и в это время какой-то юноша приблизился к ней и преклонил перед ней колено. В руках он держал поднос, на котором стоял серебряный кубок чеканной работы, до краев наполненный вином, и он преподнес ей этот кубок с таким благоговением, словно перед ним была сама королева, или, вернее, с таким молитвенным трепетом, как если бы он был жрецом, творящим

жертвоприношение своему идолу. Почувствовав, что кто-то прикоснулся к ее одежде, леди Элинор вздрогнула, открыла глаза и увидела перед собой бледное, искаженное лицо и спутанные волосы Джервиса Хелуайза.

— Отчего вы докучаете мне своими преследованиями? — спросила она томно, но с меньшей холодностью, чем обыкновенно. — Говорят, я причинила вам зло.

— Пусть Небо судит об этом, — торжественно ответил Хелуайз. — Но во искупление этого зла, коль скоро уж оно свершилось, и во имя вашего земного и небесного благополучия умоляю вас вкусить хоть каплю этого вина и передать кубок по кругу. Пусть это станет символом того, что вы не отрекаетесь от своих смертных братьев и сестер, — ведь всякого, кто презрит себе подобных, ждет участь падших ангелов!

— Где этот безумец похитил священный сосуд? — воскликнул молодой пастор.

Внимание гостей немедленно обратилось на серебряный кубок: в нем тотчас признали сосуд для причастия, принадлежащий Старой Южной церкви, — и, разумеется, он был наполнен до краев не чем иным, как церковным вином!

— Уж не отравлено ли вино? — произнес впол-

голоса секретарь губернатора.

— Влейте его в глотку этому негодяю! — свирепо вскричал виргинец.

— Вышвырните его вон! — воскликнул капитан Лэнгфорд, грубо схватив за плечо Джервиса Хелуайза; от его резкого движения священный кубок опрокинулся, и вино забрызгало мантилью леди Элинор. — Глупец он, вор или безумец, невозможно долее оставлять его на свободе!

— Прошу вас, господа, будьте снисходительны к моему бедному поклоннику, — произнесла леди Элинор с едва заметной усталой улыбкой. — Можете удалить его отсюда, если вам непременно этого хочется; он не пробуждает в моем сердце никаких чувств, кроме одного только желания смеяться, — а ведь, по совести говоря, мне полагалось бы проливать слезы при виде зла, которое я причинила!

Но пока окружающие пытались увести несчастного юношу, он вырвался от них и бросился к леди Элинор с новой, не менее странной просьбой. С безумной страстностью он стал заклинать ее сбросить со своих плеч мантилью, в которую она после происшествия с вином закуталась еще плотнее, как бы желая совершенно спрятаться в ней.

— Сорвите ее, сорвите! — кричал Джервис Хелуайз, сжимая руки в исступленной мольбе. — Быть может, еще не поздно! Предайте проклятую ткань огню!

Но леди Элинор с презрительным смехом набросила вышитую мантилью на голову, отчего ее прекрасное лицо, наполовину скрытое пышными складками, показалось вдруг лицом какого-то таинственного и злокозненного существа.

— Прощайте, Джервис Хелуайз! — промолвила она. — Сохраните меня в памяти такой, как сейчас.

— Увы! — ответствовал он голосом уже не безумным, но полным скорби, как похоронный звон. — Нам суждено еще свидеться: бог весть какой вы явитесь мне тогда, — но в памяти моей останется не сегодняшний, а будущий ваш образ.

Он более не сопротивлялся соединенным усилиям гостей и слуг, которые чуть не волоком вытащили его из зала и вышвырнули за чугунные ворота губернаторского дома. Капитан Лэнгфорд, особенно усердствовавший в этом предприятии, собирался было вновь предстать перед его вдохновительницей, как вдруг его внимание привлек доктор Кларк, с которым капитан перемолвился несколькими словами в день приезда леди Эли-

нор Рочклиф. Стоя на противоположном конце зала, доктор не сводил с леди Элинор проницательного взгляда, и его многозначительная мина невольно навела капитана Лэнгфорда на мысль о том, что доктор открыл какую-то глубокую тайну.

— Кажется, даже вы, любезный доктор, не устояли против чар нашей королевы? — обратился к нему капитан, надеясь вызвать доктора на откровенность.

— Боже упаси! — отвечал доктор Кларк с невеселой улыбкой. — Молите Небо, чтобы оно уберегло и вас от такого безумия. Горе тому, кто будет ранен стрелами этой красавицы! Но я вижу губернатора — мне надобно сказать ему несколько слов наедине. Всего доброго!

И доктор Кларк, подойдя к губернатору, заговорил с ним так тихо, что даже стоящие поблизости не могли уловить смысл его речи, но, очевидно, сообщение было не слишком приятного свойства, потому что губернатор, до того добродушно улыбавшийся, вдруг переменился в лице. Вскоре гостям было объявлено, что непредвиденные обстоятельства вынуждают прежде времени закончить бал.

Праздник в губернаторском доме несколько

дней кряду давал пищу для разговоров в столице Массачусетса и мог бы еще долго оставаться в центре общего внимания, если бы событие всепоглощающей важности не вытеснило его совершенно из памяти бостонцев. Событием этим стала вспышка страшной болезни, которая в те годы, равно как в предшествующие и последующие времена, уносила сотни и тысячи жертв по обе стороны Атлантического океана. На этот раз эпидемия отличалась особенной беспощадностью: оставила свои следы, вернее неизгладимые рубцы (это будет наиболее подходящая метафора), в истории страны, совершенно расстроив весь уклад жизни. Поначалу болезнь, отклонившись от своего обычного течения, сосредоточилась в высших кругах общества, избрав первые жертвы среди гордых, богатых и знатных, без церемоний являясь в роскошные спальни и проскальзывая под шелковые одеяла сладко почивавших богачей. Многие именитые гости губернаторского дома, и между ними те, кого леди Элинор удостоила своим расположением, прежде других были поражены этим роковым бедствием. Не без горького злорадства было замечено, что четверо молодых людей, которые ни на шаг не отходили от леди Элинор в продолжение

всего вечера: виргинец, английский офицер, священник и секретарь губернатора, — первыми приняли на себя ужасный удар. Но болезнь распространялась все дальше и вскоре перестала быть прерогативой аристократии. Ее пылающее клеймо не было уже знаком отличия избранных подобно военному ордену или дворянскому титулу. Смерть прокладывала себе путь по узким кривым улочкам, стучалась в темные нищие лачуги и налагала свою костлявую руку на городских рабочих и ремесленников, и тогда богачи и бедняки волей-неволей почувствовали себя братьями. Она шествовала по городу, уверенная в своей непобедимости, неумолимая и наводящая почти такой же ужас, как чума, смертельная болезнь, бич наших предков — черная оспа!

Мы бессильны себе представить, какой страх сеяла она в старину, — ведь ныне оспа превратилась в беззубое, обезвреженное чудовище. Скорее подойдет для сравнения гигантское шествие азиатской холеры, которая перекинулась через Атлантический океан уже на нашей памяти и с беспощадностью судьбы завоевывала все новые и новые города, наполовину опустевшие, потому что весть о ней обращала горожан в паническое бегство. Есть ли что-нибудь ужаснее и унизи-

тельнее состояния, когда человек боится полной грудью вдохнуть благодатный воздух, опасаясь, что он может оказаться ядом, и не решается протянуть руку другу или брату, потому что в пожатии может таиться смертоносная зараза? Именно такое смятение охватило Бостон: оно было глашатаем эпидемии, оно же следовало по ее стопам. Наскоро рылись могилы; наскоро закапывались останки умерших, потому что теперь мертвые стали врагами живых и словно норовили увлечь их за собой в сырую землю. Заседания совета провинции были приостановлены, как будто людская мудрость признала бессилие своих ухищрений перед властью неземного узурпатора. Если бы в Массачусетском заливе появился флот неприятеля или если бы вражеские полчища устремились на нашу страну, народ, надо думать, доверил бы свою защиту той же грозной воительнице, которая почти что покорила его и не потерпела бы чужого посягательства на свою державную власть. У нее появилось даже знамя — символ ее побед: кроваво-красный флаг, полыхавший над каждым домом, куда проникла черная оспа.

Уже много дней такой флаг развевался над подъездом губернаторского дома, ибо именно от-

туда, как выяснилось, когда стали изучать истоки страшной болезни, начала она свое победное шествие. Ее следы вели в роскошно убранный покой — в опочивальню надменнейшей из надменных — к той, которая была так нежна, что казалась неземным созданием, — к гордячке, для которой не существовало человеческих привязанностей, к леди Элинор! Теперь уже не сомневались в том, что источник заразы таился в складках нарядной мантильи, придававшей ей на балу столь необъяснимое очарование. Фантастические узоры мантильи были отражением предсмертного бреда женщины, посвятившей этой работе последние часы своей жизни; коченеющими пальцами она вплела нити собственной злосчастной судьбы в золото, которым вышивала. Эта зловещая история, ранее передававшаяся только шепотом, разнеслась теперь по всему городу. Народ неистовствовал; везде кричали о том, что леди Элинор своей гордыней и высокомерием накликала дьявола и что чудовищная болезнь не что иное, как плод их союза. Порою гнев и исступление толпы прорывались в каком-то жестоком веселье, и когда еще над одной крышей взвивался красный флаг, люди на улицах хлопали в ладоши и восклицали с насмешкой отчаяния: «Глядите

— еще одна победа леди Элинор!»

Однажды, в самый разгар эпидемии, к губернаторскому дому приблизился некий странного вида человек. Остановившись перед входом и скрестив руки на груди, он долго смотрел на кроваво-красное знамя, бившееся на ветру словно в конвульсиях той самой болезни, о которой возвещало, затем, ухватившись за кованую решетку, взобрался на одну из колонн у подъезда, сорвал флаг и вошел внутрь, размахивая им над головой. Навстречу ему по лестнице спускался губернатор в дорожном плаще и в сапогах со шпорами: он явно готовился пуститься в дальний путь.

— Несчастный безумец, что ты здесь ищешь? — вскричал Шют, выбрасывая вперед свою трость, чтобы избежать соприкосновения с пришедшим. — Этот дом — обитель смерти. Назад, или ты встретишься с нею!

— Смерть не посмеет коснуться меня, знаменосца грозного поветрия! — воскликнул Джервис Хелуайз, потрясая своим красным флагом. — Смерть и зараза, принявшая обличье леди Элинор, пройдут сегодня ночью по улицам, и я возглавлю их шествие с этим стягом!

— К чему тратить слова на сумасброда? — пробормотал губернатор, закутывая лицо свое

плащом. — Чего стоит его жалкая жизнь, если никто из нас не может быть уверен, что протянет еще полсуток? Ступай, глупец, иди навстречу своей гибели!

Он посторонился, и Джервис Хелуайз поспешно взбежал по лестнице, но едва ступил на площадку, как чья-то тяжелая рука опустилась ему на плечо. Он вскинул голову, повинуясь неистовому побуждению безумца, готового сокрушить все на своем пути и растерзать всякого, кто осмелится ему препятствовать, но тут же замер, встретив спокойный и твердый взгляд, обладавший таинственной властью смирять самое яростное безумие. Перед ним стоял доктор Кларк, чьи печальные обязанности врачевателя привели его в губернаторский дом, где в более благополучные времена бывал лишь редким гостем.

— Для чего вы явились сюда?

— Я должен увидеть леди Элинор, — смиренно ответил Джервис Хелуайз.

— Все покинули ее, — произнес врач. — Зачем вам видеть ее? Даже сиделка и та была поражена смертью на пороге ее роковой опочивальни. Или вы не знаете, что страну нашу постигло тяжкое проклятие, что дыхание этой красавицы наполнило наш воздух ядом, что она привезла черную

смерть в складках своей адской мантильи?

— Дайте мне взглянуть на нее! — с жаром взмолился безумец. — Дайте мне еще раз увидеть печать дьявольской красоты на ее лице, дайте увидеть царские одежды, в которые облачила ее смерть. Теперь они вдвоем восседают на троне — дайте мне склониться перед ними!

— Бедняга! — проронил доктор Кларк, у которого столь разительный пример человеческой слабости даже в этот момент вызвал горькую усмешку. — Неужто ты способен поклоняться погубительнице и как прежде окружаешь ее ореолом — тем более ярким, чем более она сотворила зла? Вечная манера людей — обожествлять своих тиранов! Что ж, ступай к ней! Мне приходилось видеть, что безумие уберегает от заразы, а возможно, ты исцелишься и от безумия там, куда так спешишь!

Сказав это, он поднялся по лестнице, распахнул дверь, выходившую на площадку, и сделал Джервису знак войти. По-видимому, несчастный безумец все еще думал, что его надменной красавицы не коснулось губительное поветрие, которое она силой какого-то злого чародейства рассеивала вокруг себя. Ему грезилось, что она в пышном одеянии восседает на троне, что преж-

няя красота ее не только не померкла, но сверкает новым, нечеловеческим блеском. Исполненный этих иллюзий, он с затаенным дыханием приблизился к двери и замер на пороге, со страхом вглядываясь в сумрак опочивальни, потом прошептал:

— Но где же она? Где леди Элинор?

— Позовите ее! — предложил врач.

— Леди Элинор! Госпожа моя! Царица смерти! — крикнул Джервис Хелуайз, сделав несколько нерешительных шагов вперед. — Ее здесь нет! Но что это блестит на столе? Я вижу алмаз, еще недавно украшавший ее грудь! А вот, — он содрогнулся, — и мантилья, на которой мертвые пальцы вышили убийственный узор… Но где же сама леди Элинор?

Что-то пошевелилось за шелковым пологом кровати; раздался тихий стон, и, прислушавшись, Джервис Хелуайз различил жалобный женский голос, просивший пить. Он даже показался ему знакомым.

— Горло… горло горит… — шептал голос. — Каплю воды!

— Кто ты, ничтожное создание? — спросил бедный помешанный, приблизившись к кровати и отдернув занавески. — Это не твой голос. Как

похитила ты голос леди Элинор для своих жалких просьб и стенаний? Уж не думаешь ли ты, что моя госпожа наравне с прочими подвластна земным недугам? Ответь, мерзкая куча гнили: как попала ты в ее опочивальню?

— О, Джервис Хелуайз! — донесся голос, и лежавшая в постели судорожно попыталась спрятать свое обезображенное лицо. — Не смотри на ту, кого ты когда-то любил! Небесное проклятие поразило меня за то, что я гнушалась братьев и сестер своих. Я окутала себя гордыней как мантильей, я презрела узы родства, дарованные нам природой, — и природа связала меня с людьми новыми, страшными узами, обратив это бренное тело в источник смертоносной заразы. Природа отомстила мне за себя, за тебя и за всех остальных; знай же, я Элинор Рочклиф!

Безумная злоба и долго копившаяся в его сердце горечь от сознания того, что жизнь его погублена безвозвратно, что наградой за любовь ему было жестокое презрение, — все эти чувства вдруг проснулись в груди Джервиса Хелуайза. Он погрозил пальцем несчастной умирающей, и занавески всколыхнулись от дикого хохота, жутким эхом раскатившегося по комнате.

— Еще одна победа леди Элинор! Все стали ее

жертвами! Кто же заслужил почетное право быть последней жертвой, если не она сама?

Внезапно, словно в его воспаленном мозгу возникла какая-то новая фантазия, он схватил роковую мантилью и бросился прочь из губернаторского дома.

В тот же вечер через город проследовала странная процессия: участники ее несли факелы, и над головами их раскачивалось подобие женской фигуры в роскошно расшитом одеянии. Джервис Хелуайз шел во главе процессии, размахивая зловещим красным флагом. Дойдя до губернаторского дома, толпа сожгла изображение, и налетевший ветер тут же развеял золу. Говорят, что с того самого часа эпидемия начала угасать, точно от первой вспышки до последней была соединена таинственными связями с мантильей леди Элинор. О судьбе ее злополучной владелицы ходят на редкость смутные слухи. До сих пор поговаривают, что в одном из покоев губернаторского дома появляется время от времени бледный призрак женщины: она прячется в самых темных углах и прикрывает лицо вышитой мантильей. И если все это правда, призрак не может быть не чем иным, как тенью надменной леди Элинор.

Содержатель гостиницы, наш новый знакомый

британофил и я встретили окончание глубоко захватившей нас повести восторженными рукоплесканиями. Представьте себе, любезный читатель, насколько возрастает воздействие такого предания, если мы можем, как в настоящем случае, поручиться, что рассказчик ни в чем не погрешил против исторической истины. Что касается меня, то я знаю, с какой придирчивой тщательностью проверяет мистер Тиффани достоверность фактов, прежде чем предать их гласности, и мое доверие к нему ни на волос не увеличилось бы, будь он на деле очевидцем жизни и страданий несчастной леди Элинор. Конечно, могут отыскаться скептики, которые потребуют вещественных доказательств: например, предложат мистеру Тиффани предъявить знаменитую мантилью, позабыв о том, что, благодарение богу, она сгорела дотла!

Итак, история была досказана; и тут старый монархист, у которого в веселой компании заметно улучшилось расположение духа, в свою очередь пустился в воспоминания о губернаторском доме и вызвался, если никто не возражает, пополнить наш запас легенд некоторыми интересными эпизодами. Мистер Тиффани, не имея причин опасаться соперников, немедленно попросил

его доставить нам это удовольствие; я, со своей стороны, с жаром к нему присоединился; и наш уважаемый гость, весьма польщенный вниманием, уже готов был начать свой рассказ и ожидал только возвращения мистера Томаса Уэйта, который отлучился, чтобы устроить на ночлег новоприбывших. Быть может, читатель — впрочем, предоставим это на волю читательской и нашей собственной прихоти — найдет услышанную нами повесть в одной из следующих легенд губернаторского дома.

Старая Эстер Дадли

Расположившись снова в своем кресле, хозяин наш, при дружной поддержке мистера Тиффани и моей собственной, выразил желание незамедлительно ознакомиться с историей, которую обещал нам поведать старый британофил. Этот достойный господин почел за лучшее сначала промочить горло еще одним стаканчиком вина, а затем, обратив лицо свое к камину, несколько секунд созерцал пылавший в нем огонь и тогда только дал волю своему красноречию. Поглощенный им благородный напиток разогрел его холодеющую от старости кровь и одновременно растопил холод, сковывавший его ум и сердце, так что, приступив к рассказу, он умел выразить свои мысли и чувства с такой энергией, какую мы и не чаяли обнаружить под снежным покровом восьми десятков зим. Его чувства даже показались мне более возбудимыми, нежели чувства человека не столь преклонного возраста; вернее сказать, они выражались у него более откровенно, чем если бы воля и рассудок его обладали полнотою и силою, свойственным людям в расцвете лет. В особенно трогательных местах

глаза его заволакивались слезами. Когда же им овладевал гнев, его морщинистое лицо багровело до самых корней седых волос, и он яростно грозил кулаком своим троим слушателям, искренне расположенным к одинокому старику и мирно ему внимавшим, очевидно, воображая их своими недругами. Однако то и дело, нередко посреди самого бурного потока слов, память подводила нашего престарелого рассказчика: он вдруг отклонялся в сторону, терял нить повествования и принимался снова ощупью отыскивать ее, блуждая в потемках. Тогда с тихим виноватым смешком наш почтенный приятель замечал, что, видимо, начинает выживать из ума — так ему самому угодно было определить свою рассеянность — и что время, хочешь не хочешь, берет свое…

При этих неблагоприятных обстоятельствах рассказ старого монархиста потребовал более тщательной обработки по сравнению с предшествующими нашими историями, прежде чем я решился представить его на суд читающей публики; не стану также скрывать, что самый дух и тон повести могли в моем пересказе — а я, как ведомо читателю, убежденнейший демократ — претерпеть некоторые, быть может даже и значительные, изменения. Сама история — всего

лишь беглый набросок; в ней нет ни затейливого сюжета, ни увлекательного развития событий, но она — если только мне удалось верно ее передать — навевает то же печально-задумчивое настроение, которое охватывает любого прохожего, ненароком оказавшегося под сенью губернаторского дома.

Настал тот час — час поражения и позора, — когда сэр Уильям Хоу должен был в последний раз переступить порог своей законной резиденции, чтобы искать убежища на борту британского судна. Его отъезд был обставлен далеко не столь торжественно, как рисовалось когда-то его горделивому воображению; своих слуг и адъютантов он выслал вперед, сам же еще мешкал в опустевшем доме, пытаясь совладать с бурей чувств, бушевавшей в его груди, и унять дрожь, словно перед смертью сотрясавшую его тело. Он возблагодарил бы Небеса, ниспошли они ему смерть от руки врага на поле брани: тогда получил бы право на три аршина той самой земли, которую король доверил ему защищать. При звуке собственных шагов, гулко отдававшихся по лестнице, его охватило зловещее предчувствие, что не только он покидает этот дом навсегда, но что вся Новая Англия навеки прощается с

британским владычеством, и он ударил себя в лоб кулаком и проклял судьбу, вынудившую его стать свидетелем позорного крушения империи.

— Клянусь Богом, — воскликнул он, еле сдерживая слезы ярости, — я предпочел бы сразиться с бунтовщиками у этого порога! И тогда пятно крови на полу красноречивей всяких слов сказало бы, что последний британский губернатор выполнил свой долг до конца!

В ответ ему неожиданно послышался дрожащий женский голос:

— Небо на стороне короля. Отправляйтесь в свой путь, сэр Уильям, и доверьтесь Небу; королевский наместник еще вернется сюда, и вернется победителем!

Поспешно укротив порыв горьких чувств, которому он дал волю потому лишь, что полагал себя в полном одиночестве, сэр Уильям Хоу заметил в нескольких шагах от двери старую женщину, которая стояла, опираясь на трость с золотым набалдашником. Это была Эстер Дадли, жившая в губернаторском доме с незапамятных времен и сама уже ставшая исторической реликвией. Она происходила из старинного, некогда знатного рода, ныне пришедшего в упадок и обедневшего, и, будучи последней его представительницей, не

имела иных средств к существованию, кроме королевской милости, ни даже крыши над головой, кроме крыши губернаторского дома. В этом доме и была изыскана для нее некая чисто номинальная должность, дававшая предлог для выплаты ей небольшой пенсии, которую Эстер Дадли почти целиком тратила на наряды, поскольку одевалась со старомодной пышностью. Благородное происхождение предоставляло ей преимущества, признававшиеся всеми губернаторами без изъятия; все они обходились с нею с церемонной почтительностью, которой она, по свойственной ей причуде, неизменно, хоть и не всегда успешно, требовала от мира, чересчур поглощенного собственными заботами. Единственное участие ее в жизни губернаторского дома выражалось в том, что поздно ночью она обходила все покои и коридоры, высматривая, не обронил ли какой нерадивый слуга искру от факела и не потрескивают ли где в камине не до конца прогоревшие уголья. Быть может, этот ее обычай совершать в тишине еженощный обход окружил старую даму в глазах легковерных горожан ореолом тайны и создал вокруг нее легенду, утверждавшую, что Эстер Дадли будто бы прибыла сюда неизвестно откуда вместе со свитой первого королевского

губернатора и что ей на роду написано прожить в губернаторском доме до тех пор, пока его не покинет последний британский наместник. Но сэр Уильям Хоу, вероятно, не слыхал этой легенды или успел ее позабыть, почему произнес с некоторою суровостью в голосе:

— Госпожа Дадли, отчего вы все еще здесь? Право покинуть последним стены этого здания принадлежит мне, и только мне.

— О нет, ваше превосходительство! — возразила согбенная годами женщина. — С вашего позволения, я слишком долго прожила под этим кровом и не оставлю его до той поры, пока меня не отнесут в гробницу моих предков. Для Эстер Дадли нет другого пристанища, кроме губернаторского дома или могилы!

«Да простит меня Небо! — подумал сэр Уильям Хоу. — Я чуть было не оставил эту несчастную старуху помирать с голоду или просить подаяния!»

— Возьмите, любезная госпожа Дадли, — произнес он вслух, вкладывая ей в руку кошелек. — Профиль короля Георга на золотых гинеях еще в цене, и монеты эти, смею вас уверить, не потеряют хождения, даже если смутьяны объявят своим королем Джона Хэнкока. Эти деньги обеспечат вам более надежный кров, чем всеми покинутый

губернаторский дом.

— Пока я еще влачу бремя жизни, ни в каком другом крове я не нуждаюсь, — повторила Эстер Дадли с выражением непреклонной решительности, стукнув тростью об пол. — И когда вы, ваше превосходительство, возвратитесь сюда с победой, я как-нибудь доковыляю до крыльца, чтобы приветствовать вас.

— Бедный мой старый друг! — воскликнул британский генерал, и вся его гордость мужчины и воина не смогла справиться с горькими слезами, хлынувшими у него из глаз. — И для вас, и для меня настал страшный час. Провинция, доверенная мне королем, потеряна. Мне предстоит доживать свой век в бесчестье и немилости, и я покидаю этот дом навсегда. А вы свидетельница того, как королевские губернаторы один за другим всходили по этим ступеням в блеске и торжестве власти, вы, чья жизнь была освящена преданностью нашему королю, чье теперешнее существование неразрывно связано с прошлым, — как же вы перенесете этот крах? Поедемте с нами! Проститесь с этим гнездом изменников — в Галифаксе вы будете под защитой королевского правительства.

— Нет-нет! — возразила несговорчивая старая дама. — Я не двинусь отсюда, и пусть в провин-

ции предателей у короля Георга останется хотя бы одна верноподданная душа.

— Черт бы побрал эту сумасбродную старуху! — пробормотал сэр Уильям Хоу, выведенный из себя ее упрямством и уже сожалевший о том, что так неосмотрительно выдал свои чувства. Она живет одним минувшим, да и где еще может существовать подобное воплощение старых предрассудков, как не в этом обветшалом здании? — Что ж, почтеннейшая госпожа Дадли, коли вы непременно решились тут остаться, препоручаю губернаторский дом вашим заботам. Возьмите этот ключ и берегите его хорошенько, пока у вас не спрошу его я — или другой королевский наместник!

С горькой усмешкой, равно относившейся к старой Эстер и к нему самому, он вручил ей массивный ключ от губернаторского дома и плотнее завернулся в плащ перед тем, как выйти за порог. В последний раз окинув взглядом ее старческую фигуру, он подумал, что Эстер Дадли как нельзя более пригодна для роли хранительницы этого дома, ибо в ней сосредоточилось все то, что отжило свой век: устаревшие обычаи, мнения, верования и чувства; все, что презренно или позабыто; все, что было когда-то реальностью,

а ныне превратилось в жалкий призрак былого великолепия. С этою мыслью Уильям Хоу покинул губернаторский дом, потрясая сжатыми кулаками в тоске и бессильной ярости, а старая Эстер Дадли осталась нести бессменный караул в опустевших стенах, в окружении одних воспоминаний, и даже надежда, мелькавшая порой среди них, сама казалась переодетым воспоминанием.

Решительные перемены, воспоследовавшие с уходом из города британских войск, никак не отразились на образе жизни почтенной старой дамы: она продолжала стойко охранять свою крепость. Пост королевского губернатора был на многие годы упразднен, и члены Бостонской городской управы, разделившие между собою обязанности бывшего губернатора Массачусетса, не находили ничего предосудительного в том, что Эстер Дадли по-прежнему живет в губернаторском доме, тем более что это избавляло их от необходимости нанимать кого-либо со стороны для надзора за помещением — ведь для старой женщины этот труд был не в тягость, а в радость. И никто не мешал ей хозяйничать в заброшенном особняке.

Между тем в городе стали ходить о ней странные слухи, на разный лад повторявшиеся досу-

жими кумушками. Среди старинных предметов обстановки губернаторского дома сохранялось большое парадное зеркало, само по себе заслуживавшее отдельной истории, которую, быть может, и представится когда-нибудь случай рассказать. Золото его великолепной рамы потускнело от времени, а поверхность зеркала сделалась настолько мутной, что сама хранительница дома, отражаясь в нем, казалась бесплотным призраком. Так вот, молва утверждала, будто бы Эстер Дадли обладает волшебной властью оживлять в этом зеркале всех губернаторов свергнутой династии, а заодно и прекрасных дам, украшавших своим присутствием праздничные сборища в губернаторском доме, и вождей индейских племен, прибывавших туда держать совет или приносить клятву верности, и мужественных военачальников провинции, и сурового вида священников — словом, все великолепие прежних дней, всех тех, чье отражение хоть на миг задержалось когда-то в этом роскошном зеркале, так что само оно превратилось как бы в целый мир, населенный призраками прошлого. Такого рода россказни в сочетании с полным уединением Эстер Дадли, преклонным возрастом и немощью, становившейся от зимы к зиме все более замет-

ною, сделали хранительницу губернаторского дома предметом всеобщей жалости, к которой, однако же, примешивался и страх; оба этих чувства и послужили, по всей видимости, причиною того, что при всей разнузданности тогдашних нравов на беззащитную голову старой женщины ни разу не обрушилась обида или оскорбление. Сама же она обходилась с самозванцами, к коим без разбору причисляла всех представителей новой власти, с таким презрительным высокомерием, что надобно было обладать стальными нервами, чтобы выдержать ее взгляд не дрогнув. Однако следует отдать справедливость новоиспеченным республиканцам — они вполне довольствовались таким положением дел и не мешали госпоже Дадли, щеголявшей в старомодных кринолинах и выцветших кружевах, царить в чертогах сломленной гордости и низвергнутой власти, где она оставалась символом побежденной системы и олицетворением прошлого. Так проходил год за годом, а Эстер Дадли продолжала жить в губернаторском доме, по-прежнему чтить все, что было повержено в прах, и сохранять верность своему монарху, который, пока эта достойная старая дама пребывала на своем посту, имел в ее лице единственную во всей Новой Англии преданную

ему душу и тем самым владел хотя бы малой долей насильственно отторгнутых у него земель.

Действительно ли Эстер Дадли жила там в полном одиночестве? Если верить молве, то нет. Когда ее остывшее, иссушенное сердце жаждало тепла, она вызывала из глубин потускневшего зеркала чернокожего лакея, который служил когда-то губернатору Шерли, и посылала собирать гостей — давних завсегдатаев ныне опустевших покоев. Черный как ночь посыльный немедля отправлялся в путь, и его силуэт, сквозь который просвечивали звезды, бесшумно скользил меж надгробий ближнего кладбища; слуга стучался в железные решетки усыпальниц и шепотом оповещал тех, что покоились под мраморными плитами: «Госпожа моя, Эстер Дадли, просит вас пожаловать нынче в полночь в губернаторский дом». И когда часы на колокольне Старой Южной церкви кончали отсчитывать положенные двенадцать ударов, к парадному крыльцу слетались тени знаменитых бостонских семейств, славнейшие представители многих поколений Оливеров, Хатчинсонов, Дадли, и старая Эстер встречала их на пороге и смешивалась с толпой призраков, как если бы сама была лишь тенью. Не поручусь за полную правдивость этих слухов,

но знаю наверняка, что госпожа Дадли порой собирала у себя нескольких стойких, хоть и упавших духом монархистов из тех, что не покинули мятежный город в дни гнева и страданий. На свет являлась покрытая паутиной бутылка, содержимое которой смаковал, быть может, один из первых королевских губернаторов, и гости пили за здоровье короля и наперебой хулили республику, полагая себя, словно в старые времена, под защитой монаршего трона. Осушив свои бокалы до дна, они потихоньку расходились по домам, стараясь держаться как можно незаметней и пропуская мимо ушей издевки уличной толпы.

Однако самыми частыми и желанными гостями Эстер Дадли были жившие по соседству дети. С ними она никогда не бывала сурова. Ее добрая, любвеобильная натура, естественное развитие которой изначально столкнулось с сотнями преград и подводных камней в виде различного рода предрассудков, щедро изливалась теперь на окрестную детвору. Используя в качестве приманки пряники собственноручного изготовления, украшенные королевской короной, она завлекала смешливую и непоседливую ораву ребятишек под сумрачные своды губернаторского дома, и нередко дети так заслушивались ее рассказов о

невозвратно ушедшем мире, что забывали свои игры и проводили в доме весь день напролет, рассевшись в кружок на полу у ее ног и с жадностью ловя каждое ее слово. И ввечеру, покидая мрачный, таинственный дом, все эти мальчики и девочки еще долго находились во власти чувств, давно позабытых взрослыми, и с трудом, протирая кулачками глаза, возвращались к реальной действительности, словно и вправду успели побывать в ином, уже несуществующем мире и стали на время детьми невозвратного прошлого. Когда же дома родители спрашивали, где пробыли они весь долгий летний день, с кем играли и кто делил их досуг, дети называли имена самых славных людей провинции, уже более полувека покоившихся в могиле, вплоть до губернатора Белчера и величественной супруги сэра Уильяма Фиппса. По их словам получалось, что они сидели у всех этих знаменитостей на коленях, забавлялись галунами на их богато расшитых камзолах и шаловливо теребили локоны их пышных париков. «Но ведь губернатор Белчер скончался много лет назад, — возражала своему сыну мать. — Неужто ты вправду видел его в губернаторском доме?» — «Видел, право видел, маменька! — отвечал ребенок, еще не

вполне отрешившись от своих грез. — Он сидел в своем кресле, но когда старая Эстер кончила рассказывать о нем, вдруг исчез!» Так умело и бережно вводила она своих юных гостей в покои собственного одинокого сердца, населенные призраками, и представляла их одного за другим буйной ребяческой фантазии.

Живя в кругу постоянных идей и не сообщаясь совершенно с внешним миром, Эстер Дадли утратила всякую связь с окружающим, и рассудок ее несколько помутился. Было замечено, что она не отдает себе отчета, в чью пользу развиваются события Войны за независимость: она верила, что британская армия одерживает верх на всех фронтах и непременно разгромит смутьянов. Когда в городе праздновали очередную победу Вашингтона, Гейтса, Моргана или Грина, весть об этом за порогом губернаторского дома тотчас преображалась, словно пройдя сквозь «ворота из кости слоновой», в рассказ о подвигах Хоу, Клинтона или Корнуоллиса. Вера старой Эстер в то, что рано или поздно британские колонии будут вновь повержены к монаршим стопам, была непоколебима: порой даже могло показаться, что для нее этот час уже пробил. Как-то раз горожане поражены были неожиданной праздничной

иллюминацией: губернаторский дом сиял огнями; на каждом подоконнике горела свеча, а на балконе красовался транспарант с королевской монограммой и короной. С улицы видно было, как старая Эстер Дадли в самом пышном своем наряде из ветхой парчи и заплесневелого бархата расхаживает от окна к окну. Перед балконной дверью она задержалась и, достав откуда-то огромный ключ, долго размахивала им над головой. Ее морщинистое лицо сияло торжеством, словно в душе ее и впрямь пылал огонь победы.

— К чему весь этот фейерверк? Что за праздник нынче у старой Эстер Дадли? — спросил вполголоса какой-то любопытный прохожий. — Прямо ужас берет, когда видишь, как она там бродит наверху, одна-одинешенька, и радуется неизвестно чему.

— Ни дать ни взять веселье в кладбищенском склепе, — заметил другой прохожий.

— Ничего подобного! Разгадка тут простая, — произнес, порывшись в своей памяти, третий зритель, постарше прочих. — Госпожа Дадли празднует день рождения английского короля!

И тогда народ на улице расхохотался; нашлись и такие, что хотели было закидать грязью сверкающее изображение королевской короны, но

большинство сжалились над старой дамой, предававшейся ликованию на развалинах той самой системы, приверженность к которой давала ей силы жить.

У нее вошло в привычку подниматься по винтовой лестнице, ведшей в башенку на крыше дома, и подолгу глядеть оттуда то в сторону моря, то в сторону суши, словно поджидая, не покажется ли на горизонте британский флот или армия под флагом короля. Лицо ее носило при этом выражение страстной тревоги, и, завидев ее на башне, уличные зеваки принимались на все лады выкрикивать присловье, ходившее в те дни по городу: «Когда индеец на крыше выстрелит из лука, а петух на колокольне закричит «кукареку», жди нового королевского губернатора!» И вот наконец, по прошествии многих лет, Эстер Дадли решила — а может быть, ей это только пригрезилось, — что наступил тот день, когда в губернаторский дом должен прибыть новый королевский наместник, чтобы получить из ее рук ключ, доверенный ей сэром Уильямом Хоу. Действительно, среди горожан в то время распространились слухи, отдаленно схожие с тем, что вообразила себе старая женщина. Она привела дом в порядок, насколько позволяли ее средства,

разоделась сама в шелка и потускневшее золото и долго красовалась перед зеркалом, любуясь собственным великолепием. И пока она стояла перед ним, седая и увядшая, бескровные губы ее шевелились, что-то бормотали, обращаясь к мелькавшим в зеркале теням, к призракам, порожденным фантазией, к старинным друзьям дома, жившим лишь в ее памяти: приглашали порадоваться вместе с нею и вместе с нею приветствовать нового губернатора. Поглощенная этой беседой, она услышала вдруг с улицы тяжелый стук шагов и, выглянув в окно, увидела толпу людей, которую тотчас приняла за губернаторскую свиту.

— О, дивный день! Блаженный, сладкий час! — воскликнула Эстер Дадли. — Какое счастье, что я могу открыть ему двери; я дождалась его — и теперь мой долг и в доме этом, и на этой земле исполнен до конца!

И она заковыляла вниз по мраморной лестнице, поминутно оступаясь от волнения и слабости; шелк ее кринолина шуршал и шелестел на ходу, словно по пятам за нею следовал призрачный сонм придворных, вызванный из глубин старинного зеркала. Ей казалось, что стоит только распахнуть парадную дверь, как в губерна-

торский дом войдут торжественной поступью величие и пышность прежних дней, и позолота прошлого, осветясь солнцем настоящего, вспыхнет новым, невиданным блеском. Она повернула ключ в замке, отворила дверь и переступила порог. Первый, кто попался ей на глаза, был богато одетый господин весьма достойной наружности, в облике и жестах которого старой Эстер почудились признаки благородного происхождения, знатности и потомственной привычки повелевать. Одна нога его, распухшая от подагры, была обута в особый башмак, но это не умаляло мужественности его походки. Сопровождавшие его люди в большинстве одеты были как простые горожане; между ними было двое-трое военных — по-видимому, офицеров в чинах, судя по их желто-синим мундирам, — однако Эстер Дадли не замечала никого кругом; только одна вера жила в ее сердце, и только одного человека видела она перед собой, полагая, что он и есть тот самый долгожданный губернатор, которому она должна передать с рук на руки его законную резиденцию. При его приближении она невольно опустилась на колени и, дрожащей рукой протянув ему заветный ключ, воскликнула:

— Возьмите его, возьмите скорее! Смерть под-

крадывается и хочет отобрать у меня последнюю радость. Но она уже опоздала! Благодарение Небу за этот благословенный час! Да хранит Бог короля Георга!

— Сударыня, ваш молитвенный порыв сейчас не вполне уместен, — промолвил незнакомец, вежливо сняв шляпу и помогая старой женщине подняться. — Однако из уважения к вашим сединам и завидной твердости духа никто из присутствующих не станет вам возражать. Итак, да хранит Бог короля Георга — в тех пределах, на которые еще простирается его власть!

Эстер Дадли снова сжала в руке ключ и, выпрямившись, со страхом вперила взор свой в пришельца, лицо которого начало понемногу всплывать в ее памяти, словно она постепенно пробуждалась ото сна. Много лет назад она знала его как одного из видных людей провинции, но на него обрушился королевский гнев, и он был объявлен вне закона. Как же оказался здесь этот изгнанник? Осужденный на немилость, заклятый враг британского монарха, вызывавший страх и ненависть двора, этот купец из Новой Англии устоял против целого королевства, и теперь, всходя по ступеням губернаторского дома в своей новой роли — избранного народом губер-

натора Массачусетса, — попирал ногою все, что оставалось от поверженной во прах королевской власти.

— О, я несчастная! — простонала старая женщина с выражением такого безутешного горя, что из глаз пришельца брызнули слезы. — Я впустила в дом предателя! Приди, о смерть! Приди скорее!

— Увы, достойнейшая госпожа! — возразил губернатор Хэнкок, поддерживая ее с таким почтением, какое впору было бы оказывать королеве. — Вам дарована была столь долгая жизнь, что мир вокруг вас успел перемениться. Вы свято хранили все то, что уже обесценено временем: те правила, чувства, манеры и привычки, которые нынешнее поколение отвергло навсегда, — вы символ ушедшего прошлого. Я же и те, кто со мной, представляем новую породу людей: мы распрощались с прошлым и почти не живем в настоящем — наши помыслы устремлены в будущее. Мы более не почитаем для себя образцом верования и обычаи наших прадедов; у нас одна вера, один принцип: вперед, только вперед! И все же, — обратился он уже к своим спутникам, — воздадим в последний раз должное грандиозному величию предрассудков отжившего прошлого!

Произнося эту тираду, губернатор-республика-

нец продолжал поддерживать старую женщину, которая все беспомощнее повисала у него на руке. Вдруг, сделав отчаянное усилие высвободиться, Эстер Дадли рухнула на каменный пол у подножия одной из колонн портала: ключ от губернаторского дома выпал из ее коченеющих пальцев и звякнул о камень — и прошептала:

— Я осталась верна королю до самой смерти. Боже, храни короля!

— Она исполнила свой долг до конца! — торжественно произнес Хэнкок. — Пусть же обретет упокоение в могиле своих предков. Мы с почестями проводим ее в последний путь, а затем, друзья мои, вперед, вперед — и навсегда покончим с прошлым!

Когда старый монархист закончил свой рассказ, огонь воодушевления, то и дело вспыхивавший в его глубоко запавших глазах, внезапно потух, словно кто-то грубо загасил последние остатки пламени, которое до сих пор теплилось в его душе. И как раз в этот момент лампа на камине тоже вспыхнула в последний раз, перед тем как окончательно погаснуть, и лишь через некоторое время глаза наши стали снова различать лица собеседников при слабом свете догорающих угольев. Вот так, подумалось мне, исчезла и слава

прежних дней из губернаторского дома — пламя ее постепенно слабело и, ярко вспыхнув на прощание, угасло, когда дух старой Эстер Дадли покинул ее бренное тело. И тут часы на Старой Южной церкви заговорили своим вековечным голосом, отбивая полночь; ветер разносил удары колокола во все концы многолюдного города, и этот поминальный звон по ушедшему прошлому особенно гулко отдавался у нас в ушах, пока мы в почти полной темноте сидели у камина. Здесь, в этом самом доме, в этом самом зале, вершилась когда-то история, и необозримые пласты ее дробились на часы, которые отсчитывал все тот же полнозвучный голос. Не один бывший губернатор слышал этот перезвон, когда дела государственной важности вынуждали его бодрствовать по ночам… Что касается нашего радушного хозяина, а также мистера Тиффани, старого британофила и меня самого, то мы за минувший вечер успели так углубиться в воспоминания, что бой часов прозвучал для нас как бы из прошлого века, и мы нисколько не удивились бы, если б перед нами появилась, шурша кринолином, тень старой Эстер Дадли, всегда обходившей дом в ночную пору. Подчиняясь ее молчаливому приказу, мы загасили бы уголья, еще чуть тлевшие в камине,

и тихо отправились восвояси, предоставив губернаторский дом в полное распоряжение его многолетней хранительнице и прочим призракам. Но поскольку рассчитывать на ее появление не приходилось, я решил удалиться по собственной воле, посоветовав мистеру Тиффани приискать себе нового слушателя, поскольку сам не намеревался показываться в губернаторском доме, по крайней мере в ближайшее время, а может быть, и никогда.

Собрание знатока

На днях у меня выдался свободный часок, и я забрел в новый музей, случайно увидев маленькую, неприметную табличку: «Здесь показывают собрание знатока». Это скромное, но чем-то заманчивое приглашение побудило меня на время покинуть солнечный тротуар центрального проспекта. Поднявшись тусклоосвещенной лестницей, я толкнул дверь и очутился лицом к лицу со служителем, который запросил с меня за вход небольшие деньги:

— Три массачусетских шиллинга, ну, то бишь полдоллара по-нынешнему.

Я полез в карман за мелочью, искоса оглядывая его: он имел такой странный и своеобразный вид, что мне, должно быть, предстояло что-то не совсем обычное. На нем был старомодный сюртук, изрядно выцветший и с избытком облегавший его тощую фигурку, скрывая все прочее платье. Дочерна загорелое, обветренное, загрубелое лицо выражало уныние, тревогу и смятение. Казалось, будто у этого человека на уме очень важное дело, что ему надо принять самонужнейшее решение,

задать некий насущный вопрос, почти без надежды на то, что ему ответят. Было, однако же, очевидно, что я к его делам не имею ни малейшего касательства, и я проследовал в открытую дверь, оказавшись в пространном зале музея.

Прямо перед входом стояла бронзовая статуя юноши с крылышками у подошв. Он был изображен в миг взлета, но выглядел весьма радушно и, пожалуй, даже призывно.

— Это оригинал изваяния случая работы античного скульптора Лисиппа, — сказал возникший рядом господин. — Я поместил его у входа в музей, дабы показать, что отнюдь не всякий раз можно сюда наведаться.

Это был мужчина в летах, но бог весть, занимался он науками или вел деятельную жизнь: все его определенные и явственные отличия стерлись в процессе долгого и многотрудного сживания с миром — ни признака профессии, обыкновений или даже национальности. Впрочем, судя по смуглому лицу и резким чертам, он был родом с европейского юга, но что это и есть знаток, разумелось само собой.

— С вашего позволения, — сказал он, — поскольку у нас нет каталога, я проведу вас по музею и покажу его особые достопримечательности.

Для начала здесь вот отборная коллекция чучел.

Ближе всех к дверям стояло подобие волка и правда отличной выделки: могучая взъерошенная морда по-волчьи свирепо глядела большими стеклянными глазами. Однако же это была всего лишь набитая трухой волчья шкура, та самая, какой отличаются все звери этой неприглядной породы.

— И чем же этот зверь заслужил свое место в вашей коллекции? — спросил я.

— Этот волк сожрал Красную Шапочку, — ответил знаток, — а рядом с ним — заметьте, с более кротким, скорее озабоченным, видом — стоит волчица, которая выкормила Ромула и Рема.

— Скажите, а что это за миленький ягненок с тонкорунной шерсткой, белоснежной, как сама невинность?

— Видно, плохо вы Спенсера[4] читали, — заметил мой провожатый, — а то бы сразу вспомнили «млечно-белого агнца», которого вела Уна. Но бог с ним, с ягненком. Взгляните лучше на следующий экспонат.

— Ага! — воскликнул я. — На это диковинное животное с черной бычьей головой на тулове

---

[4] Примечания: 4

Спенсер Эдмунд (1552–1599) — английский поэт; в его сказочном эпосе «Царица фей» Уна — олицетворение Истины.

белого коня? Но не будет ли слишком уж нелепо предположить, что это Буцефал, конь Александра?..

— Он самый, — подтвердил знаток. — А может, вы заодно угадаете имя того знаменитого скакуна, что стоит рядом с ним?

Возле прославленного Буцефала стоял сущий конский скелет: тощие ребра белели из-под неухоженной шкуры. Но если бы сердце мое тут же не прониклось жалостью к несчастной животине, то не стоило бы и продолжать осмотр музея. Собранные диковинки свозились со всех четырех сторон света, старательно и неутомимо разыскивались по глубинам морским, по древним дворцам и гробницам не для тех, кто не узнал бы этого несравненного коня.

— Это Россинант! — восторженно провозгласил я.

Так оно и оказалось! Восхищение благородным и доблестным конем отчасти ослабило мой интерес к остальным животным, а между тем многие из них достойны были бы внимания самого Кювье. Был тут осел, которого немилосердно вздул Питер Белл[5], а также ослица, претерпевшая

[5] Примечания: 5

Питер Белл — гончар, герой названный его именем стихотворной сказки английского поэта У. Водсворта (1770–1850).

таковое же обхождение от библейского пророка Валаама. Впрочем, насчет подлинности второго чучела имелись некоторые сомнения. Мой провожатый указал на почтенного Аргуса, верного пса Одиссея, и на другого зверя (судя по шкуре, тоже собачьей породы), худо сохранившегося и некогда вроде бы трехголового. Это был Цербер. Меня весьма позабавило, когда в укромном углу обнаружилась лиса, прославившаяся потерей хвоста. Были там и кошачьи чучела, которые меня, обожателя этого домашнего зверька, особенно умилили. Чего стоил один кот доктора Джонсона[6] Ходж[7]; возле него пребывали возлюбленные коты Магомета, Грея[8] и Вальтера Скотта, а рядом с ними — Кот в Сапогах и чрезвычайно величавая кошка, которая была божеством Древнего Египта. Дальше стоял ручной медведь Байрона. Еще там, помнится, был Эриманф-

[6] Примечания: 6

Джонсон Сэмюэл (1709–1784) — английский писатель, критик, издатель, составитель первого толкового «Словаря английского языка».

[7] Примечания: 7

Ходж — уменьшительное от «Роджер».

[8] Примечания: 8

Грей Томас (1716–1771) — английский поэт, провозвестник романтизма.

ский вепрь[9], шкура дракона святого Георгия и кожа змея Пифона[10], а возле — другая кожа, прельстительно-переливчатая, предположительно облекавшая искусителя Евы, который был «хитрее всех зверей полевых»[11]. На стене красовались рога оленя, подстреленного Шекспиром, а на полу лежал массивный панцирь черепахи, упавшей на голову Эсхилу. В одном ряду, донельзя жизнеподобные, стояли священный бык Апис, бодливая корова со сломанным рогом и оголтелого вида телка — как я понял, та самая, что перепрыгнула через луну[12]. Верно, она расшиблась, падая с небес. Я отвел от них взгляд и увидел неописуемое страшилище, которое оказалось грифоном[13].

— Что-то я не вижу, — заметил я, — шкуры

---

[9] Примечания: 9

Поимка Эриманфского вепря была четвертым подвигом Геракла

[10] Примечания: 10

Пифон — чудовищный «змей глубин», убитый Аполлоном.

[11] Примечания: 11

Быт. 3:1.

[12] Примечания: 12

Прыгающая через луну корова — персонаж известного английского детского стишка.

[13] Примечания: 13

Грифоны — в греческой мифологии «псы Зевса», чудовищные птицы с орлиным клювом и телом льва.

животного, которое заслуживает самого пристального внимания натуралиста, — крылатого коня Пегаса.

— А он пока жив, — объяснил знаток, — но его так заездили нынешние юные джентльмены, коим несть числа, что я надеюсь скоро заполучить его шкуру и остов в свое собрание.

И мы перешли в другую музейную нишу, с множеством чучел птиц. Они были отлично размещены — одни сидели на ветках деревьев, другие — на гнездах, третьи же были так искусно подвешены на проволоке, будто бы парили в воздухе, и среди них белый голубь с увядшей масличной веткой в клюве.

— Уж не тот ли это голубь, — спросил я, — который принес весть мира и надежды измученным бедствиями невольникам Ковчега?

— Тот самый, — подтвердил мой спутник.

— А этот ворон, должно быть, из тех, что кормили пророка Илию в пустыне.

— Этот ворон? Нет, — сказал знаток, — это не старая птица. Его хозяином был некто Барнаби Радж[14], и многим казалось, что это траурное оперение скрывает самого дьявола. Но бедный

---

[14] Примечания: 14

Барнаби Радж — персонаж носящего его имя романа Ч. Диккенса (1812–1870), хозяин ворона по кличке Хват.

Хват в последний раз вытянул жребий, и притом смертный. А под видом вот этого ворона, едва ли менее примечательного, душа короля Георга Первого навещала его возлюбленную, герцогиню Кендалл.

Затем провожатый указал мне сову Минервы и стервятника, терзавшего печень Прометея; потом — священного египетского ибиса и одну из стимфалид, которых Геракл подстрелил, совершая свой шестой подвиг. На том же насесте пребывали жаворонок Шелли, дикая утка Брайанта[15] и голубок с колокольни Старой Южной церкви (чучельник Н. П. Уиллис[16]). Не без содрогания увидел я Кольриджева альбатроса, пронзенного стрелой Старого Морехода[17]. Рядом с этим крылатым отродьем сумрачной поэзии восседал серый гусь совершенно обычного вида.

— Чучело гуся не такая уж редкость, — заметил я. — Зачем вам в музее такой экспонат?

— Этот гусь из тех, гоготанье которых спасло

---

[15] Примечания: 15

Брайант Уильям Каллен (1794–1878) — американский поэт.

[16] Примечания: 16

Натаниэль Уиллис Паркер (1806–1867) — американский поэт и публицист, собиратель преданий американского Юга, друг Э. По.

[17] Примечания: 17

Герой поэмы С. Т. Кольриджа (1772–1834) «Сказание о старом мореходе».

римский Капитолий, — пояснил знаток. — Бесчисленные гуси галдели и шипели до них и после них, но лишь эти догалделись до бессмертия.

В этом отделении музея больше не было ничего достопримечательного, если не считать попугая Робинзона Крузо, подлинного феникса, безногой райской птицы и великолепного павлина, предположительно того самого, в которого однажды вселялась душа Пифагора. Так что я перешел к следующей нише, стеллажи которой содержали набор самых разных диковинок, какими обычно изобилуют подобные заведения. Первым делом мое внимание среди прочего привлек какой-то необыкновенный колпак — похоже, не шерстяной, не коленкоровый и не полотняный.

— Это колпак чародея? — спросил я.

— Нет, — ответил знаток, — это всего лишь асбестовый головной убор доктора Франклина. Но вот этот, может статься, вам больше понравится. Это волшебная шапка Фортунатуса[18]. Может, примерите?

— Ни за что, — ответил я, отстраняя ее. — Дни безудержных вожделений у меня давно позади.

---

[18] Примечания: 18

Фортунатус — герой средневековой легенды, обладатель злополучной волшебной шапки, персонаж ряда произведений европейской литературы XVI–XIX вв.

Я не желаю ничего, помимо заурядных даров Провидения.

— Так, стало быть, — отозвался знаток, — у вас не будет искушения потереть эту лампу?

С такими словами он снял с полки старинную медную лампу, некогда изукрашенную прелюбопытной резьбой, но позеленевшую настолько, что ярь почти съела узор.

— Тысячу лет назад, — сказал он, — джинн, покорный этой лампе, за одну ночь воздвигнул дворец для Аладдина. Под силу это ему и сейчас, так что тот, кто потрет лампу, волен пожелать себе дворец или коттедж.

— Коттедж я бы, пожалуй, и пожелал, — откликнулся я, — но основание у него должно быть прочное и надежное, не мечтания и не вымыслы. Мне стали желанны действительность и достоверность.

Мой провожатый показал мне затем магический жезл Просперо, разломанный на три части рукой своего могучего владельца. На той же полке лежало золотое кольцо древнего царя Гига: надень его — и станешь невидимкой. На другой стене ниши висело высокое зеркало в эбеновой раме, занавешенное багряным шелком, из-под которого сквозил серебряный блеск.

— Это колдовское зеркало Корнелиуса Агриппы[19], — сообщил знаток. — Отодвиньте занавес, представьте себе любой человеческий образ, и он отразится в зеркале.

— Хватит с меня и собственного воображения, — возразил я. — Зачем мне его зеркальный повтор? И вообще эти ваши волшебные принадлежности мне поднадоели. Для тех, у кого открыты глаза и чей взгляд не застлан обыденностью, на свете так много великих чудес, что все обольщения древних волхвов кажутся тусклыми и затхлыми. Если у вас нет в запасе чего-нибудь взаправду любопытного, то незачем дальше осматривать ваш музей.

— Ну что ж, быть может, — сказал знаток, поджав губы, — вы все-таки соблаговолите взглянуть на кой-какие антикварные вещицы.

Он показал мне Железную Маску, насквозь проржавевшую; и сердце мое больно сжалось при виде этой жуткой личины, отделявшей человеческое существо от сочувствия себе подобных. И вовсе не столь ужасны были топор, обезгла-

---

[19] Примечания: 19

Агриппа Корнелиус (1486–1535) — германский каббалистический философ и чернокнижник.

вивший короля Карла[20], кинжал, заколовший Генриха Наваррского, или стрела, пронзившая сердце Вильгельма Руфуса[21], — все это мне было показано. Многие предметы представлялись любопытными лишь потому, что ими некогда владели царственные особы. Так, здесь был овчинный тулуп Карла Великого, пышный парик Людовика XIV, прялка Сарданапала и знаменитые штаны короля Стефана[22], стоившие ему короны. Сердце Марии Кровавой[23] с запечатленным на хилой плоти словом «Кале» хранилось в сосуде со спиртом; рядом стояла золотая шкатулка, куда супруга Густава Адольфа[24] поместила сердце короля-воителя. Среди всевозможных царственных реликвий надо упомянуть также длинные волосатые уши царя Мидаса и тот кусок хлеба,

---

[20] Примечания: 20

Карл I — король Англии в 1625–1649 гг., казненный приверженцами Кромвеля.

[21] Примечания: 21

Вильгельм II (Руфус) — сын Вильгельма Завоевателя, король Англии в 1087–1100 гг.

[22] Примечания: 22

Стефан Святой — король Венгрии в 997–1038 гг.

[23] Примечания: 23

Мария I Тюдор — королева Англии в 1611–1558 гг., за жестокие преследования сторонников Реформации получившая прозвище Кровавой. При ней Англия выступила на стороне Испании против Франции и потеряла город Кале.

[24] Примечания: 24
Густав II Адольф — король Швеции в 1611–1632 гг.

который стал слитком золота от касания руки этого злосчастного государя. И поскольку Елена Греческая была царицей, постольку упомянем, что я подержал в руках прядь ее золотых волос и чашу, изваянную в подражание округлости ее дивной груди. Имелись еще покрывало, задушившее предсмертный стон Агамемнона, лира Нерона и фляга царя Петра, корона Семирамиды и скипетр Канута[25], некогда простертый над морем. Чтоб не казалось, будто я пренебрегаю отчизной, позвольте прибавить, что я удостоился созерцания черепа короля Филиппа[26], знаменитого индейского вождя, чью отсеченную голову пуритане водрузили на шест.

— Покажите мне что-нибудь другое, — сказал я знатоку. — Царственные особы живут столь искусственной жизнью, что обычному человеку не слишком любопытна память о них. Я лучше поглядел бы на соломенную шляпку малютки

---

[25] Примечания: 25

Канут, или Кнут — датский король и король Англии в 1016–1035 гг.; согласно легенде, показывал в укор льстецам, что не имеет власти над морской стихией.

[26] Примечания: 26

Король Филипп — имя, данное английскими колонистами индейскому вождю Метакомету, предводителю восстания 1675–1676 гг.

Нелл[27], чем на золотую царскую корону.

— Вон она, — сказал мой провожатый, взмахом трости указывая на упомянутую шляпку. — Однако ж вам нелегко угодить. А вот семимильные сапоги. Может, наденете?

— Нынешние железные дороги вывели их из употребления, — отвечал я, — а что до этих сапог из воловьей кожи, то в Роксбери[28], в коммуне наших трансценденталистов, я бы вам и не такие показал.

Затем мы осмотрели довольно небрежно составленную коллекцию мечей и прочего оружия разных эпох. Здесь был меч короля Артура Экскалибур, меч Сида Кампеадора[29] и меч Брута, заржавевший от крови Цезаря и его собственной, меч Жанны д'Арк, меч Горация[30], меч, которым

---

[27] Примечания: 27

Малютка Нелл — героиня романа Ч. Диккенса «Лавка древностей».

[28] Примечания: 28

В Уэст-Роксбери (Массачусетс) в 1841–1846 гг. процветало сообщество утопистов, с которым Готорн был тесно связан.

[29] Примечания: 29

Сид Кампеадор — прозвище испанского военачальника Руя Диаса де Бивара (1043–1099), героя эпической «Песни о моем Сиде».

[30] Примечания: 30

Гораций, по его собственному лукавому признанию, бросил свой меч и щит, спасаясь бегством из битвы при Филиппах, где был разгромлен и покончил с собой Брут.

Виргиний[31] зарубил дочь, и тот, который тиран Дионисий подвесил над головой Дамокла. Был здесь и кинжал, который Аррия[32] вонзила себе в грудь, чтобы изведать смерть прежде мужа. Затем мое внимание привлек кривой ятаган Саладина.

Не знаю уж, с какой стати, но почему-то палаш одного из наших милицейских генералов висел между пикой Дон-Кихота и тусклым клинком Гудибраса[33]. Горделивый трепет охватил меня при виде шлема Мильтиада и обломка копья, извлеченного из груди Эпаминонда[34]. Щит Ахиллеса я узнал по сходству с его изумительной копией во владении профессора Фельтона[35]. Особое любопытство в этом отделе музея вызвал у меня пистолет майора Питкэрна: ведь выстрел из него в Лексингтоне[36] начал революционную

---

[31] Примечания: 31

Виргиний — согласно истории Тита Ливия, пересказанной Петраркой и Чосером («Рассказ врача»), плебей, зарубивший дочь, чтобы ее не продали в рабство.

[32] Примечания: 32

Аррия — жена римского сенатора, уличенного в 42 г. в заговоре против императора Клавдия; подала мужу пример самоубийства.

[33] Примечания: 33

Гудибрас — герой поэмы-буффонады английского поэта С. Батлера (1612–1680).

[34] Примечания: 34

Мильтиад — афинский полководец, победитель персов при Марафоне (490 г. до н. э.); Эпаминонд — фиванский военачальник в войне со Спартой (IV в. до н. э.). Хрестоматийные образцы воинской доблести.

[35] Примечания: 35

Фельтон К. (1807–1862) — американский историк античной культуры, преподаватель Гарварда, коллекционер древностей.

[36] Примечания: 36

Первый выстрел первой битвы американской Войны за независимость раздался 19 апреля 1775 г., когда лексингтонские ополченцы обратили в бегство английский карательный отряд.

войну и семь долгих лет громом отдавался по всей стране. Лук Улисса, тетиву которого не натягивали многие сотни лет, стоял у стены рядом с колчаном Робин Гуда и ружьем Даниэля Буна[37].

— Будет с меня оружия, — сказал я наконец, — хотя я бы охотно взглянул на священный щит, упавший с небес во времена Нумы[38]. И конечно же, вам надо раздобыть шпагу, которую Вашингтон обнажил в Кембридже. Впрочем, ваша коллекция и без того заслуживает всяческого восхищения. Пойдемте же.

В следующей нише мы увидели золотое бедро Пифагора[39], наделенное столь возвышенным значением, а для пущей, хотя и странной, аналогии, до которых, как видно, был очень охоч знаток, этот древний символ покоился на той же полке, что и деревянная нога Петера Стуйве-

---

[37] Примечания: 37

Даниэль Бун (1734–1820) — герой Войны за независимость, исследователь и колонист, основатель штата Кентукки, персонаж Байрона, Купера и американского фольклора.

[38] Примечания: 38

Нума Помпилий (715–672 гг. до н. э.) — второй римский царь, житие которого было одной из основополагающих государственных легенд Древнего Рима.

[39] Примечания: 39

Золотое бедро — один из легендарных атрибутов Пифагора.

санта[40], прослывшая серебряной. Были здесь и очески Золотого Руна, и ветка с пожелтевшей, жухлой от мороза листвой как бы вяза, — на самом же деле обломок ветви, которая открыла Энею доступ в царство Плутона. Золотое яблоко Аталанты и одно из яблок раздора были завернуты в золотой плат, который Рампсинит[41] принес из царства мертвых, и положены в золотую чашу Биаса[42] с надписью «Мудрейшему».

— А чаша как вам досталась? — спросил я у знатока.

— Мне ее давным-давно подарили, — ответил он, брезгливо сощурившись, — за то, что научился презирать все на свете.

От меня не укрылось, что, хотя знаток явно был человеком весьма и во всем сведущим, ему, похоже, претило возвышенное, благородное и утонченное. Помимо прихоти, в угоду которой он потратил столько времени, сил и денег на

---

[40] Примечания: 40

Стуйвесант Петер — последний голландский губернатор Новых Нидерландов (1647–1664); согласно легенде имел серебряный ножной протез.

[41] Примечания: 41

Рампсинит — легендарный египетский фараон, герой «Путешествий» Геродота.

[42] Примечания: 42

Биас из Приены — один из семи древнегреческих (VII в. до н. э.) мудрецов, автор формулы самодостаточности «все мое при мне».

собирание своего музея, он казался мне самым черствым и холодным человеком, какого я только встречал.

— Презирать все на свете! — повторил я. — Это в лучшем случае премудрость всезнайки, убеждение человека, чья душа — его лучшая и богоданная часть — никогда не пробуждалась или же отмерла.

— Не думал я, что вы еще так молоды, — бросил знаток. — Прожили бы с мое, понимали бы, что чаша Биаса попала в верные руки.

И, не вдаваясь в пререкания, мы проследовали к другим диковинкам. Я рассмотрел хрустальную туфельку Золушки и сравнил ее с сандалией Дианы и балетной обувью Фанни Эльслер[43], которая наглядно свидетельствовала о том, сколь развиты ее прославленные ноги. На той же полке стояли зеленые бархатные сапоги Томаса Рифмача[44] и бронзовая туфля Эмпедокла, извергнутого из кратера Этны. Чарка Анакреона была уместно сопоставлена с одним из бокалов Тома Мура и

[43] Примечания: 43

Эльслер Фанни (1810–1884) — австрийская балерина; в 1840–1842 гг. с огромным успехом гастролировала в США.

[44] Примечания: 44

Томас Рифмач — прозвище шотландского ясновидца и барда Томаса из Эрселдуна (1220–1297).

волшебной чашей Цирцеи. Это были символы роскоши и отрады, однако ж рядом находился кубок, из коего Сократ испил цикуту, и та кружка, которую сэр Филип Сидни[45] отвел от своих помертвелых губ, чтобы одарить глотком умирающего солдата. Затем обнаружился целый ворох курительных трубок, в том числе трубка сэра Уолтера Рэли[46], древнейшая в табачных анналах, доктора Парра, Чарлза Лэма[47] и первая трубка мира, выкуренная индейцем и колонистом. Среди различных музыкальных инструментов я заметил лиру Орфея и оные Гомера и Сафо, пресловутый свисток доктора Франклина, трубу Антони Ван Курлера[48] и флейту, на которой играл Голдсмит, блуждая по французскому захолустью.

---

[45] Примечания: 45

Сидни Филип (1554–1586) — английский поэт, ученый и воин, признанный образчик рыцарства эпохи Возрождения.

[46] Примечания: 46

Рэли Уолтер (1552–1618) — английский поэт и мореплаватель; заслужил славу распространителя табака, привезенного из Америки.

[47] Примечания: 47

Лэм Чарлз (1775–1834) — английский эссеист, историк литературы.

[48] Примечания: 48

Курлер Антони Ван (1620–1667) — знаменитый американский колонист-первопроходец; насаждал агрономические знания и навыки.

В углу стояли посохи Петра Отшельника[49] и преподобнейшего епископа Джуэла[50], а рядом — жезл слоновой кости, принадлежавший римскому сенатору Папирию[51]. Туг же была и увесистая палица Геракла. Знаток показал мне резец Фидия, палитру Клода[52] и кисть Апеллеса, заметив, что намерен вручить резец либо Гринау, либо Кроуфорду, либо Пауэрсу[53], а кисть с палитрой — Вашингтону Олстону[54]. Имелась небольшая амфора, полная прорицательного вдохновения из Дельф, которая, я так полагаю, будет представлена для научного анализа профессору Силлимену[55]. Я был глубоко тронут, созерцая фиал, наполненный слезами Ниобеи, и столь же взволнован, узнав, что бесформенный ком соли — это все, что осталось от преслову-

---

[49] Примечания: 49

Петр (Амьенский) Отшельник (1050–1115) — проповедник, вдохновитель Первого крестового похода.

[50] Примечания: 50

Джуэл Джон (1522–1571) — английский общественный деятель и проповедник, автор первой апологии англиканской церкви.

[51] Примечания: 51

Один из представителей прославленного римского рода Папириев: по-видимому, Гай Папирий Карбон, воинственный и неутомимый противник диктатора Суллы в 90–80 гг. до н. э.

[52] Примечания: 52

Вероятно, Клода Лоррена (1600–1682), французского художника-пейзажиста.

[53] Примечания: 53

Гринау, Кроуфорд, Пауэрс — американские скульпторы первой половины XIX в., поборники неоклассицизма.

[54] Примечания: 54

Олстон Вашингтон (1789–1843) — американский художник-жанрист.

[55] Примечания: 55

Силлимен Бенджамин (1779–1864) — знаменитый американский ученый-естествоиспытатель, популяризатор естественно-научных знаний.

той жертвы отчаяния и греховных сожалений, жены праведника Лота. Кажется, мой спутник особо ценил невзрачную кубышку с частицей египетской тьмы. Несколько полок занимала нумизматическая коллекция, но из нее я ничего не упомню, кроме Полновесного Шиллинга, прославленного Филлипсом[56], и железных монет Ликурга, общей ценой в доллар, а весом около пятидесяти фунтов.

Почти не глядя под ноги, я едва не растянулся, споткнувшись об огромный тюк вроде поклажи коробейника, обернутый в мешковину и весьма тщательно уложенный и перевязанный.

— Это бремя грехов Христианина, — сказал знаток.

— О, пожалуйста, давайте распакуем его! — воскликнул я. — Вот уж много лет я горю желанием узнать, что там такое.

— Поищите у себя на совести и в памяти, — посоветовал знаток. — Там найдется подробная опись содержимого этого тюка.

Тут возразить было нечего, и, окинув тюк печальным взором, я проследовал далее. Коллекция старого платья, развешанного по крючкам,

---

[56] Примечания: 56

Филлипс Венделл (1811–1884) — американский общественный деятель, страстный противник рабства и товарно-денежных отношений.

заслуживала некоторого внимания, особенно туника Несса[57], мантия Цезаря, многоцветный плащ Иосифа, не то сутана, не то риза, брейского викария[58], пунцовые бриджи президента Джефферсона, красный байковый архалук Джона Рэндолфа[59], поистине бесцветные подштанники Истого Джентльмена и лохмотья «засаленного оборванца»[60]. Глубокое почтение внушила мне шляпа Джорджа Фокса[61], реликвия самого, быть может, подлинного апостола, какой явился на землю за последние восемнадцать столетий.

Взгляд мой упал на старинные ножницы, и я было счел их за снасть какого-то знаменитого портного, но знаток ручался головой, что это инструмент мойры Атропос. Еще он показал мне испорченные песочные часы, которые выбросил

---

[57] Примечания: 57

Отравленная туника убитого Гераклом кентавра Несса, ставшая причиной смерти Геракла.

[58] Примечания: 58

Нарицательное именование беспринципного священнослужителя.

[59] Примечания: 59

Рэндолф Джон (1773–1833) — американский политический деятель, известный крайностями во взглядах и эксцентричностью в одежде.

[60] Примечания: 60

Персонаж стихотворения «Дом, который построил Джек».

[61] Примечания: 61

Фокс Джордж (1624–1691) — основатель секты квакеров.

на свалку дед Хронос, а также седую прядь этого старого джентльмена, искусно вправленную в медальон. В часах осталась щепоть песчинок, числом равных летам кумской Сивиллы. Кажется, в той же нише я видел чернильницу, которой Лютер запустил в дьявола, и кольцо, которое приговоренный к смерти Эссекс вернул королеве Елизавете[62]. Там же было стальное перо в запекшейся крови — то самое, которым Фауст перечеркнул свое спасение.

Знаток отворил дверь боковой каморки и показал мне горящий светильник и три других, незажженных: два фонаря, один из которых принадлежал Диогену, другой — Гаю Фоксу[63], и лампаду, огонь которой Геро доверяла веянию полуночного ветерка на высокой башне Абидоса.

— Смотрите! — сказал знаток, изо всей силы дунув на зажженный светильник.

Пламя задрожало и метнулось в сторону, однако удержалось на фитиле и затем разгорелось с

---

[62] Примечания: 62

Граф Роберт Эссекс (1565–1601) — фаворит королевы Елизаветы I, получил от нее кольцо, которое, как она обещала, давало ему оправдание за любое преступление. Осужденный за участие в мятеже, Эссекс послал кольцо Елизавете, но из-за происков врагов королева получила его слишком поздно и граф был казнен.

[63] Примечания: 63

Гай Фокс (1570–1606) — главарь «Порохового заговора» 5 ноября 1605 г., покушавшийся взорвать парламент и убить короля.

прежней яркостью.

— Это негасимая лампада из гробницы Карла Великого, — сообщил мой провожатый. — Она была зажжена тысячу лет назад.

— Какая нелепость, зачем возжигать светильники в гробницах? — воскликнул я. — Нам должно созерцать мертвых в небесном озаренье. Но что это за лохань с раскаленными угольями?

— А это, — ответствовал знаток, — тот самый огонь, который Прометей похитил с небес. Всмотритесь в него — увидите еще кое-что любопытное.

Я вгляделся в огонь — прообраз и первоисточник всякого душевного пыла — и посреди пламени увидел — о диво! — малую ящерку, неистово пляшущую в жаркой сердцевине. Это была саламандра.

— Что за кощунство! — воскликнул я с несказанным отвращением. — Неужто это эфирное пламя пригодно лишь затем, чтобы холить мерзкое пресмыкающееся? И правда, ведь есть же люди, которые растрачивают священный огонь своей души на гнусные и низменные цели!

Знаток на это не ответил, отделавшись сухим смешком и заверением, что именно эту саламандру видел Бенвенуто Челлини в очаге отчего дома.

И стал показывать мне прочие диковинки, ибо в этой каморке, по-видимому, хранились самые ценные экспонаты его собранья.

— Вот это, — сказал он, — Большой Карбункул Белых гор.

Я не без любопытства разглядывал этот громадный камень, отыскать который мне так мечталось в моей пылкой юности. Возможно, тогда он сверкал для меня ярче, нежели теперь; во всяком случае, нынешнее его сверкание ненадолго отвлекло меня от дальнейшего осмотра музея. Знаток показал на хрусталину, висевшую у стены на золотой цепочке:

— Это философский камень.

— А эликсир жизни, при нем обычно состоящий, у вас тоже есть? — спросил я.

— А как же — им полна эта вот урна. Глоток эликсира вас освежит. Вот кубок Гебы — пейте на здоровье!

Сердце мое затрепетало при мысли о столь живительном глотке, ибо я в нем, и то сказать, весьма нуждался после долгого странствия пыльной дорогой жизни. Но я помедлил — то ли из-за какого-то особого блеска в глазах знатока, то ли оттого, что драгоценнейшая жидкость содержалась в античной погребальной урне. Затем

нахлынули мысли, в лучшие и более ясные часы моей жизни укреплявшие во мне сознание, что смерть — тот истинный друг, которому в свое время даже счастливейший человек с отрадой раскроет объятия.

— Нет, я не хочу земного бессмертия, — сказал я. — Слишком долгая жизнь на земле духовно омертвляет. Искра вышнего огня гаснет в материальном, чувственном мире. В нас есть частица небес, и в урочный срок надо вернуть ее небесной отчизне, иначе она сгниет и сгинет. Я не притронусь к этому напитку. Недаром он у вас хранится в погребальной урне: он порождает смерть, заслоненную призрачной жизнью.

— По мне, так все это галиматья, — равнодушно отозвался мой провожатый. — Жизнь — земная жизнь — единственное благо. Значит, отказываетесь от напитка? Ну-ну, такое предложение дважды в жизни не делают. Но, быть может, смерть нужна вам затем, чтобы забыть свои горести. А ведь можно забыть их и при жизни. Хотите глотнуть воды из Леты?

Говоря так, Знаток снял с полки хрустальный сосуд, полный черной как сажа и мертвенно-тусклой влаги.

— Ни за что на свете! — воскликнул я, отпря-

нув. — Я не поступлюсь ни единым воспоминанием — пусть даже постыдным или скорбным. Все они равно питают мой дух, и утратить их означало бы стереть былую жизнь.

Без лишних слов мы перешли в другую нишу, стеллажи которой были загромождены старинными томами и свитками папируса, хранившими древнейшую мудрость земную. Вероятно, библиоман счел бы самой ценной в этой коллекции Книгу Гермеса[64]. Я же оценил бы дороже те шесть книг Сивиллы[65], которые Тарквиний отказался купить и которые, как поведал мне знаток, он сам обнаружил в пещере Трофония[66]. Несомненно, эти древние тома содержали пророчание о судьбе Рима — как об упадке и крушении его мирского владычества, так и о подъеме духовного. Имел свою ценность и труд Анаксагора о Природе, доныне считавшийся безвозвратно

---

[64] Примечания: 64

Приписываемый Гермесу Трисмегисту, он же египетский бог Тот, свод мистических знаний «Корпус Герметикум».

[65] Примечания: 65

Кумская Сивилла предложила римскому царю Тарквинию Приску купить у нее девять книг пророчаний, записанных на пальмовых листьях. Тарквиний поначалу отказался, и Сивилла сожгла шесть из них.

[66] Примечания: 66

Трофоний — оракул Лейбадейской пещеры, преемник Сивиллы.

утраченным; и пропавшие трактаты Лонгина[67], из которых немало могла бы почерпнуть современная критика; и те книги Ливия, о пропаже которых ревнители классической древности давным-давно безнадежно скорбят. Среди драгоценных томов я заметил первоначальную рукопись Корана, а также список мормонской Библии, сделанный самим Джо Смитом[68]. Была здесь и «Илиада», переписанная Александром и хранившаяся в самоцветной шкатулке Дария, еще пахучей от благовоний, которые перс держал в ней.

Открыв обернутый в черную кожу том с железными застежками, я обнаружил, что это чародейная книга Корнелиуса Агриппы: она была тем любопытней, что между страницами ее находилось множество засушенных цветов, древних и новых. Имелась там роза с брачного ложа Евы и все те алые и белые розы, которые сорвали в цветниках Темпла приверженцы Йорков и Ланкастеров. Была и Алловейская Дикая

---

[67] Примечания: 67
Лонгин — античный ритор и философ-неоплатоник III в. н. э.

[68] Примечания: 68
Смит Джозеф (1805–1844) — основатель секты мормонов.

Роза Халлека[69]. У Купера[70] взяли Чувствительный Побег, у Вордсворта — Шиповник-Эглантин, у Бернса — Горную Маргаритку, у Кирка Уайта — Вифлеемскую Звездочку, у Лонгфелло — Веточку Укропа в желтых соцветиях. Джеймс Рассел Лоуэлл[71] подарил Цветок Раздавленный, но все еще благоуханный и отраженный в водах Рейна. Саути — ветвь Остролиста. Одним из самых красивых экспонатов был Зверобой Лазоревый, который сорвал и сберег для вечности Брайант. От Джонса Вери[72] — поэта, чей голос у нас едва слышен, уж очень глубок, — были Анемон и Аксамит.

Закрывая чародейный том Корнелиуса Агриппы, я обронил старое, заплесневелое письмо: оказалось, это послание Летучего Голландца своей жене. Я не мог дольше рассматривать книги, ибо день шел на убыль, а любопытного в музее было еще много. Судите сами — упомя-

---

[69] Примечания: 69
Халлек Фиц-Грин (1790–1867) — американский поэт.

[70] Примечания: 70
Купер Уильям (1731–1800) — американский поэт-сентименталист.

[71] Примечания: 71
Лоуэлл Джеймс Рассел (1819–1891) — американский поэт-романтик.

[72] Примечания: 72
Джонс Вери (1813–1880) — американский поэт.

ну лишь некоторые из экспонатов. Огромный череп Полифема легко было узнать по зияющей щербине во лбу, откуда некогда сверкал единственный глаз исполина. В бочке Диогена легко поместился котел Медеи, а в нем находилась склянка с притираниями Психеи. Ящик Пандоры без крышки стоял рядом: в нем не было ничего, кроме небрежно брошенного туда пояса Венеры. Пук березовых розог, которыми пользовалась учительница Шенстона[73], был стянут подвязкой графини Солсбери[74]. Я уж и не знал, что ценнее — то ли яйцо птицы Рокк, величиной с добрую бочку, то ли скорлупа обычного яйца, которое Колумб поставил торчком. Наверное, самым хрупким предметом во всем музее была колесница Королевы Маб[75], упрятанная под стеклянный колпак от ухватистых посетителей.

Несколько полок занимали энтомологические

---

[73] Примечания: 73

Шенстон Уильям (1714–1763) — английский поэт, автор дидактического стихотворного трактата «Учительница».

[74] Примечания: 74

По преданию король Эдуард III поднял подвязку, оброненную графиней Солсбери на балу, и, чтобы отвлечь внимание гостей, надел ее под колено, сказав: «Позор тому, кто плохо думает об этом». Так в 1348 г. был учрежден орден Подвязки.

[75] Примечания: 75

Королева Маб — героиня носящей ее имя сказочно-аллегорической поэмы Шелли.

экспонаты. Не питая особого интереса к этой области знаний, я обратил внимание лишь на Кузнечика Анакреона и на Шмеля, которого презентовал знатоку Ральф Уолдо Эмерсон.

В той части зала, куда мы пришли, с потолка до пола ниспадал занавес, изобилующий пышными, глубокими и волнистыми складками — я таких в жизни не видывал. Без всяких сомнений, за этой великолепной, хотя слишком темной и чинной пеленой таились сокровища еще удивительнее виденных мною. Но когда я попробовал найти край занавеса и отвести его, он оказался живописным обманом.

— Не смущайтесь, — сказал знаток, — этот занавес обманул самого Зевксиса[76]. Перед вами знаменитая картина Паргасия.

Занавес был первой картиной в целом ряду других, не менее бесподобных творений живописцев древних времен. Здесь висела знаменитая «Виноградная гроздь» Зевксиса, изображенная так восхитительно, что казалось, будто налитые ягоды вот-вот брызнут соком. Зато «Портрет старухи» его же прославленной кисти, якобы такой потешный, что автор лопнул от смеха, глядя на

[76] Примечания: 76

Зевксис — греческий художник конца V в. до н. э., первооткрыватель светотени.

него, меня не особенно рассмешил. Видно, современные лицевые мышцы нечувствительны к древнему юмору. Здесь же была и «Лошадь» работы Апеллеса, которую живые кони когда-то приветствовали ржанием, и его первый портрет Александра Великого, и последнее, незаконченное изображение спящей Венеры. Чтобы воздать должное всем этим созданиям живописи, равно как и картинам Паргасия, Тиманта, Полигнота, Аполлодора, Павсия и Памфила, требовалось куда больше времени и внимания, чем я мог им уделить. Поэтому не стану описывать их, критиковать или же пытаться разрешить спор о превосходстве древнего и нового искусства.

По той же причине бегло миную образчики античной скульптуры, которые сей неутомимый и удачливый знаток откопал из праха сгинувших царств. Здесь была Этионова кедровая статуя Эскулапа, весьма попорченная, и Алконова чугунная статуя Геракла, донельзя оборжавелая. Была еще статуя Победы высотой шесть футов, которую Фидиев Юпитер Олимпиец, как известно, держал на ладони. Был здесь указательный палец Колосса Родосского семь футов длиной.

Была Фидиева Венера Урания и другие образы мужской и женской красоты или величия, со-

зданные скульпторами, которые, по-видимому, никогда не унижали душу зрелищем форм менее превосходных, чем формы небожителей или богоравных смертных. Но глубокая простота этих великих творений была не сродни моему сознанию, столь возбужденному и растревоженному различными объектами, недавно явленными ему, поэтому я отвернулся, едва взглянув на них, и решил, когда представится случай, поразмыслить особо над каждой статуей и картиной, пока до глубины души не проникнусь их совершенством. В этом отделении я опять заметил склонность к причудливым сочетаниям и насмешливым аналогиям, которая, похоже, многое подсказывала в расположении экспонатов музея. Так, деревянная статуя, всем известный троянский Палладий, близко соседствовала с деревянной головой генерала Джексона[77], несколько лет назад украденной с бака фрегата «Конституция».

Мы наконец обошли необъятный зал и снова оказались у дверей. Несколько утомленный осмотром такой уймы новоявленных и стародавних диковинок, я опустился на кушетку Купера, а знаток небрежно плюхнулся в кресло Рабле.

---

[77] Примечания: 77

Джексон Эндрю (1767–1845) — седьмой президент США (1829–1837), герой войны с Англией 1812–1814 гг.

Взглянув на противоположную стену, я с изумлением заметил, что по панели промелькнула мужская тень, зыблясь, будто от дверного или оконного сквозняка, но не было видно фигуры, которая эту тень отбрасывала; да если б фигура и обнаружилась, все равно не было солнца, чтобы она обрисовалась на стене.

— Это тень Петера Шлемиля[78], — сообщил знаток, — один из самых ценных экспонатов моего собрания.

— По-моему, ее хорошо бы поставить на входе в такой музей, — сказал я, — хотя у вас здесь и без того стоит довольно странный служитель, вполне под стать многим моим сегодняшним впечатлениям. Кстати, кто он?

С этими словами я повнимательней присмотрелся к потертому обличью служителя, впустившего меня; он по-прежнему сидел на скамье с тем же беспокойным видом, в смутной, растерянной, вопросительной тревоге, которую я заметил еще тогда. Между тем он тоскливо глянул на нас и, привстав, обратился ко мне.

— Умоляю вас, любезный сэр, — сказал он сипло и уныло, — сжальтесь над самым злополучным

---

[78] Примечания: 78

Персонаж повести Шамиссо «Необычайная история Петера Шлемиля» — о человеке, продавшем свою тень.

человеком на свете. Ради всего святого ответьте мне на один вопрос! Этот город Бостон?

— Теперь-то вы его, конечно, узнали, — сказал знаток. — Это Питер Рагг[79], Заблудший Человек. Я случайно встретил его на днях — он так и не нашел пути в Бостон, вот я ему и помог. А деваться ему теперь некуда, и я взял его в услужение швейцаром. Он слегка не в себе, но в общем человек надежный и положительный.

— А-а… позвольте спросить, — рискнул я, — кому я обязан нынешним приятным времяпрепровождением?

Прежде чем ответить, знаток положил руку на старинный дротик или копьецо, ржавое стальное острие которого было так затуплено, будто наткнулось на непробиваемый щит или нагрудник.

— Имя мое небезызвестно в мире дольше, чем чье бы то ни было, однако же многие сомневаются в моем существовании; быть может, и вы завтра усомнитесь. Дротик, что я держу в руке, был некогда жестоким оружием самой смерти и отлично прослужил ей целых четыре тысячеле-

---

[79] Примечания: 79

Питер Рагг — герой рассказа американского писателя У. Остина (1778–1841), бостонец, заплутавший в ненастье и за полвека не нашедший пути домой.

тия, но, ударившись в мою грудь, он, как видите, затупился.

Он проговорил это со спокойной и холодной учтивостью, какую соблюдал во все время нашего общения. Мне, правда, казалось, что в голосе его сквозила неуловимая горечь, будто он недоступен людскому сочувствию и обречен участи, среди людей небывалой, отделяющей его от всех остальных. И одним из ужаснейших последствий этой участи было то, что обреченный более не видел в ней несчастья, а под конец принял ее как величайшее благо, выпавшее ему.

— Ты — Вечный Жид! — воскликнул я.

Знаток поклонился с полнейшим безразличием: за несчетные века он притерпелся к своей судьбе и почти утратил ощущение ее необычности, так что едва ли сознавал, какое изумление и трепет она вызывает у тех, кому дарована смерть.

— Поистине ужасающая участь! — молвил я с неодолимым чувством и искренностью, впоследствии для меня самого удивительной. — Однако же, быть может, горний дух еще не совсем угас под гнетом уродливой, оледенелой громады земной жизни. Быть может, дыханье Небес еще воспламенит сокровенную искру. Быть может,

тебе еще будет дозволено умереть, прежде чем ты потеряешь жизнь вечную. Обещаю молиться о такой развязке. Прощай.

— Напрасны будут ваши молитвы, — ответил он, усмехаясь с холодным торжеством. — Моя судьба крепко-накрепко связана с земной действительностью. Вольно вам обольщаться видениями и привидениями грядущего царства, а мне да останется то, что я могу видеть, осязать и понимать, и большего я не прошу.

«Да, все уже потеряно, — подумал я. — Душа в нем умерла!»

Содрогаясь от жалости и отвращения, я протянул ему руку, и Знаток пожал ее все с той же привычной учтивостью светского человека, но без малейшего признака сердечной сопричастности общечеловеческому братству. Его касание леденило — не знаю, кожу или душу. Напоследок он обратил мое внимание на то, что внутренние двери холла были облицованы пластинами слоновой кости, содранными с ворот, через которые Сивилла и Эней удалились из царства мертвых.

Железнодорожный путь в Небеса

Какое-то время назад, пройдя вратами снов, я посетил тот земной край, где находится небезызвестный Град Обреченный, и с большим интересом узнал, что по инициативе некоторых его обывателей недавно была проложена железная дорога между этим многолюдным и цветущим городом и Градом Небесным. Я не особенно торопился и решил потрафить своему разыгравшемуся любопытству, проехавшись туда-сюда. И вот в одно прекрасное утро я оплатил счет гостиницы, велел швейцару пристроить мой багаж на заднике кареты, занял в дилижансе свое место и отправился на станцию. К счастью, моим соседом оказался сущий джентльмен, некий мистер Слизни, который хоть сам еще и не бывал в Граде Небесном, однако же прекрасно знал тамошние законы, обычаи, обстановку и статистику; да и Град Обреченный, где он родился и вырос, был ему знаком как нельзя лучше. А в качестве члена правления железной дороги и одного из крупнейших ее пайщиков он располагал всеми

желательными сведениями об этом достохвальном предприятии.

Наш экипаж выкатился из города и за дальней окраиной въехал на мост весьма изысканного вида, но, как мне показалось, не слишком надежный, не рассчитанный на тяжелые кареты. По обе стороны моста простирались нескончаемые хляби, такие безобразные и зловонные, будто все земные клоаки извергли туда свои нечистоты.

— Это и есть, — заметил мистер Слизни, — пресловутая Трясина Уныния — стыд и позор наших мест, и тем больший позор, что ее так легко можно осушить.

— Помнится, — сказал я, — над этим бились с незапамятных времен. У Беньяна[80] сказано, что туда опорожнили двадцать с лишним тысяч телег полезных наставлений, и все без толку.

— Очень может быть! Что за толк от такой жалкой трухи? — воскликнул мистер Слизни. — Вот обратите внимание на этот отменный мост. Мы укрепили для него грунт, побросав в трясину всевозможные нравственные прописи, тома

[80] Примечания: 80

Беньян Джон (1628–1688) — английский писатель-пуританин. В аллегорическом романе «Путешествие пилигрима», аллюзии к которому содержатся в этом рассказе, паразитизм аристократии и корыстолюбие буржуазии противостоят добродетели простых людей.

французских философов и германских любомудров, трактаты, проповеди и эссе нынешних священнослужителей, выбранные речения Платона, Конфуция и различных индийских мудрецов вперемешку с множеством любопытнейших примечаний к текстам Священного Писания — все это с помощью научной обработки затвердело крепче гранита. И целое болото можно бы засыпать эдаким образом.

Мне, однако ж, и вправду показалось, что мост подрагивает и прогибается, и хотя мистер Слизни заверил меня в надежности мостовых свай, я тем не менее опасался за судьбу переполненного дилижанса, особенно если у каждого пассажира было столько же увесистой поклажи, как у этого джентльмена и у меня. Но мы благополучно миновали мост и вскоре оказались на станции.

Это поместительное здание в строгом вкусе воздвигнуто на месте небольшой Калитки, которая некогда, как, верно, помнят все пилигримы дней былых, преграждала торный путь и, будучи весьма узкой, крайне стесняла путников с широкими взглядами и упитанными телесами. Читателю Джона Беньяна будет приятно узнать, что старый приятель Христианина Евангелист, который, бывало, снабжал всякого пилигрима

таинственным свитком, теперь восседает в билетной кассе. Правда, иные злые языки отрицают, что сей почтенный билетер — тот самый Евангелист, и даже якобы приводят убедительные свидетельства обмана. Не стану ввязываться в спор и лишь замечу, что, насколько я могу судить, картонные квадратики, какие нынче вручаются пассажирам, не в пример удобнее и сподручнее в пути, чем старинные свитки пергамента. А пригодятся ли они у ворот Града Небесного, я судить не берусь.

На станции уже собралось множество пассажиров, ожидавших отхода поезда. По их виду и поведению легко можно было заключить, что в настроениях общества произошли весьма благодетельные перемены касательно паломничества в Небеса. Видел бы это Беньян — вот бы сердечно возрадовался. Вместо одинокого путника в отрепьях, с тяжким бременем на спине, угрюмо бредущего под улюлюканье целого города, явились сообщества наиблагороднейших и самых уважаемых горожан и жителей окрестностей, отправляющихся в Град Небесный так беззаботно, словно на летнюю прогулку. Среди джентльменов были глубокоуважаемые чиновники, политические деятели и состоятельные

люди, вполне пригодные образчики религиозных устремлений для их более скромных собратьев. В дамской половине я также с радостью заметил цвет избранного общества, призванный украсить собою высшие круги Града Небесного. Тут и там велись приятные беседы о свежих новостях, деловых материях, политике или на еще более увлекательные темы; религия же хотя и служила, конечно, всеобщим и главнейшим помыслом, но была тактично отодвинута на задний план. Даже безбожник вряд ли нашел бы в их разговорах, чем оскорбиться.

Не забыть бы мне упомянуть одно большое удобство новой методы паломничества. Наши тягостные бремена, какие прежде, бывало, носили за плечами, были заботливо уложены в багажном вагоне, и меня заверили, что по окончании путешествия все вещи выдадут законным владельцам. И еще кое-чем хочется порадовать благосклонного читателя. Вероятно, многим памятна древняя вражда между князем Вельзевулом и сторожем Калитки. Приверженцев первого из них, достойнейшего джентльмена, обвиняли, будто они осыпают отравленными стрелами честных паломников, чающих прохода. Эти раздоры, к чести как упомянутого сановитого

властелина, так и превосходного, просвещеннейшего правления железной дороги, были улажены миром на основе обоюдных уступок. Подданные князя теперь во множестве служат на станции: одни пекутся о багаже, другие подносят топливо, раскочегаривают паровоз и тому подобное; и я ответственно утверждаю, что таких расторопных, таких любезных и отзывчивых к нуждам пассажиров служителей вы не найдете ни на одной железной дороге. Все люди доброй воли должны, разумеется, приветствовать столь превосходное разрешение застарелых неурядиц.

— А где же мистер Милосерд? — поинтересовался я. — Должно быть, правление железной дороги наняло этого славного старого человеколюбца старшим машинистом?

— Да нет, — отозвался мистер Слизни, сухо кашлянув. — Ему предлагалось место тормозного кондуктора; но, по правде сказать, наш друг Милосерд сделался к старости удивительно негибким и узколобым. Он так долго направлял паломников пешим путем, что почитает за грех странствовать иначе. К тому же старина с головой втянулся в допотопные нелады с князем Вельзевулом, постоянно затевал драки или перебранки с подданными князя и заново обострял разногла-

сия. Так что мы в общем не слишком сожалели, когда добряк Милосерд во мгновение ока вознесся в Град Небесный и нам удалось подобрать на эту должность более подходящего и покладистого работника. Вон он, наш паровозный машинист. Вы его, надо думать, сразу узнаете.

В это время паровоз подъехал к первому вагону, и должен признаться, что он был скорее похож на механического демона, готового умчать нас прямиком в геенну, чем на полезное сооружение, скользящее по рельсам прямо ко Граду Небесному. На нем восседал верхом некто весь в дыму и пламени, которые — пусть не дивится читатель — вроде бы извергала его огнедышащая глотка, а не только медное паровозное чрево.

— Верить ли глазам? — воскликнул я. — Что за чертовщина! И это живое существо? Если да, то не иначе как родной брат чудища, которое он оседлал!

— Ну-ну, какой вздор! — отозвался мистер Слизни с громким смехом. — Не помните разве Аполлиона, былого врага Христианина, с которым он так яростно сражался в Долине Унижения? Он точно создан, чтобы управляться с паровозом, так что мы его укротили, приохотили к паломничеству и взяли старшим машинистом.

— Браво, браво! — восторженно возгласил я. — Вот он, либерализм нашего времени, вот наилучшее свидетельство того, как вековые предрассудки исчезают на глазах! А как обрадуется Христианин, услышав о чудесном преображении своего прежнего противника! С каким удовольствием я сам оповещу его об этом по прибытии в Град Небесный!

Все пассажиры расселись поудобнее, и мы весело покатили, за каких-нибудь десять минут проезжая едва ли не больше, чем Христианин еле-еле проходил за день. Несясь как бы в хвосте молнии, мы наблюдали смехотворное зрелище — двух запыленных пешеходов в старинном паломничьем облачении, с посохом и раковиной, с мистическим свитком пергамента в руках и неподъемным бременем за плечами. Бестолковое упрямство этих добрых людей, предпочитающих, кряхтя, тащиться по неторной дороге, лишь бы не использовать новейшие достижения науки и техники, вызывало неподдельное веселье нашего многоумного сообщества. Мы напутствовали двух пилигримов сотнями безобидных насмешек и взрывами хохота, а они поглядели на нас с такой скорбью и дурацким сочувствием, что наша веселость удесятерилась. Аполлион тоже от

всей души принял участие в забаве и ухитрился пыхнуть им в лицо дымом и пламенем то ли из паровозной топки, то ли из собственного нутра — и прямо-таки потопил их в облаке жгучего пара. Эти незатейливые шутки весьма нас потешили и, конечно же, порадовали паломников, дав им возможность считать себя мучениками.

Мистер Слизни указал нам на большое ветхое строенье невдалеке от железной дороги — это, сказал он, стародавний постоялый двор, некогда известное пристанище паломников. В справочнике Беньяна он упоминается под названием «Дом Разъяснителя».

— Мне давно хотелось посетить этот странноприимный дом, — заметил я.

— Как вы понимаете, там у нас стоянки нет, — сказал мой спутник. — Хозяин грубо возражал против железной дороги, и недаром — ведь его гостиница осталась в стороне и, конечно же, должна была лишиться всех выгодных постояльцев. Впрочем, пешеходная тропа по-прежнему ведет к его порогу, и старый джентльмен время от времени, заполучив гостя, потчует его кой-какими развлечениями на старинный лад.

Такова была наша беседа, когда мы проносились мимо того места, где бремя Христианина

упало с его плеч при виде креста. По этому поводу мистер Слизни, мистер Жуируй, мистер Греховод, мистер Черствая Совесть и целая компания джентльменов из селения Беспокаянного не могли нахвалиться несказанными выгодами надежного хранения нашего багажа. И я, и все прочие пассажиры единодушно поддержали их на этот счет: ведь среди нашей поклажи было многое, что высоко ценится во всем мире, — и особенно превеликое разнообразие излюбленных обыкновений, которые, как мы полагали, отнюдь не покажутся старомодными даже и в высшем свете Града Небесного. Разве не прискорбно будет, если столь богатая их коллекция сгинет в могиле?

Так, непринужденно беседуя о теперешних наших удобствах в сравнении с невзгодами прежних паломников и нынешних закоренелых упрямцев, мы вскоре оказались у подножия Неодолимой Горы. Недра этой скалистой громады прорезал искуснейший туннель с высокими сводами и широким двухколейным путем, и пока не разверзнется земля и не обрушится каменная лавина, он пребудет вечным памятником мастерству и дерзновению строителей. Немалой, хоть нечаянной удачей было и то, что камень из серд-

цевины Горы пригодился для засыпки Долины Унижения, так что пропала всякая надобность спускаться в эту унылую и зловещую низину.

— Поистине изумителен результат сиих совершенствований, — сказал я. — Но все же хотелось бы не упустить случая побывать в Прекрасном Дворце, где обитают очаровательные юные девицы — мисс Благоразумие, мисс Благочестие, мисс Попечение и прочие, — и представиться им: ведь они, помнится, оказывали теплый прием паломникам.

— Юные девицы! — воскликнул мистер Слизни, обретя дар слова после приступа смеха. — Нечего сказать, юные и очаровательные! Любезный друг, они же все до единой жалкие старые девы — чопорные, церемонные, иссохшие, нескладные, — ни одна из них, смею сказать, не сменила даже фасон платья со дней паломничества Христианина.

— Ах вот как, — сказал я, облегченно вздохнув. — В таком случае я весьма охотно обойдусь без этого знакомства.

Достопочтенный Аполлион изо всех сил нагнетал пары, быть может стараясь избавиться от неприятных воспоминаний о злополучной стычке с Христианином. Из путеводителя мистера

Беньяна я выяснил, что мы, по-видимому, находимся в нескольких милях от Долины Смертной Тени и на такой скорости можем, чего доброго, оказаться в этой юдоли скорби куда быстрее, чем хотелось бы. По правде говоря, ничего хорошего я и не ожидал: того и гляди угодишь либо в ров, либо в топь. Но когда я поделился своими опасениями с мистером Слизни, тот заверил меня, что опасности нашего пути, даже его худшего участка, сильно преувеличены, что сейчас все в надежных руках и я могу быть так же спокоен, как на любой другой железной дороге христианского мира.

Между тем поезд стремглав ворвался в страховидную Долину. И хоть я признаю, что сердце мое нелепо трепетало, пока мы на всех парах мчались по высокой насыпи, однако ж было бы несправедливо не воздать величайшей хвалы смелости исходного замысла и изобретательности его исполнителей. С огромной отрадой наблюдал я, сколько усилий было приложено, чтобы рассеять извечный тамошний сумрак и возместить нехватку бодрящего солнечного света, ибо ни единый луч его не озаряет жуткую темень. С этой целью горючий газ, обильно источаемый почвой, собран в трубы и подается к четверному ряду

фонарей на всем протяжении насыпи. Таким образом, освещение создается с помощью пышущих огнем серных залежей, вечного проклятия этой Долины, — правда, освещение довольно вредное для глаз и странноватое, судя по изменениям облика моих спутников. Словом, если сравнивать его с настоящим дневным светом, то разница будет такой же, как между правдой и фальшью, но если читатель когда-нибудь попадет в Сумрачную Долину, то поймет, что здесь обрадуешься всякому свету — коли не с небес, то хоть из-под изувеченной земли. Таково было красное сверкание этих фонарей, что, казалось, по обе стороны пути выросли огненные стены, между которыми мы проносились с быстротой молнии, наполняя Долину отзвуками грохота. Сойди поезд с рельсов — а это, похоже, случалось не единожды, — мы бы, конечно, обрушились в бездонную пропасть, если таковая имеется в натуре. И как раз когда сердце у меня уходило в пятки от подобных глупых страхов, ужасающий вопль разнесся по Долине: казалось, неистовствует тысяча бесов, но это всего-навсего гудел паровоз в знак прибытия на станцию.

Мы остановились в том самом месте, которое наш друг Беньян — человек правдивый, но одер-

жимый нелепейшими фантазиями — считал, не стесняясь в выражениях, коих повторять не буду, пастью геенны огненной. Но в этом он, должно быть, ошибался; кстати, мистер Слизни во время нашего пребывания в багровой и дымной пещере не преминул доказать мне, что Тофет[81] не существует даже в переносном смысле. Здесь находится, заверил он, не что иное, как кратер полупотухшего вулкана, где правление дороги устроило литейный цех для изготовления рельсов. Здесь же в преизбытке имелось и паровозное топливо. И всякий, кто заглядывал в мертвенный сумрак широкого жерла пещеры, время от времени извергавшего огромные языки багрового пламени, и видел там неведомых, полунезримых чудищ и безобразное кривлянье призрачных личин, в которые оборачиваются сгустки дыма, кто слышал жуткое бормотанье, и вопли, и сотрясающие недра всхлипы — все эти звуки, почти готовые сложиться в слова, — так вот, всякий схватился бы за успокоительные разъяснения мистера Слизни столь же жадно, как и мы. К тому же и здешние обитатели были довольно

[81] Примечания: 81

Тофет (др. — евр.) — долина близ Иерусалима, где совершались огненные жертвоприношения Молоху; место всесожжения, символизирующее в книгах пророков Исайи и Иеремии адское пекло.

неприглядны — чернявые, в копоти, уродливые, колченогие; рдяные блики в их глазах казались отблесками пылающего нутра. Опять же было довольно странно, что и литейщики, и подносчики горючего к паровозу, начиная пыхтеть, прямо-таки изрыгали дым из глотки и ноздрей.

Возле поезда околачивались бездельники; почти все они дымили сигарами, которые закурили от огня кратера, и я не без изумления заметил среди них кое-кого из тех, кто, как я точно знал, прежде нас отправились в Град Небесный. Они тоже были смуглые, диковатые и закопченные, чрезвычайно похожие на здешних обитателей — как и те, они имели неприятную склонность к злобным ужимкам и смешкам; эта привычка наделила их застывшими гримасами. Будучи более или менее знаком с одним из них — ленивым и никчемным малым, известным под именем Неусугубляй, — я окликнул его и спросил, что он здесь забыл.

— Вы разве не в Град Небесный собирались? — спросил я.

— Так-то оно так, — ответствовал мистер Неусугубляй, небрежно пустив струю дыма мне в глаза. — Но я наслышался о нем столько дурного, что раздумал взбираться на гору, где этот Град

стоит. Ни тебе дел, ни развлечений — выпить нечего, курить запрещают, — и с утра до вечера пичкают елейными песнопениями! Да я в таком месте жить не стану, хоть ты мне предложи крышу и стол задаром.

— Но, любезнейший Неусугубляй, — возразил я, — зачем же вы поселились здесь, разве больше негде?

— Ну как, — ухмыльнулся оболтус, — здесь очень тепло, полным-полно старых знакомых, и вообще мне здесь нравится. Надеюсь, и вы сюда вскорости вернетесь. Приятного путешествия!

Тем временем машинист ударил в колокол, и поезд тронулся, высадив нескольких пассажиров и не заполучив ни одного. Мы помчались по Долине, и с обеих сторон, как прежде, слепил глаза яростный свет газовых фонарей. Но иногда в этом непроглядном блеске возникали, точно проницая яркую завесу, мерзкие обличья, олицетворения губительных грехов и дурных страстей; казалось, они вперяли в нас взоры и простирали длинные темные руки, чтоб не пустить нас дальше. Я уж было чуть не подумал, что это меня ужасают мои же грехи. То была игра воображения, конечно, и ничего более — выморочный самообман, которого должно всячески стыдиться, — однако на всем

пути Сумрачной Долины меня мучили, донимали и болезненно изумляли одни и те же ожившие сны. Зловонные миазмы той местности отравляют мозг. Когда же натуральный дневной свет пробился сквозь блистанье фонарей, эти пустые фантомы померкли и наконец исчезли с первым же солнечным лучом, озарившим нас на выезде из Долины Смертной Тени. И через какую-нибудь милю я уже мог бы поклясться, что весь этот путь во мраке мне приснился.

У края Долины, как упоминает Джон Беньян, есть пещера, где в его дни обитали два свирепых исполина, Папа и Язычник, усеивавшие землю близ своего логова костями загубленных паломников. Этих гнусных старых троглодитов там больше нет, но их покинутую пещеру облюбовал другой великан. Он взял за обычай хватать честных путников и откармливать их для своего стола сытной пищей: дымом, туманом, лунным светом, сырым картофелем и опилками. По рождению он германец и зовется Великан Трансцендентал, но что до его формы, вида, телесного состава и вообще природных свойств, то главная особенность этого злодеюги в том, что ни он сам и никто другой не смог и не сможет его описать. Проносясь мимо входа в пещеру, мы его

мельком видели: померещилась вроде бы огромная и нескладная фигура, но больше похоже было на грязный сгусток мглы. Он что-то заорал нам вслед на таком тарабарском языке, что мы ничего не уразумели — не поняли даже, обругал он нас или подбодрил.

Уже под вечер поезд с грохотом влетел в старинный Град Тщеты, где по-прежнему бойко торгует Ярмарка Тщеславия, выставляя образцы всего пышного, яркого и обворожительного, что только есть на белом свете. Я намеревался там несколько задержаться и был душевно рад, узнав, что изжиты былые разногласия между горожанами и паломниками; разногласия, которые некогда понудили горожан к таким недостойным и прискорбным выходкам, как преследование Христианина и огненная казнь Верного. Напротив, поскольку новая железная дорога чревата оживлением торговли и постоянным притоком проезжих, хозяин Ярмарки Тщеславия — первейший покровитель этого благого начинания, а городские толстосумы — главные его акционеры. Немало проезжих останавливаются, чтобы приятно провести время или поживиться чем-нибудь на Ярмарке Тщеславия, и вовсе не спешат отсюда в Град Небесный. А многие, оценив преле-

сти здешней жизни, утверждают, что это и есть доподлинный рай, никакого другого заведомо нет и те, кто ищет его где-то еще, просто-напросто выдумщики; да если бы даже Град Небесный и воссиял во всем своем блеске не далее чем за милю от городских ворот, то они не такие дураки, чтобы идти отсюда туда. Не вполне присоединяясь к этим, пожалуй что и преувеличенным восхваленьям, могу сказать по правде, что мое пребывание в городе оказалось довольно приятным, а общение с тамошними обитателями — весьма любопытным и поучительным.

Будучи от природы серьезен, я заботился о существенных выгодах, которые сулило пребывание там, не гонясь за быстротечными утехами, каковые более всего манят слишком многих проезжих. Читатель-христианин, если он не имел никаких сведений об этом городе со времен Беньяна, изумится, услышав, что почти на каждой улице высится свой храм и нигде так не чтят священнослужителей, как на Ярмарке Тщеславия. И чтят вполне по заслугам: ведь разумные и благонравные наставления, изливающиеся из их уст, имеют столь же глубинный духовный источник и устремляют к столь же возвышенным религиозным целям, как и мудрейшие

философы древности. В подтверждение такой высокой оценки достаточно упомянуть имена его преподобия мистера Глубоководная Мель, его преподобия мистера Запнись-об-Истину, старейшины церковной жизни его преподобия мистера На-Сегодня-Хватит, который вскоре, вероятно, уступит кафедру почтенному собрату, его преподобию мистеру До-Завтра-Будет; не забыть бы также его преподобия мистера Белибердуна, его преподобия мистера Застревая и, наконец, первейшего из них его преподобия мистера Духовея. Их благоугодным речам вторят бесчисленные лекторы, изыскавшие столь глубокомысленный подход ко всем предметам земных и небесных наук, что любой слушатель сможет овладеть всеобъемлющими познаниями, не затрудняя себя изучением грамоты. Словесность одухотворяется, становясь произведением человеческого голоса, и знание, освободившись от всякой тяжести — кроме, разумеется, своей золотой подоплеки, — превращается во вдохновенное сотрясение воздуха, которое достигает всегда настороженного общественного слуха. Эти искусные методы создают своего рода механизм, и с его помощью ум и ученость даются всякому без малейшего затруднения. Имеется и другой

вид механизма — для массового изготовления нравственного облика. Тут целиком окупают себя усилия всевозможных добродетельствующих общин, с которыми человеку достаточно лишь связаться, внеся, так сказать, свою лепту в общий котел добродетели, а уж глава и члены общины присмотрят за тем, чтобы запасы благодати расходовались как надо. И эти, и прочие изумительные усовершенствования этики, религии и литературы растолковал мне понятливый мистер Слизни, а я не уставал восхищаться Ярмаркой Тщеславия.

В наш век брошюр неуместен был бы целый том, который необходим, дабы поведать обо всем, что я наблюдал в этом столичном средоточии людских деяний и развлечений. Общество было представлено как нельзя более широко: властители, мудрецы, остроумцы и знаменитости во всех областях жизни — князья, президенты, поэты, генералы, художники, артисты и филантропы. Все они имели свой интерес на Ярмарке и, не скупясь, давали любую цену за товары, которые им приглянулись. Да и без намерения что-либо купить или продать стоило потолкаться в торговых рядах и поглядеть на многообразное круговращение бытия.

Некоторые покупатели, как мне показалось, заключали весьма неумные сделки. Так, один молодой человек, получив великолепное наследство, пустил его значительную часть на приобретение болезней, а затем израсходовал все остальное на тяжкий жребий раскаяния и изорванное рубище. Весьма пригожая девица выменяла кристально чистое сердце, свое единственное сокровище, на подобную же драгоценность, столь, однако, потасканную и поврежденную, что гроша ломаного не стоила. В одной лавке во множестве продавались лавровые и миртовые венки, за которыми теснились в очереди воины, сочинители, общественные деятели и все, кому не лень; одни расплачивались за эти убогие украшения своей жизнью, другие — многолетним каторжным трудом, а многие отдавали все свое достояние и, в конце концов, уходили ни с чем. Были еще такие акции или облигации под названием «Совесть», которые, по-видимому, котировались очень высоко и шли в уплату почти за все. Да вряд ли что особенно ценное и можно было приобрести, не покрыв немалую часть его стоимости этими акциями, — редкое предприятие могло принести особую выгоду, если не знать, когда и как выбросить на рынок свою квоту Совести. И

однако же, поскольку лишь эти акции сохраняли постоянную цену, всякий расставшийся с ними в конечном счете проигрывал. Некоторые сделки были крайне сомнительны. Иногда член конгресса набивал карман, продавая своих избирателей, и меня уверяли, что государственные чиновники частенько продают родину по очень скромной цене. Люди тысячами отдавали свое счастье за просто так. Большой спрос был на золоченые цепи — их покупали, жертвуя почти всем. По правде сказать, те, кому не терпелось согласно старинному присловью спустить что-нибудь ценное не за понюшку табаку, везде на Ярмарке находили покупателей; и повсюду стояли лохани горячей-прегорячей похлебки — для желающих спустить за нее право первородства. Но кое-чего неподдельного на Ярмарке Тщеславия было никак не сыскать. Кто хотел возвратить себе юность, тому предлагались искусственная челюсть и парик золотисто-каштанового цвета; кому нужен был душевный покой, тому советовали принять опиум или выпить бутылку бренди.

Земельные участки и золотые дворцы в Граде Небесном часто крайне убыточно обменивались на двух-трехгодичную аренду маленьких, невзрачных и неудобных помещеньиц на Яр-

марке Тщеславия. Сам князь Вельзевул весьма интересовался такого рода коммерцией, а иной раз даже изволил принимать личное участие в довольно пустячных сделках. Я однажды имел удовольствие видеть, как он выторговывал душу у одного скупердяя: после любопытнейшего обмена репликами его высочество заполучил ее за шесть пенсов. Князь с улыбкой заметил, что остался внакладе.

День за днем разгуливал я по улицам Града Тщеты, дальше-больше сближаясь с его обитателями в поведении и обычаях. Я стал чувствовать себя как дома, и мысль о дальнейшем путешествии в Град Небесный почти улетучилась у меня из головы. Она, однако, возникла снова при виде двух тех самых незадачливых паломников, которых мы так весело осмеяли в начале нашего пути, когда Аполлион обдавал их дымом и паром. Они объявились на самой толкучке: торговцы предлагали им пурпур, тонкое полотно и драгоценности; шутники и насмешники потешались над ними; парочка полногрудых девиц искоса обмеривала их взглядом; благодушный мистер Слизни был тут как тут и вполголоса учил их уму-разуму, указывая на свежевоздвигнутый храм, — и все это выглядело дико и чудовищно, ибо два досто-

почтенных простака наотрез отказывались от всякого участия в делах или развлечениях.

Один из них, по имени Правдолюб, заметил, надо полагать, у меня на лице нечто вроде едва ли не восхищенного сочувствия, которое, себе на изумление, я поневоле испытывал к этой самоуверенной парочке. Поддавшись побуждению, он обратился ко мне.

— Сударь, — спросил он скорбным, однако же кротким и ласковым голосом, — вы именуетесь паломником?

— Именуюсь, — подтвердил я. — И несомненно имею право так называться. Здесь, на Ярмарке Тщеславия, я всего лишь проезжий: еду в Град Небесный по новой железной дороге.

— Увы, друг мой, — возразил мистер Правдолюб, — уверяю вас и заклинаю не сомневаться в моих словах, что вся эта затея — сплошное надувательство. Эдак вы пропутешествуете всю жизнь, если даже проживете тысячу тысяч лет и никуда не выедете за пределы Ярмарки Тщеславия! Да-да — вам хоть и покажется, что вы вот-вот вступите в Град Небесный, но это будет всего лишь презренный самообман.

— Господин Града Небесного, — прибавил другой паломник, по имени мистер Путевод, — раз и

навсегда отказался зарегистрировать эту железную дорогу, а без такой регистрации ни одному ее пассажиру и мечтать нечего попасть в тот край. Так что всякий, кто покупает билет, должен понимать, что бросает деньги на ветер, а расплатился-то своей душой.

— Фу какой вздор! — воскликнул мистер Слизни, взяв меня под руку и поспешно уводя прочь. — Этих клеветников надо упрятать в тюрьму. В прежние законопослушные времена они бы уже скалились из-за решетки.

Этот случай оказал на меня известное влияние; возникли еще некоторые обстоятельства, и я раздумал поселяться в Граде Тщеты, хотя, конечно, не будь дурак, не оставил первоначального плана без труда и со всеми удобствами проследовать к желанной цели железной дорогой. И мне не терпелось тронуться в путь. Одна странная вещь тревожила меня: среди всех занятий и забав Ярмарки было обычней обычного — за столом, в театре, в церкви или в хлопотах о богатстве и почестях, — если кто-нибудь вдруг пропадал, точно мыльный пузырь, и никто его больше не видел. Все так привыкли к этим происшествиям, что спокойно, как ни в чем не бывало, продолжали заниматься своими делами. У меня это не

получалось.

Наконец, после очень длительной задержки на Ярмарке, я продолжил путешествие ко Граду Небесному, по-прежнему бок о бок с мистером Слизни. В ближних окрестностях Града Тщеты мы приметили старинные серебряные копи, первооткрывателем коих был Демас[82] и которые ныне разрабатываются к великой всеобщей выгоде, щедро снабжая почти весь мир звонкой монетой. Чуть подальше находилось место, где многие века простояла жена Лота, превратившись в соляной столб. Любопытные путешественники давным-давно разнесли столб по крупицам. Если бы все сожаления наказывались так же сурово, как сожаления этой несчастной женщины, то моя тоска по утраченным радостям Ярмарки Тщеславия, наверно, так же изменила бы мой телесный состав, и я бы торчал как остережение грядущим паломникам.

Далее мы приметили огромное строение из обомшелых камней в современном легкомысленном вкусе. Паровоз остановился неподалеку от него, издав обычный чудовищный вопль.

— Прежде это был замок грозного исполина

[82] Примечания: 82

Демас — персонаж книги Беньяна, обличенный Христианином как сын Иуды Искариота, соблазнитель и губитель паломников.

Отчаяние, — пояснил мистер Слизни, — но он скончался, и новым хозяином стал мистер Недоверок: он перестроил замок и превратил его в отменное увеселительное заведение. Мы тут всегда останавливаемся.

— Да оно едва держится, — заметил я, окинув взглядом массивные, но ненадежные стены. — Незавидной обителью владеет мистер Недоверок. Однажды она обрушится на головы хозяину, челяди и гостям.

— Мы-то, во всяком случае, спасемся, — сказал мистер Слизни, — вон Аполлион уже разводит пары.

Дорога нырнула в ущелье Отрадных Гор и пересекла поле, где в былые времена слепцы блуждали и спотыкались о могилы. Какой-то злоумышленник подбросил на рельсы древнее надгробие, и весь поезд устрашающе содрогнулся. Высоко на скалистом обрыве я увидел ржавую железную дверь, полускрытую кустарником и плющом; из щелей ее сочился дым.

— Это что же, — спросил я, — та самая дверь на крутизне, боковой проход в ад, как уверяли Христианина пастухи?

— Пастухи просто пошутили, — с улыбкой сказал мистер Слизни. — Это всего-навсего вход

в пещеру, которая служит им коптильней для бараньих окороков.

Какая-то часть дальнейшего путешествия припоминается мне смутно и бессвязно. Меня одолевала необыкновенная дремота — ведь мы ехали Зачарованной Окраиной, где самый воздух внушает сонливость. Но я тут же пробудился, лишь только мы оказались в желанных пределах Земли Обетованной. Все пассажиры протирали глаза, сверяли часы и поздравляли друг друга с долгожданным и столь своевременным окончанием путешествия.

Легкие и свежие зефиры блаженного края ласкали наше обоняние; мы любовались сверкающими струями серебряных фонтанов, осененных пышнолиственными деревьями в дивных плодах, взращенными из небесных саженцев. Мы неслись как ураган, и все же услышали хлопанье крыльев и увидели осиянного ярким блеском ангела, спешившего с каким-то райским поручением. Паровоз оповестил о близком прибытии на конечную станцию, издав последний жуткий вопль, в котором, казалось, можно было расслышать и многоголосые рыдания и стоны, и свирепые выкрики гнева — все это в смешении с диким хохотом, не то дьявольским, не то безум-

ным. Всю дорогу, на каждой остановке, Аполлион упражнял свою изобретательность, извлекая отвратительнейшие звуки из паровозного гудка, но в этом заключительном усилии превзошел самого себя и разразился адским воем, который не только встревожил мирных селян Земли Обетованной, но, должно быть, нарушил безмятежный покой даже и за Небесными вратами.

Ужасная жалоба еще отдавалась в ушах, когда нашего слуха коснулась восхитительная музыка, словно тысячи инструментов, соединив возвышенный строй с проникновением и негой, зазвучали в унисон, приветствуя некоего доблестного витязя, завершившего великую битву славной победой и готового навеки расстаться с иссеченными боевыми доспехами. Приглядываясь и пытаясь понять, чем вызвана к жизни эта отрадная гармония, я сошел с поезда и увидел, что сонм Блистающих Существ собрался на дальнем берегу реки в честь двух убогих паломников, которые только что появились из расступившихся вод. Это были те самые двое, которых мы с Аполлионом напутствовали глумливыми издевками и жгучим паром в начале нашего странствия; те самые, чей отрешенный облик и впечатляющие слова взволновали мою совесть вопреки неисто-

вым утехам Ярмарки Тщеславия.

— Как удивительно повезло тем паломникам! — воскликнул я, обращаясь к мистеру Слизни. — Хотел бы я быть уверен, что и нас встретят не хуже.

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь! — отозвался мой друг. — Пойдемте! Поспешим! Паром вот-вот отчалит, и через три минуты вы ступите на тот берег реки. А там уж, конечно, вас доставят в каретах к городским воротам.

Пароходный паром, последнее существенное достижение на пути паломничества, стоял у берега, пыхтя, тарахтя и производя все прочие неприятные звуки, которые возвещают немедленное отплытие. Я поспешил на борт в толпе пассажиров поезда, большинство которых пребывали в чрезвычайном волнении: одни громогласно требовали выдать им багаж; другие рвали на себе волосы, возглашая, что паром непременно взорвется или просто потонет; иные уже смертельно побледнели от качки; кое-кто с ужасом взирал на урода рулевого, а некоторые еще не вполне очнулись от дремотного оцепенения — воздействия Зачарованной Окраины. Взглянув на берег, я с изумлением увидел там мистера Слизни, махавшего рукой в знак прощания.

— А вы разве не едете в Град Небесный? — позвал его я.

— Ну нет! — откликнулся он с загадочной улыбкой и той самой гадкой гримасой, какую я видел у обитателей Сумрачной Долины. — Ну нет! Я проехал до сего места лишь затем, чтобы вволю насладиться вашим обществом. До свидания! Мы еще встретимся.

И мой превосходный друг мистер Слизни разразился хохотом, испуская клубы дыма изо рта и ноздрей; глаза его полыхнули рдяным пламенем — конечно же, вспышкой его раскаленного нутра. Бессовестный бес! Это он-то отрицал существование геенны, когда адский огонь бушевал у него в груди! Я кинулся к борту парома, чтобы выскочить на берег, но маховые колеса, уже начав вращаться, окатили меня мертвенно-леденящими струями, напитанными тем вечным холодом, который не оставит эти воды, пока смерть не утонет в собственной реке, — и, объятый нестерпимой дрожью, трепеща всем сердцем, я проснулся. Слава богу, это был сон!

Новые Адам и Ева

Отроду свыкнувшись с поддельным мирозданием, мы никогда не узнаем толком, как немного из того, что нас окружает, дано природою и насколько подменяют ее порождения извращенного ума и сердца. Искусственность стала нашей второй, более властной натурой; стала мачехой, чье лукавое потворство приучило нас брезговать щедрым и благодетельным попечением нашей подлинной родительницы. Лишь с помощью воображения можно разъять железные оковы, именуемые истиной и реальностью, и хотя бы отчасти уразуметь, в каком мы узилище. Вообразим, например, что добрейший отец Миллер верно истолковал библейские пророчества. Грянуло светопреставление, и весь род людской как вихрем смело. В городах и на пашнях, на морских побережьях и в срединных горах, на огромных материках и даже на отдаленнейших океанских островах не осталось ни души. Ничье дыханье не колышет воздушный покров Земли. Но людские жилища и свершения человека, следы его блужданий и плоды его трудов, очевидные признаки

разумной деятельности и нравственного прогресса — короче, все явственные свидетельства его нынешнего преуспеяния — рука судьбы пощадит. И вот, дабы унаследовать и вновь заселить покинутую и опустелую Землю, сотворены, положим, новый Адам и новая Ева во всей полноте умственного и душевного развития, ничуть не ведающие ни о своих предшественниках, ни о сгубившей их порче бытия. Такая чета легко отличит создания человека от произведений природы. Стихийное чутье поможет им тотчас распознавать мудрость и простоту естества, а мудреные ухищрения будут раз за разом ставить их в тупик.

Рискнем же — полувшутку, полувсерьез — последовать за нашими вымышленными преемниками в первый день их земных испытаний. Лишь накануне угасло пламя жизни человеческой; минула бездыханная ночь, и новое утро встает над землей, такой же заброшенной, как на вечерней заре.

Светает. Восток заливается извечным румянцем, хоть и некому им любоваться; все явления природы соблюдают черед, вопреки унылому всемирному безлюдью. Земля, море и небо прекрасны, как прежде, — сами по себе. Но зрители не промедлят. С первыми лучами солнца,

золотящими горные вершины, два существа пробуждаются к жизни — не в цветущем Эдеме, как наши прародители, а посреди нынешнего города. Появившись на белом свете, они глядят друг другу в глаза, ничему не изумляются и не силятся понять, кто они такие, откуда взялись и зачем сюда призваны. Оба поглощены совместным бытием, охвачены первой, безмятежной и обоюдной радостью, которая, кажется, не в этот миг родилась, а длится уже целую вечность. Из глубины общего внутреннего мира им не сразу заметны явления мира внешнего.

Вскоре, однако, земная жизнь властно берет свое, и наша чета понемногу начинает различать окружающее. Наверное, труднее всего им отрешиться от реальности взаимосозерцания и присмотреться к обступившим их со всех сторон видениям и теням.

— Милая Ева, где это мы? — восклицает новый Адам, ибо они изначально наделены речью или иной, равноценной способностью изъясняться и говорят как дышат. — Должно быть, это какое-то вовсе мне не знакомое место.

— И мне тоже, дорогой Адам, — отзывается новая Ева. — И какое странное место! Дай я прижмусь к тебе и буду смотреть на тебя одного, а то

здесь все меня смущает и тревожит.

— Погоди, Ева, — возражает Адам, как видно, более любознательный, — надо же нам хоть немного освоиться. Уж очень здесь чудно! Давайка оглядимся.

Что правда, то правда: новоявленным наследникам Земли есть от чего прийти в безнадежное замешательство. Длинные ряды строений с окнами в желтых отблесках рассвета и промежуток булыжной мостовой, изъезженной колесами, отгрохотавшими в невозвратном прошлом! Загадочная тайнопись вывесок! Прямоугольное уродство, равномерные или беспорядочные искажения во всем, что ни встречает взор! Ущербность и невосполнимый износ творений человека, в отличие от созданий природы! Скажет ли это хоть что-нибудь разуму, чуждому той искусственности, которая очевидна во всяком фонарном столбе и каждом кирпиче домов? Вдобавок полное запустение и безлюдье там, где обычно царит шумная суета, непременно вызовут тоскливое чувство даже у Адама и Евы, хоть они ведать не ведают о недавнем изничтожении человечества. Ибо пустынный лес полон жизни, а пустынный город мертв.

Новая Ева озирается сомнительно и недоверчи-

во — так вела бы себя светская дама, закоренелая горожанка, окажись таковая вдруг в эдемском саду. Наконец, опустив глаза, она видит чахлый пучок травы, пробившейся меж тротуарных плит, и живо склоняется к ней: почему-то эти былинки рождают в ее сердце некий трепет. Ничего более Природа не имеет ей предложить. Адам, оглядев улицу и не найдя ни единой зацепки для понимания, обращает взор к небесам — и там ему видится нечто, сродное его душе.

— Взгляни ввысь, любимая Ева! — восклицает он. — Конечно же, наше место вон там, на золотых облаках или в синей глубине за ними. Видно, мы потерялись: уж не знаю, когда и как, — но все вокруг совсем чужое.

— А может быть, пойдем туда, наверх? — предлагает Ева.

— Может быть, и пойдем, — охотно соглашается Адам. — Только, похоже, что-то поневоле притягивает нас к земле. Потом, наверно, найдется какой-нибудь путь.

Им, одушевленным новой жизнью, небеса вовсе не кажутся недоступными! Но вот и первый горький урок, который, может статься, почти уравняет их со сгинувшей расой: им стало понятно, что торных земных путей не минуешь.

А пока они побредут по городу наугад, лишь бы прочь отсюда, где все им немило. Как ни свежи, ни бодры они, а предчувствие усталости уже с ними. Посмотрим же, как они заходят в гостиные дворы, в жилища и публичные здания: ведь все двери — сановника или нищего, в храм или в присутствие — распахнуты настежь тою же силой, что унесла всех обитателей Земли.

Случилось — очень кстати для Адама и Евы, все еще одетых, как подобает в Эдеме, — так вот случилось им первым делом зайти в модный магазин одежды и тканей. К ним не бросились услужливые и назойливые приказчики, не оказались они и среди множества дам, примеряющих блистательные парижские туалеты. Всюду пусто: торговля замерла, и ни малейший отзвук призывного клича нации «вперед!» не тревожит слуха новоявленных посетителей. Но образчики последней земной моды, шелка всевозможных оттенков, шедевры изящества и роскоши, предназначенные для пущего убранства человеческих телес, набросаны кругом, точно груды яркой листвы в осеннем лесу. Адам наудачу берет в руки какие-то изделия и небрежно отбрасывает их прочь с неким фырканьем на соприродном ему языке. Между тем Ева — не в обиду ей, скромнице,

будет сказано — взирает на эти любезные ее полу сокровища не столь безразлично, а скорее озадаченно разглядывает пару корсетов на прилавке, не видя им разумного применения, затем трогает кусок модного шелка со смутным чувством и беспокойной думой, повинуясь какому-то неясному влечению.

— Нет, это все мне, пожалуй, не нравится, — решает она. — Только вот что странно, Адам! Ведь зачем-нибудь да нужны такие вещи? И конечно, я бы должна понять зачем — а мне ничего не понятно!

— Ох, милая Ева, да что ты ломаешь голову над всякой чепухой! — в нетерпении восклицает Адам. — Пойдем отсюда. Хотя постой! Что за чудеса! Моя ненаглядная Ева, ты просто набросила этот покров себе на плечи, и как же он стал прекрасен!

Ибо Ева, с присущим ей от природы вкусом, облеклась в отрез серебристого газа, и Адам получил первое представление о волшебных свойствах одежды. Он увидел свою супругу в новом свете, заново ею восхищаясь, но по-прежнему уверенный, что ей не нужно иного убранства помимо ее золотистых волос. И все же он, чтоб не отстать от Евы, избирает для себя синий бархат,

который, точно по мановению свыше, живописно, как мантия, облачает его статную фигуру. В таком одеянии они следуют навстречу новым открытиям.

И забредают в церковь — не затем, чтобы покрасоваться роскошными нарядами, но привлеченные шпилем, указующим в небеса, куда их уже так сильно манило. Когда они минуют портал, часы, заведенные пономарем перед самым его исчезновением с лица земли, бьют долго, гулко и раскатисто, ибо Время пережило прямых своих отпрысков и теперь говорит с внуком и внучкой железным языком, данным ему людьми. Потомки внимают, но не разумеют. Природа найдет для них меру времени в сцеплении мыслей и дел, а не в отсчете пустопорожних часов. Вот они проходят между рядами и поднимают глаза к сводам. Если бы наши Адам и Ева обрели смертную плоть в каком-нибудь европейском городе и попали в огромный и величественный старинный собор, то, может статься, и поняли бы, зачем воздвигли его вдохновенные зиждители. Как в зловещем сумраке древнего леса, их побуждала бы к молитве сама атмосфера, а в укромных стенах городской церковки таких побуждений не возникает.

Но все же и здесь еще ощутимо было благоухание религии, наследие богобоязненных душ, наделенных отрадным предчувствием бессмертия. Быть может, они подают вести о лучшем мире своим потомкам, подавленным заботами и невзгодами нынешнего дня.

— Знаешь, Ева, я будто поневоле поднимаю глаза, — говорит Адам. — И мне не нравится, что крыша закрывает от нас небеса. Давай выйдем отсюда — вдруг увидим, что сверху на нас глядит Огромный Лик?

— Да, Огромный Лик, озаренный любовью, словно солнечным светом, — соглашается Ева. — Конечно, ведь мы уже где-то его видели!

Они выходят из церкви и падают на колени за ее порогом, послушные безотчетному велению духа — преклониться перед благодетельным Отцом. Но, по правде сказать, жизнь их и без того являет собой непрерывную молитву: чистота и простодушие каждый миг собеседуют с Творцом.

Мы видим, как они входят во Дворец правосудия. Но разве могут они составить даже самое отдаленное понятие о назначении этого здания? Откуда им знать, что их братьям и сестрам, сходным с ними по природе и подвластным изначально тому же закону любви, который

безраздельно правит их жизнью, зачем-то потребуется внешнее подтверждение голосу истины в душе? И что, кроме горького опыта, темного отложения многих веков, приобщит их к скорбной тайне преступления? О, Судейский Престол, не от чистого сердца ты был воздвигнут и не в простоте душевной; тебя воздвигли суровые, морщинистые старцы поверх окаменелой груды неправд земных! Поистине ты — символ искажения человеческой судьбы.

Без всякой пользы для себя посетят затем наши пришельцы и Законодательное собрание, где Адам усаживает Еву в кресло спикера, ничуть не ведая о том, сколь это назидательно. Мужской рассудок, смягченный женским милосердием и нравственным чувством! При таком законодательстве не было бы нужды ни в судебных палатах, капитолиях и парламентах, ни даже в тех сходках старейшин под раскидистыми деревьями, которые возвестили человечеству свободу на наших берегах.

Куда же далее? Игра своенравного случая точно стремится смутить их, предлагая одну за другой загадки, которые человечество рассеивало на путях своих странствий и, сгинув, оставило неразрешенными. Они входят в угрюмое зда-

ние серого камня, одиноко стоящее поодаль от прочих, сумрачное даже при солнечном свете, едва-едва проникающем сквозь железные решетки на окнах. Это тюрьма. Надзиратель покинул свой пост, вызванный к начальству поважнее шерифа. А заключенные? Быть может, роковой посланец, распахивая все двери, уважал ордер на арест и судебный приговор и препоручил узников каменных мешков дальнейшим попечениям земного правосудия? Нет, назначен был новый процесс, в высшей инстанции, где судья, присяжные и узник сплошь и рядом садились вместе на скамью подсудимых, — и почем знать, кто оказывался виновнее! Тюрьма, как и вся Земля, теперь опустела и отчасти утратила было недобрый вид, но тесные камеры по-прежнему подобны могилам, только еще мрачнее и мертвеннее, ведь в них вместе с телом был погребен бессмертный дух. На стенах видны надписи, сделанные карандашом или нацарапанные ржавым гвоздем: два-три предсмертных слова, или отчаянная похвальба своей виной перед миром, или просто дата — заключенный хотел угнаться за быстротекущей жизнью. Теперь стало некому разбирать эти каракули.

И пока в новых обитателях Земли еще свеж

замысел Творца — да нет, и во времена их далеких потомков, через тысячу лет, некому будет понять, что это лечебница для больных самым тяжким из недугов, какими страдали их предшественники, — здесь зримо проявлялась проказа, в разной мере всеобщая. Все, даже чистейшие из них, заражены были язвой греха. Поистине смертоносная хворь! Нутром чуя признаки порчи, люди таили ее, страшась и стыдясь, и сурово карали тех несчастных, чьи гнойные струпья открывались всякому взору, — ведь утаить их можно было лишь под богатой одеждой. За время людской жизни на Земле были испробованы все средства лечения и изничтожения болезни — все, кроме единственно целебного цветка, растущего на небесах и врачующего все земные немощи. Люди не попытались исцелять грех ЛЮБОВЬЮ! А попробуй они хоть единожды, может быть, и не стало бы надобности в том мрачном лепрозории, куда забрели Адам и Ева. Спешите же прочь, берегите свою первозданную невинность, чтобы гнилая плесень этих памятливых стен не изъязвила вас метинами новой падшей расы!

Из-под тюремных сводов они выходят в огражденный стенами двор к нехитрому, но загадочному для них сооружению. В нем всего-навсего

два столба и поперечный брус, с которого свисает петля.

— Ева, Ева! — восклицает Адам, содрогаясь от несказанного ужаса. — Что это такое?

— Не знаю, — откликается Ева, — только, Адам, ох как сдавило мне сердце! Точно нет больше неба! И солнца нет!

Недаром содрогнулся Адам и Еве сдавило сердце: ведь это таинственное орудие являет ответ человечества на многотрудные задачи, которые Бог предоставил ему разрешить; это орудие устрашения и кары, от века тщетной и все же беспощадной. Здесь в то роковое, последнее утро преступник — один лишь он, хотя безвинных на свете не было, — испустил дух на виселице. Если бы мир расслышал поступь судьбы на пороге, то эта казнь была бы как нельзя более уместным итогом человеческих дел на земле.

И наши пришельцы торопятся вон из тюрьмы. Когда б они знали, сколь искусственно замкнутой была жизнь прежних обитателей Земли, как ее сковывали и отягощали привычные уродства, они, может статься, сравнили бы весь наш нравственный мир с узилищем, а упразднение человеческого рода сочли бы всеобщим избавлением.

Затем они входят без спросу — попусту, впрочем, звонили бы они у дверей — в чей-то особняк, один из самых чинных на Бикон-стрит[83]. Дом полон дрожащих звуков, нестройных и жалобных, то гулких, будто гудение органа, то еле слышных, как робкий лепет: кажется, некий дух, причастный к жизни исчезнувшей семьи, оплакивает свое внезапное сиротство в опустелых покоях и залах. А может быть, чистейшая из смертных дев замешкалась на земле, чтобы отправить панихиду по всему роду человеческому? Нет, не то! Это звучит Эолова арфа, игралище гармонии, сокрытой во всяком дыхании Природы, будь то дуновение зефира или же ураган. Ничуть не изумившись, Адам и Ева восхищенно внимают стихийным аккордам, но ветер, растревоживший струны арфы, мало-помалу стихает, и они обращают внимание на великолепную мебель, на пышные ковры и на отделку покоев. Все это тешит их непривычный глаз, но сердцу ничего не говорит. Даже картины по стенам не вызывают особого любопытства: ведь живопись предполагает подмену и обман, чуждые первичной простоте миросознания. Незваные гости проходят мимо

[83] Примечания: 83
Бикон-стрит — фешенебельная улица в Бостоне.

череды фамильных портретов, но им и невдомек, что это мужчины и женщины, — столь нелепо они разодеты, столь чудовищно искажены их черты столетиями нравственной и физической немощи.

Случай, однако, являет им образы человеческой красы, свежевылепленные Природой. Вступая в роскошный покой, они с удивлением, хоть и без испуга, видят, как им навстречу движутся две фигуры. Не ужасно ли вообразить, что на белом свете остался кто-то еще, кроме них?

— Что это? — восклицает Адам. — Моя прекрасная Ева, как можешь ты быть там и тут?

— А ты-то, Адам! — отзывается Ева в недоуменном восторге. — Ведь это, конечно, ты, такой статный и дивный. Но ты же рядом со мной! Мне хватит тебя одного — вовсе не надо, чтоб было двое!

Это чудо рождается из глубины высоких зеркал, и вскоре они его разгадывают, ибо Природа творит отражения человеческих лиц в каждой лужице, а свой огромный лик отражает в недвижных озерах. Вдоволь наглядевшись на себя, они набредают в углу на изваяние ребенка, восхитительно близкое к идеалу, почти достойное стать провидческим подобием их будущего первенца.

Скульптура на уровне совершенства естественнее картины, и кажется, будто ее породила сама натура, как лист или цветок. Мраморное дитя как бы скрасило нашей чете одиночество; к тому же в нем был намек на тайны прошлого и грядущего.

— Муж мой! — шепчет Ева.

— Что скажешь, моя дорогая Ева? — откликается Адам.

— Хотела бы я знать, одни ли мы на свете, — продолжает она, немного пугаясь мысли об иных существах. — Что за дивный малыш! Он живой или нет? Или только похож на живого, вроде наших отражений в зеркале?

— Как знать! — отвечает Адам, прижимая ладонь ко лбу. — Кругом сплошные тайны. Мне то и дело кажется, что вот-вот все станет понятнее, — но нет, не становится. Ева, Ева, неужто мы идем по следам существ, в чем-то подобных нам? Если так, то где же они? И почему тогда их мир для нас непригоден?

— Все это ведомо лишь Вышнему Отцу, — ответствует Ева. — Но я почему-то уверена, что мы не навечно одни. Как будет хорошо, если в нашей жизни появятся такие вот чудесные существа!

Они проходят по дому и везде распознают приметы человеческого бытия, теперь, в свете новой

догадки, для них более любопытного. Повсюду явственны изящество и грация женщины, видны следы ее милых забот. Ева перебирает рукоделие в рабочей корзинке, по наитию сует в наперсток розовый кончик пальца, берет в руки вышивку, пламенеющую неживыми цветами, — в одном из них красавица исчезнувшей расы оставила воткнутую иголку. Как жаль, что судный день помешал окончить такое полезное дело! Еве почти что кажется, будто и она это сумеет. А вот открытое фортепьяно. Она небрежно трогает клавиши, и рождаются внезапные созвучия: стихийные, как аккорды эоловой арфы, — но в этих точно слышится праздничный танец ничем пока не отягощенной жизни. За какой-то невзрачной дверью обнаруживается метла, и Ева, которой не чуждо ничто женское, смутно чувствует некую надобность в ней. В другом покое они видят ложе с балдахином и прочее убранство роскошной спальни. Груда опавшей листвы пришлась бы им более кстати. Они входят в детскую и недоуменно разглядывают рубашечки и чепчики, башмачки и кроватку, где простыни еще хранят отпечаток маленького тельца. Адам едва замечает все эти пустяки, зато Ева впадает в глубокое раздумье, из которого ее нелегко вывести.

Буквально как на грех, здесь, в особняке, был назначен большой званый обед на тот самый день, когда всю семью вместе с гостями отозвали в неведомые сферы беспредельного пространства. Когда пробил роковой час, стол был уже накрыт и вся честная компания за него усаживалась. Адам и Ева без спросу явились на угощение; оно хоть и простыло, однако являло собой превосходнейший набор яств, лакомых для их земных предшественников. Вообразите же замешательство неприхотливой четы, пытающейся отыскать хоть что-нибудь для своей первой трапезы за столом, рассчитанным на самые взыскательные вкусы избранного общества. Посвятит ли их Натура в тайну тарелки черепахового супа? Придаст ли она им отваги, дабы посягнуть на олений окорок? Откроет ли им достоинства парижских паштетов с последнего парохода, пересекшего Атлантику? А не заставит ли она их, напротив, с омерзением отвернуться от рыбы, дичи и мясного, которые оскорбляют их свежее обоняние смрадом смерти и тлена? Пища? Да ни одно из этих кушаний им пищей не кажется.

По счастью, однако, на соседнем столе приготовлен десерт. Адам, чей аппетит и животное чутье острее, чем у Евы, обнаруживает эту при-

емлемую снедь и восклицает:

— Вот, милая Ева, вот она, пища!

— Хорошо, — соглашается та с повадкой будущей хозяйки, — раз уж мы нынче были так заняты, сойдет и обед на скорую руку.

И Ева подходит к столу и берет из руки мужа краснощекое яблоко, словно искупая роковое подношение своей предшественницы нашему общему праотцу. Она вкушает его без греха и, будем надеяться, без пагубных последствий для потомства. Не излишествуя, они вволю насыщаются плодами — хоть и не райскими, однако ж взращенными из семян, посеянных в Эдеме. Так утоляют они свой первозданный голод.

— А что будем пить, Ева? — спрашивает Адам.

Ева рассматривает бутылки и графины: видя в них жидкость, она, естественно, думает, что за питьем дело не станет, — но никогда еще кларет, рейнвейн и мадера с их душистыми и тонкими ароматами не внушали такого отвращения.

— Фу, гадость! — восклицает она, понюхав несколько вин. — Нет, видно, те, прежние, были совсем другие: ни еда их, ни питье нам не годятся!

— Пожалуйста, дай мне вон ту бутылку, — просит ее Адам. — Если кто-то мог это пить, могу и

я смочить горло.

Попеняв на его своеволие, Ева берет бутылку шампанского, но пугается внезапного хлопка пробки и роняет ее на пол. Пролитый напиток, шипя, выдыхается попусту. А если б они его отхлебнули — изведали бы то краткое помешательство, которым, будь оно вызвано нравственными или физическими причинами, люди пытаются возместить безмятежные и непреходящие отрады, утраченные в разладе с Природой. Наконец Ева находит в леднике стеклянный кувшин с водой, студеной и кристально чистой, будто сейчас из горного ключа. Питье это столь живительно, что они вопрошают один другого, уж не такая ли самая драгоценная влага струится в их жилах.

— А теперь, — молвит Адам, — надо нам заново попытаться разгадать, что это за мир и зачем мы сюда посланы.

— Как зачем? Чтобы любить друг друга! — восклицает Ева. — Разве этого мало?

— Конечно же, нет, — отвечает Адам, целуя ее. — И все-таки не знаю почему, но само собой разумеется, что у нас есть какое-то дело. Может быть, мы как раз и должны взобраться на небеса — ведь они куда прекрасней земли.

— Хорошо бы мы уже сейчас там оказались, —

вздыхает Ева, — и нас бы не разделяли никакие дела и обязанности!

Они покидают гостеприимный особняк, и мы видим затем, как они спускаются по главной улице города. Часы на старой ратуше показывают ровно полдень, и в этот свой звездный миг биржа должна бы являть собой живейший символ единственно важного для множества былых обывателей жизненного занятия. Этому занятию положен конец. Улица обрела покой вечной Субботы, и даже мальчишка-газетчик не кидается к одинокой паре прохожих с грошовым приложением к «Таймс» или «Мейл» — полным отчетом о давешней ужасной катастрофе. Из всех застоев, какие знавали торговцы и перекупщики, этот наихудший, ибо, на их-то взгляд, обанкротилось само творение. Да, что ни говори, а жаль. Жаль тех магнатов, которые только что стяжали вожделенное богатство! Жаль тех прозорливых дельцов, которые столько лет посвятили своей многосложной и хитроумной науке и едва овладели ею, как трубный глас возвестил вселенское банкротство! Неужто они были так беспечны, что не запаслись ни валютой страны, куда навеки отбыли, ни векселями, ни аккредитивами от неимущих землян к небесным казначеям?

Адам и Ева заходят в банк. Не беспокойтесь — вы, чьи сбережения там хранятся. Теперь они вам больше не нужны. Не зовите полицию! Каменья мостовой и червонцы из сейфов равны в цене для этой бесхитростной четы. Они черпают пригоршнями яркое золото и для забавы подбрасывают монеты, глядя, как звонкая дребедень сыплется сверкающим дождем. Им невдомек, что каждый из этих желтых кружочков вчера еще имел колдовскую власть над людьми: приводил в трепет сердца и отуманивал нравственное чувство. Пусть же на миг замрут открыватели нашего прошлого. Они открыли движущую силу, сущий корень той напасти, что въелась в нутро человека и своей мертвой хваткой изничтожила его исконную природу. Но юным наследникам всех сокровищ земных эта напасть не страшна. Вот они, сокровища: кипы банкнот, чародейных кусочков бумаги, некогда способных единым духом воздвигать волшебные дворцы и творить всяческие гибельные чудеса, хотя сами-то они были всего лишь призраками денег, тенями тени. Как похожа эта сокровищница на разоренную пещеру колдуна: всевластный магический жезл изломан, блеск обаяния погас, и пол усеян разбитыми талисманами и безжизненными ли-

чинами, еще недавно демонскими!

— И везде-то, милая Ева, — замечает Адам, — нам попадаются разные кучи мусора. Я уверен, что их громоздили нарочно, только вот зачем? А может быть, мы тоже нагромоздим? Что если в этом и есть наше призвание?

— Ой, нет, нет, Адам! — протестует Ева. — Тогда уж лучше тихо сидеть и смотреть в небеса.

Они покидают банк, и пожалуй, вовремя: задержались бы еще — и наверняка наткнулись бы на какого-нибудь скрюченного подагрика, старикашку-капиталиста, чья душа не сможет упокоиться нигде, кроме как в сейфе, возле своих сбережений.

Потом они заходят в ювелирный магазин. Им нравятся сверкающие каменья: Адам дважды обвивает чело Евы нитью прекрасных жемчужин и закалывает свой плащ великолепной алмазной брошью. Благодарная Ева радостно любуется собой в ближайшем зеркале, но вскоре, заметив вазу с букетом роз и других свежих цветов, отбрасывает бесценные перлы и украшает волосы более чарующими драгоценностями природы. Они пленяют ее не одной красотой, но и встречным трепетом.

— Конечно же, они живые, — говорит она

Адаму.

— Да, наверное, — отзывается тот, — и похоже, что им в этом мире так же неуютно, как нам.

Ни к чему неотступно следовать по пятам за нашими изыскателями, которым их Творец доверил вынести неосознанный приговор трудам и обычаям исчезнувшей расы. К этому времени они, наделенные быстрым и цепким разумом, начинают постигать назначение многих окружающих вещей. Догадываются они, например, что городские здания воздвигнуты не той созидательной волей, которая сотворила мир, а существами, отчасти подобными им самим, для собственного благоустройства. Но как им взять в толк, отчего, помимо великолепных жилищ, построены жалкие, убогие лачуги? Откуда у них возьмется представление о рабской зависимости? И скоро ли уразумеют они тот подавляющий и прискорбный, повсюду очевидный факт, что одни былые обитатели Земли купались в роскоши, а другие — огромное большинство — в поте лица своего добывали скудное пропитание? Отнюдь не к лучшему изменятся их сердца, прежде чем они поймут, что первозданный завет Любви полностью отвергнут, раз один брат нуждается в том, что в избытке есть у другого. Когда же ум их

сможет это вместить, то у новых землян не станет особых причин превозноситься над прежними, забракованными.

Мало-помалу они выходят за черту города, и вот стоят на травянистой вершине холма, у подножия гранитного обелиска[84], указующего в небо точно громадный перст — зримый символ людского семейственного согласия, приснопамятной жертвы, принесенной в знак общего молитвенного благодарения. Величавая вышина монумента, истовая простота и явная непричастность низменным нуждам так впечатляют Адама и Еву, что им видится за всем этим чувство куда более чистое, нежели то, какое думали выразить его создатели.

— Смотри, Ева, — молвит Адам, — это словно призыв к молитве.

— Так давай же помолимся, — откликается она.

Простим этим бедным детям, у которых нет ни отца, ни матери, их нелепую ошибку насчет смысла памятника, заложенного мужчиной и завершенного женщиной на достославной

---

[84] Примечания: 84

На горе Банкер-хилл близ Бостона находится мемориальный обелиск в честь первой битвы (17 июня 1775 г.) Войны за независимость, заложенный генералом Лафайетом в 1825-м и завершенный в 1843 г.

Банкер-хилл. Ведь что такое война, они знать не знают и не могут сочувствовать отважным ревнителям свободы, пока угнетение остается для них непостижимой тайной. А если бы им открылось, что эти мирные зеленые склоны были некогда усеяны трупами и обагрены кровью, их бы одинаково изумило и то, что какие-то люди когда-то учинили здесь побоище, и то, что их потомки торжественно увековечили память о кровопролитии.

Исполненные восхищения, бредут они по зеленым лугам и вдоль берега тихой реки. На время отведем от них взгляд, а снова их завидим у крыльца серого каменного здания готической архитектуры, где от старого мира осталось лишь то, что он сам счел за благо запомнить, — возле книжной сокровищницы Гарвардского университета.

Дотоле ни одному студенту не доводилось наслаждаться таким одиночеством и такой тишиной, какая воцарилась теперь в глубинах библиотеки. Не очень-то, впрочем, понимают и нынешние ее посетители, что за возможности им предоставлены, однако же Адам озадаченно озирает длинные ряды корешков, стройные громады человеческих знаний, нависающих друг над

другом с пола до потолка, берет увесистый том, который сам собой раскрывается у него в руках, как бы овеивая духом автора еще нетронутый, незапятнанный разум новоявленной смертной твари. Адам стоит и разглядывает ровные столбцы загадочных значков, словно вникая в них, ибо непонятный смысл страницы таинственно сроден его уму и тяготит, как вскинутое на плечи бремя. Что-то его даже мучительно смущает, он силится припомнить сам не ведая что. Ох, Адам, не спеши, не спеши — пройдет еще добрых пять тысяч лет, прежде чем ты наденешь очки и зароешься в книги!

— В чем тут дело? — произносит он наконец. — Знаешь, Ева, мне, право, будто нужнее всего разгадать тайну этой большой и тяжелой вещи с таким множеством тоненьких черточек внутри. Взгляни! Она смотрит мне в лицо, ну вот-вот заговорит!

По женскому наитию Ева раскрыла томик модного поэта, несомненно самого удачливого из земных стихотворцев: ведь его творения остались в чести, когда все великие искусники лиры канули в Лету. Но пусть призрак его не слишком ликует! Единственная дама на свете роняет книжку и весело смеется, глядя на озабоченного

мужа.

— Дорогой Адам, какой ты задумчивый и грустный! Брось ты эту глупую вещь: если даже она и заговорит, незачем ее слушать. Давай разговаривать друг с другом, с Небесами, с зеленой землей, с ее деревьями и цветами. Их наука лучше и нужнее для нас.

— Что ж, Ева, наверное, ты права, — отвечает Адам с легким вздохом. — И все-таки, мне кажется, здесь нашлись бы ответы на те загадки, среди которых мы целый день блуждаем.

— А может быть, лучше и не искать ответов, — настаивает Ева. — Не знаю, по-моему, здесь словно бы нечем дышать. Коль ты меня любишь, пойдем отсюда!

Настояв на своем, она спасает его от таинственной книжной пагубы. Вот благодатное женское влияние! Побудь он там еще немного, пока не отыскался бы ключ к библиотечным сокровищам — что не так уж невероятно: ведь рассудок у него человеческий, да вдобавок собственная хватка и проницательность, — и превратился бы в ученого, и грядущий хронограф нашего злополучного мира вскоре поведал бы о грехопадении второго Адама, вкусившего роковое яблоко с иного Древа Познания. Все ухищрения

и измышления, мнимая мудрость, столь живо сходствующая с подлинной; все убогие истины, столь ущербные, что становятся обманчивей всякой лжи; все дурные принципы и злостные их порождения, гибельные примеры и превратные жизненные правила; все благовидные теории, обращавшие мир в морок, а людей — в тени; весь печальный опыт, который человечество стяжало за столько веков и из которого никогда не умело извлечь нравственных уроков на будущее, — все это нагромождение сокрушительной учености враз обрушилось бы на голову Адама. Ему бы только и осталось, что поднять бестолково оброненное нами жизненное бремя и пронести его еще немного.

А в своем блаженном неведении он все-таки вновь порадуется нашему изношенному миру. Пусть даже он, как и мы, добром не кончит, зато хоть волен — а это вовсе не пустяк — ошибаться на свой страх и риск. И его литература, которая объявится с веками, не будет тысячекратным отзвуком нашей поэтической мысли, повторением образов, созданных нашими великими песнотворцами и повествователями; в ней зазвучат напевы, неслыханные на Земле, и скажутся достижения ума, чуждого нашим понятиям. Пускай

же библиотечные тома покрываются многовековым слоем пыли, и в свой срок пусть обрушатся на них своды книгохранилища. Когда у потомков второго Адама накопится столько же своего мусора, тогда и настанет для них время перекапывать наши руины и сравнивать литературные свершения двух независимых рас.

Но мы заглядываем слишком далеко вперед. Видимо, это слабость тех, у кого за плечами большое прошлое. Вернемся лучше к новым Адаму и Еве, которым пока заменяют память смутные и зыбкие видения предбытия, и с них довольно счастья в настоящем.

День близится к закату, когда наши странники, не обязанные жизнью мертвым прародителям, оказываются на кладбище Маунт-Оберн. С легким сердцем, очарованные обоюдной вечерней прелестью земли и небес, бредут они по извилистым тропкам, среди мраморных колонн и подобий храмов, среди урн, обелисков и саркофагов, то останавливаясь и разглядывая воплощения людского вымысла, то любуясь цветами — природным убранством, скрашивающим зрелище тления. Способна ли смерть в окружении символов своего извечного торжества внушить им, что они в свой черед подъемлют тяжкую ношу

бренности, которую сложил с себя целый сгинувший род? Правда, родной им прах никогда еще не покоился ни в какой могиле. Но разве не узнают они, и очень скоро, что Время и законы природы имеют неодолимую власть над их телами? Это весьма вероятно: немало теней омрачило их солнечный первоначальный день, и уже могла возникнуть мысль о несообразности души с условиями земной жизни. Они уже поняли, что многое придется отбросить, и предвидение смерти если еще не осенило их, то притаилось где-то рядом. Но вздумай они ее представить — и она приняла бы образ улетающей ввысь бабочки, или светлого ангела, манящего их в небеса, или же спящего ребенка, чьи тихие сны сквозят на его чистом челе.

И такое беломраморное дитя предстало их взорам среди надгробий Маунт-Оберна.

— Любимая Ева, — молвит Адам, когда они рука об руку созерцают прекрасное изваяние, — вот и солнце покинуло нас, и весь мир пропадает из виду. Давай же уснем, как спит этот дивный малыш. Только Отец наш ведает, что из нынешних обретений мы завтра навсегда утратим. Но если даже наша земная жизнь исчезнет вместе с гаснущим светом, можно ли сомневаться, что на

другое утро улыбка Господня озарит нас в ином мире? Я чувствую, что он даровал нам благодать существования, и даровал навеки.

— И не важно, где мы окажемся, — добавляет Ева, — потому что мы всегда будем вместе.

Чертог фантазии

От случая к случаю я, бывало, оказывался в некоем здании, отдаленно напоминающем столичную биржу, и попадал в мощенный белым мрамором пространный чертог, высокие своды которого опираются на длинные колоннады причудливого облика — подобия то ли мавританских руин Альгамбры, то ли какого-то волшебного дворца из арабских сказок. Огромные, величественные, искусно отделанные окна не имеют себе равных — разве что в средневековых готических соборах. Как и в них, небесный свет проникает сквозь мозаичные стекла, наполняя чертог многоцветным сиянием, и разрисовывает мраморные плиты дивными, порой гротескными, узорами; так что здесь, можно сказать, полной грудью вдыхают видения и попирают стопами создания поэтического вымысла. Здесь царит сумбурная путаница стилей: античного, готического, восточного и неописуемого — мешанина, какой обычно не позволяет себе даже американский зодчий; и похоже, будто все это строение не более чем греза, которая вот-вот раз-

веется, разлетится вдребезги, лишь топни ногою об пол. Однако ж со всеми доделками и переделками, каких потребуют грядущие века, чертог фантазии, пожалуй, переживет самые прочные сооружения, когда-либо бременившие землю.

Отнюдь не всегда открыт доступ в это здание, хотя почти всякий раньше или позже попадает туда — если не наяву, то во всепроникающем сне. Прошлый раз я забрел туда ненароком: был занят праздным сочинительством и вдруг, себе на удивление, очутился посреди невесть откуда взявшейся толпы.

— Батюшки! Куда это меня занесло? — воскликнул я, оглядываясь и что-то смутно припоминая.

— Ты в таком месте, — отозвался друг, возникший рядом, — которое в мире воображения столь же существенно, сколь Ди Берзе, Иль Риальто, а по-нашему — биржа, существенны в коммерческом мире. Все, у кого есть дела за пределами действительности, в заоблачной, подземной или внеземной сфере, могут здесь встретиться, обсудить и взвесить свои грезы.

— Великолепный чертог, — заметил я.

— Да, — согласился он. — И ведь это лишь малая часть здания. Говорят, на верхних этажах есть залы, где земляне беседуют с обитателями

Луны, а мрачные подвалы сообщаются с адскими пещерами: там заточенные чудища и химеры вкушают свою мерзостную пищу.

В нишах и на пьедесталах у стен виднелись статуи или бюсты былых повелителей и полубогов царства воображения и смежных с ним областей. Величавый древний лик Гомера; иссохшее, хилое тельце и оживленное лицо Эзопа; сумрачный Дант и неистовый Ариост; заядлый весельчак улыбчивый Рабле; Сервантес с его проникновенным юмором; несравненный Шекспир; мастер красочного и меткого иносказания Спенсер; суровый богослов Мильтон и простецкий, но исполненный небесного огня Беньян — эти обличья бросились мне в глаза. Видные постаменты занимали Филдинг, Ричардсон и Скотт. Неприметная, укромная ниша приютила бюст нашего соотечественника, создателя «Артура Мервина»[85].

— Помимо этих несокрушимых памятников подлинному гению, — заметил мой спутник, — каждое столетие воздвигло статуи своих минутных любимцев, древесные изваяния.

— Да, я вижу кое-где их трухлявые останки, —

---

[85] Примечания: 85

«Артур Мервин» (1800) — авантюрно-бытовой роман американского писателя Ч. Б. Брауна (1771–1810), один из первых романов в литературе США.

сказал я. — Но, должно быть, Забвение время от времени дочиста подметает мраморный пол своей огромной метлой. По счастью, подобная судьба нимало не грозит вот этой прекрасной статуе Гете.

— Ни ей, ни соседнему с ней кумиру — Эмануэлю Сведенборгу[86], — подхватил он. — Рождались ли когда-нибудь два столь несхожих между собой властителя дум?

Посреди чертога бьет роскошный фонтан, и его струи создают и поминутно изменяют зыбкие водяные образы, переливающиеся всеми оттенками многоцветного воздуха. Невообразимую живость сообщает сцене этот волшебный струистый танец бесконечных преображений, подвластных прихотям фантазии зрителя. Рассказывают, что в этом фонтане и Кастальском ключе[87] — одна и та же вода; говорят еще, будто она сочетает дивные свойства Источника Юности и многих других волшебных родников, издревле прославленных в сказаниях и песнях. Сам я судить не берусь — никогда ее не пробовал.

---

[86] Примечания: 86

Сведенборг Эмануэль (1688–1772) — шведский ученый, теософ-мистик и духовидец.

[87] Примечания: 87

Родник на горе Парнас, источник поэтического вдохновения.

— А тебе знаком вкус этой воды? — спросил я у друга.

— Случалось отведывать, — ответил он. — Но есть такие, кто только ее и пьет, если верить молве. Известно также, что иной раз эта вода пьянит.

— Пойдем же поглядим на сих водохлебов, — предложил я.

И мы проследовали мимо причудливых колонн к сборищу близ громадного окна, осыпавшего разноцветными бликами людей и мраморный пол. Собрались большей частью лобастые мужчины с важной осанкой и глубокими, задумчивыми взорами; однако же веселость их прорывалась легче легкого, сквозила в самых возвышенных и степенных размышлениях. Одни прохаживались, другие молча, уединенно стояли у колонн; на их лицах застыл восторг, будто они внимали нездешней гармонии или готовились излить душу в песне. При этом кое-кто из них, похоже, поглядывал на окружающих, как бы проверяя, замечают ли его вдохновенный вид. Некоторые оживленно разговаривали между собой, улыбаясь и многозначительно пересмеиваясь — по-видимому, отдавая должное искрометному остроумию друг друга.

Иные беседовали о высоких материях, и глаза их излучали душевный покой и печаль, словно лунный свет. Я помедлил возле них — ибо испытывал к ним влечение сродства, скорее симпатическое, нежели духовное, — а друг мой назвал несколько небезызвестных имен: одни пребывают на слуху уже многие годы, другие с каждым днем все глубже укореняются в общем сознании.

— Бог с ними совсем, — заметил я своему спутнику, проходя далее по чертогу, — с этими обидчивыми, капризными, робкими, кичливыми и безрассудными собирателями лавровых венков. Творения их я люблю, но их самих век бы не встречал.

— Я вижу, ты заражен старинным предубеждением, — отозвался мой друг, большей частью знакомый с этими личностями, сам будучи знатоком поэзии, не чуждым поэтического огня. — Но насколько я могу судить, даровитые люди отнюдь не обделены общественными достоинствами, а в наш век выказывают еще и сочувствие к другим, прежде у них неразвитое. По-человечески они требуют всего лишь равенства с ближними, а как авторы отрешились от пресловутой завистливости и готовы к братским чувствам.

— Никто так про них не думает, — возразил я. — На автора смотрят в обществе примерно так же, как на нашу честную братию в чертоге фантазии. Мы считаем, что им среди нас делать нечего, и задаемся вопросом, по силам ли им наши повседневные заботы.

— Очень глупый вопрос, — сказал он. — Вон там стоит публика, подобную которой что ни день можно встретить на бирже. Но какой поэт здесь, в чертоге, одурачен своими бреднями больше, нежели самый рассудительный из них?

Он указал на кучку людей, которые наверняка оскорбились бы, скажи им, что они в чертоге фантазии. Лица их были изборождены морщинами, и в каждой из них, казалось, таился неповторимый жизненный опыт. Их острые пытливые взгляды вмиг с деловой хваткой распознавали характеры и намерения ближних. С виду их можно было принять за достопочтенных членов Торговой палаты, открывших подлинный секрет богатства и вознагражденных фортуной за мудрость. Разговор их изобиловал достоверными подробностями, маскирующими сумасбродство так, что самые дикие замыслы имели обыденное обличье. И никто не удивлялся, слыша о городах, которые, словно по волшебству, возникнут в лесных

дебрях; об улицах, которые проложат там, где нынче бушует море; о полноводных реках, русла которых будут перегорожены, дабы вращались колеса ткацких станков. Лишь с усилием — и то не сразу — припоминалось, что эти измышления столь же фантастичны, как стародавняя мечта об Эльдорадо, как Пещера Маммона и прочие золотоносные видения, возникавшие в воображении нищего поэта или романтического бродяги.

— Честное слово, — сказал я, — небезопасно внимать таким мечтателям, как эти! Их безумие заразительно.

— Да, — согласился друг, — потому что они принимают чертог фантазии за строение из кирпичей с известкой, а его лиловый полумрак — за немудрящий солнечный свет. Поэт же знает, где находится, и реже оказывается в дураках.

— А вот и еще мечтатели, — заметил я через десяток шагов, — только другого пошиба, особо сродные нашему национальному гению.

Это были изобретатели фантастических механизмов. Модели их устройств стояли у колонн и наглядно являли взорам довольно предсказуемый результат приложения мечтаний к делу. Как в нравственном, так и в физическом мире при этом выходит примерно одно и то же. Име-

лась, например, модель воздушной железной дороги и туннеля, проложенного по дну морскому. Или устройство — наверняка краденое — для выделения тепла из лунного света, а рядом — для сгущения утреннего тумана в гранитные глыбы, из которых воздвигнется заново весь чертог фантазии. Выставлен был также аппарат, выцеживающий солнечный свет из женской улыбки; с помощью этого чудесного изобретения предполагалось озарить всю землю.

— Не вижу ничего нового, — заметил я. — Нашу жизнь и так озаряют главным образом женские улыбки.

— Это правда, — согласился изобретатель, — однако же мой аппарат будет излучать ясный свет денно и нощно — а то пока что источники его весьма ненадежны.

Другой доказывал, что надо закреплять отражения в стоячей воде, дабы получать самые достоверные жизнеподобия; он же объяснял, сколь разумно красить женские платья в ярких закатных облаках. Вечных двигателей было около полусотни: один из них приводил в действие остроумие газетчиков и прочих всевозможных писак. У профессора Эспи имелась ужасная буря в каучуковой сумке. Можно назвать еще немало

утопических изобретений, но если на то пошло, в Вашингтонском бюро патентов воображение куда богаче.

Наглядевшись на изобретателей, мы перешли к другим посетителям чертога. Многие оказались там, вероятно, лишь потому, что какая-то ячейка у них в мозгу, оживляясь мыслью, изменяет их отношение к реальности. Удивительно, как немного остается таких, кто хотя бы изредка не попадал сюда подобным образом: благодаря отвлеченным размышлениям, мимолетным помыслам, живым предчувствиям или ярким воспоминаньям, — ибо даже подлинное становится воображаемым в силу надежды или памяти и заманивает мечтателя в чертог фантазии. Иные несчастливцы приживаются здесь, обзаводятся делами и такими привычками, что теряют всякую способность к подлинным жизненным занятиям. А бывает, хотя и редко, что в отсветах расцвеченных окон кто-то прозревает чистейшую истину, недоступную в нашем мире.

И все же надо возблагодарить Бога за это — пусть небезопасное — прибежище от мрака и холода действительности. Сюда открыт путь узнику — спасительное забвение тесной темницы и ржавых оков, волшебный глоток воздуха свобо-

ды. Страдалец отрывает голову от опостылевшей подушки и находит в себе силы добраться сюда, хотя бессильные ноги не донесут его и до порога. Изгнанник проходит чертогом фантазии в чаянии возвратиться на родину. Бремя лет падает со старческих плеч в тот миг, когда открываются двери чертога. Безутешные оставляют за порогом тяжкие скорби и воссоединяются с теми, кто ушел навеки, чьи лица, утратившие зримый образ, иначе не увидеть. Поистине можно сказать, что для тех, кто не вхож в чертог, жизнь существует лишь наполовину, обернувшись грубой и убогой стороной. И как не упомянуть про вышку с той удивительной подзорною трубой, в которую пастухи Отрадных гор давали поглядеть Христианину, и он видел дальние отблески Града Небесного[88]. Верующие и поныне устремляют взоры к этому зрелищу.

— Я замечаю здесь таких, — сказал я другу, — кто мог бы с полным правом занять место среди самых доподлинных деятелей наших дней.

— Разумеется, — согласился он. — Кто опережает свой век, тот волей-неволей поселяется в этом

---

[88] Примечания: 88

Автор отсылает читателя к роману Д. Беньяна «Путешествие пилигрима» (см. также примечание к рассказу «Железнодорожный путь в Небеса»).

чертоге, пока его догонят отставшие поколения современников, и нет ему иного прибежища во Вселенной. Но сегодняшние бредни назавтра обернутся достовернейшими фактами.

— Однако же их очень трудно различить в зыбком и переливчатом свете этого чертога, — возразил я. — Подлинность проверяется солнечной явью. Я склонен сомневаться и в людях, и в их убеждениях, пока не разгляжу их в этом правдивом освещении.

— Может статься, твоя вера в идеальное глубже, чем ты полагаешь, — сказал мой друг. — Во всяком случае, ты демократ, а по-моему, немалая толика подобной веры требуется для такого вероисповедания.

Среди тех, кто вызвал эти наши замечания, были почти все видные деятели наших дней: реформаторы физики, политики, морали и религии. Нет вернее способа попасть в чертог фантазии, чем отдаться потоку теории: пусть он стремится от факта к факту, но все же по законам природы он притечет сюда. Да будет так, ибо здесь окажутся умные головы и открытые сердца: добротное и истинное мало-помалу обретет надежность, наносы смоются и исчезнут среди цветных бликов. Так что никому из тех, кто радостно уповает на

прогресс человечества, не надо гневаться на меня оттого, что я распознал их апостолов и вождей в радужном сиянии здешних окон. Я их люблю и чту не меньше, чем иные-прочие.

Но мы рискуем не выбраться из несметной толпы настоящих и самозваных преобразователей, скопившихся в здешнем своем прибежище. Их породило наше беспокойное время, когда человечество пытается напрочь избавиться от тенет застарелых предрассудков, точно от ветхого платья. Многие из них разжились каким-нибудь хрустальным осколком истины, сверканье которого так ослепило их, что они уж больше ничего не видят в целой Вселенной. Были здесь такие, чья вера воплотилась в виде картофелины; другие отращивали длинные бороды, исполненные глубокого духовного смысла. Был тут аболиционист, потрясавший своей единственной мыслью словно железным цепом. Словом, тысячи обликов добра и зла, веры и безверия, мудрости и нелепицы — на редкость бестолковая толпа.

И все же сердце самого несгибаемого консерватора, если только он вконец не отрешился от человечности, бывало, билось в унисон с одержимостью этих бесчисленных теоретиков. Чересчур хладнокровным полезно было прислушаться

даже и к их глупостям. В душевной глубине, недосягаемой для разума, таится понимание, что все эти различные и несообразные людские домыслы спаяны единым чувством. Сколь сумасбродной ни становилась бы чья-нибудь теория при содействии его же воображения, мудрый распознает в ней порыв нашей расы к жизни лучшей, более достойной, нежели та, что пока сбывалась на земле. И хотя я отвергал все их предначертания, вера моя укреплялась. Не может быть, чтобы мир остался навек неизменным: юдолью, где столь редки цветы Счастья и столь часто гнилостны плоды Добродетели; полем брани, на котором добрая воля, воздев щит над головой, едва ли устоит под натиском враждебных сил. Одушевленный такими мыслями, я взглянул в разноцветное окно, и — о диво! — весь внешний мир был подернут смутной прельстительной дымкой, обычной в чертоге фантазии, так что казалось уместным тотчас же как-нибудь облагодетельствовать человечество. Но увы! Коль реформаторы хотят понять, что за судьба уготована их реформам, им не должно глядеть в разноцветные окна. Однако ж они не только глядят, но и принимают их за окна в мир.

— Пойдем, — сказал я другу, очнувшись от

задумчивости, — пойдем поскорее, а то и я, чего доброго, состряпаю какую-нибудь теорию — и тогда пиши пропало.

— Ладно, пойдем вон туда, — отозвался он. — Вот она, теория, которая поглотит и изничтожит все остальные.

Он повел меня в дальний конец зала, где толпа увлеченных слушателей сгрудилась вокруг пожилого оратора, с виду простоватого, добропорядочного и благообразного. Истово, как и подобает безоглядно верующему в собственное учение, он провозглашал близкий конец света.

— Да это же преподобный Миллер![89] — воскликнул я.

— Он самый, — сказал мой друг, — и заметь, сколь выразителен контраст между вероучением его и реформаторов, на которых мы только что нагляделись. Они взыскуют земного совершенства в человецех, измышляют, как сроднить бессмертный дух с физической натурой на все грядущие века. А тут на тебе, является добрейший отец Миллер со своими беспощадными умозрениями и одним махом развеивает все их мечты, точно порыв ветра осенние листья.

---

[89] Примечания: 89

Миллер Уильям (1782–1849) — один из основоположников секты адвентистов в США.

— А может, это единственный способ вызволить человечество из путаницы всевозможных затруднений, — отозвался я. — Но все же хотелось бы, чтобы мир получил дозволение существовать, доколе не явит великого нравственного урока. Предложена загадка. Где ее разрешение? Ведь сфинкс не сгинул, пока не разгадали его загадку. Неужто с миром будет иначе? Ведь если завтра утром его пожрет огонь, то я ума не приложу, какой замысел он воплощал, чем умудрила или облагодетельствовала Вселенную наша жизнь и наша гибель.

— Почем знать, что за грандиозные истины выявило бытие земного шара с его обитателями, — возразил мой спутник. — Возможно, нам это откроется вслед за тем, как занавес падет над свершением наших судеб; или же вполне вероятно, что действо, невольными участниками коего были мы, разыгрывалось в поучение совсем иным зрителям. Вряд ли наше понимание сколько-нибудь существенно для дела. Во всяком случае, кругозор наш смехотворно узок и недалек, и нелепо ожидать продолжения всемирной истории лишь оттого, что нам кажется, будто мир доселе жил зря.

— Бедная старушка Земля, — вздохнул я. — По

совести говоря, изъянов у нее хватает, но смириться с ее гибелью я не смогу.

— Невелика беда, — сказал мой друг. — Счастливейшим из нас земная жизнь то и дело становилась поперек горла.

— Сомневаюсь, — не уступал я. — Человеческая природа глубоко укоренена в земной почве, и мы весьма неохотно поддаемся пересадке, даже ради вышнего процветания на небесах. Едва ли светопреставление порадует хоть кого-нибудь — разве что прогоревшего бизнесмена, которому днем позже рокового грозили платежи.

Тут мне послышались многоголосые крики протеста против развязки, возвещенной преподобным Миллером. Любовник отстаивал перед лицом Провидения свое право на вожделенное блаженство. Родители заклинали продлить отпущенные Земле сроки лет на семьдесят, дабы не обделить жизнью их новорожденное дитя. Юный поэт сетовал на то, что за отсутствием потомков некому будет оценить его вдохновенные песни. Реформаторы дружно требовали несколько тысяч лет для испытания своих теорий, а уж потом Вселенная пусть себе гибнет. Инженер, корпевший над паровой машиной, просил немного времени на доработку модели. Скупец заявлял,

что крушение мира кровно обидит его, если ему не дадут перед этим пополнить такой-то суммой свою огромную кучу золота. Маленький мальчик жалобно спрашивал: неужто конец света случится до Рождества и ему, значит, не достанется вкусного гостинца? Короче, никто не был доволен ближайшим разрешением смертной участи. Надо признать, однако, что звучавшие из толпы требования продолжать представление были донельзя несуразны, и если Безграничная Мудрость не располагает доводами поубедительнее, то земной тверди следовало бы немедля расплавиться.

Я же, хоть не совсем бескорыстно, зато вполне искренно, желал продления жизни нашей дорогой престарелой Матери-Земли ради нее самой.

— Бедная старушка Земля! — повторил я. — Если она сгинет, мне будет жальче всего ее земного облика, который не обновится и не восполнится ни в каких иных пределах, ни в каком другом состоянии. Благоуханию цветов или свежего сена, мягкому солнечному теплу и прелести закатных облаков, уютному и радушному жару очага, вкусноте фруктов и упоению всякого доброго веселья, великолепию гор, морей и водопадов и тихому очарованию деревенского пейзажа, даже густому снегопаду в сером полусвете — всему

этому и многим-многим другим явлениям Земли суждено исчезнуть вместе с нею! А сельские празднества, незатейливый юмор, безудержный хохот во все горло, так бурно сливающий душу с телом! Боюсь, ни в каком ином мире нас не ждет ничего подобного. Конечно, чисто нравственные отрады добрые люди найдут в любых состояниях бытия. Но если нравственное и материальное нераздельны, что тогда? А наши бессловесные четвероногие друзья, а крылатые певуны наших лесов? Разве мы не вправе тосковать по ним, хотя бы и в благодатных райских кущах?

— Твоими устами глаголет живой дух земли, от них веет запахом свежевспаханной борозды! — воскликнул мой приятель.

— Пусть бы одного меня лишили этих отрад, — продолжал я, — но ужасно думать, что они навек исчезнут из людского обихода.

— Вовсе не обязательно, — возразил он. — По мне, твоим речам недостает убедительности. Здесь, в чертоге фантазии, яснее ясного, на что способен даже наш низменный ум по части жизнетворчества, заведомо призрачного и химеричного, но не отстающего в этом от подлинной действительности. Вот и не сомневайся, что развоплощенный гений человека сам по себе

воссоздаст Время и Мир со всеми их отрадами, коль они будут желанны в жизни вечной и беспредельной. Только вряд ли нам захочется заново разыгрывать столь жалкое действо.

— О, как ты неблагодарен по отношению к нашей Матери-Земле! — вскричал я. — Будь что будет, я навек останусь верен ее памяти! И мне мало ее воображаемого существования. Хочу, чтобы она, большая, круглая и прочная, пребывала нескончаемо, по-прежнему заселенная разлюбезным родом людским, который, по-моему, куда лучше, чем сам о себе мнит. Однако ж я во всем положусь на Провидение и постараюсь жить так, чтобы в любой миг, если настанет конец света, обрести точку опоры где-либо в мирах иных.

— Превосходное решение, — сказал мой спутник, взглянув на часы. — Но чу! Настало время обеда. Не угодно ли разделить со мною растительную трапезу?

Приглашение к обеду во всей своей заурядности, даром что ничего сытнее овощей и фруктов не предвиделось, сподвигло нас тотчас покинуть чертог фантазии. На выходе, у портала, нам повстречался сонм новоприбывших теней, доставленных сюда силою сонного магнетизма. Я оглянулся на лепнину колонн, на переливчатое

блистание фонтана — и почти пожелал, чтобы вся жизнь моя протекала в этой обители воображения, где нельзя ушибиться о твердые углы действительного мира, видимого лишь сквозь цветные окна. Но для тех, кто изо дня в день слоняется по чертогу фантазии, прорицание добрейшего отца Миллера уже сбылось, и прочная земля наша обрела безвременный конец. Давайте же лишь изредка наведываться туда, дабы одухотворять грубую жизненную действительность и представлять себе то состояние мира, при котором идея станет всецелостью бытия.

Ведомство всякой всячины

Строгий чиновник в непроницаемых очках на носу и с пером за ухом восседал в углу столичного учреждения. Перегороженная стойкой комната присутствия была обставлена просто и по-деловому; помимо углового стола в ней имелся дубовый шкаф и пара стульев. По стенам висели объявления о потерях, пожеланиях и предложениях: сюда подпадало почти все, что человек измыслил для своего удобства или неудобства. В комнате было полутемно, отчасти из-за высоких зданий на той стороне улицы, отчасти же из-за огромных малиново-синих афиш, закрывавших все три окна. Ни топот башмаков, ни рокот колес, ни гул голосов, ни выкрики разносчиков, ни вопли газетчиков, ни другие отзвуки многолюдной жизни, бурлившей за стенами конторы, не отвлекали чиновника, углубленного в фолиант, по размеру и виду точь-в-точь бухгалтерский гроссбух. Он казался духом регистрации — душой этого громадного тома, воплотившейся в земную форму.

Но чуть не каждую минуту в дверях появлялся очередной представитель занятого люда,

который так шумел, топотал и галдел рядом с ведомством.

То это был деятельный механик в поисках помещения, каковое было б ему по карману; то краснощекая девушка-ирландка с берегов Килларнийских озер, скиталица по американским кухням, оставившая сердце в торфяном чаду родной хижины; то одинокий джентльмен, чающий скромного пансиона, а иногда — ведь сюда проникали все, какие есть, мирские устремления — увядшая красотка, желающая вернуть расцвет молодости; Петер Шлемиль, требующий возвратить ему тень; автор с десятью годами сочинительства за плечами, отыскивающий утраченную репутацию, или просто угрюмая особа, тоскующая по прошлогоднему снегу.

Дверь опять отворилась, и вошел некто в шляпе набок и в платье с чужого плеча; глаза его разъезжались врозь, и с головы до ног он был какой-то неприкаянный. Во дворце и в хижине, в храме и на рынке, на суше и на море или даже у собственного камина — всюду он очевидно и обязательно оказался бы не в своей тарелке.

— Это оно и есть, — вопросил он чрезвычайно утвердительно, — Главное ведомство всякой всячины?

— Точно так, — ответил чиновник из-за стола, переворачивая страницу. Затем взглянул в лицо просителю и коротко осведомился: — Что вам угодно?

— Мне нужно, — объявил тот с трепетным напором, — нужно место!

— Место? Какого же свойства? — спросил Посредник. — Вакансий много, а нет — так будет, какая-нибудь, верно, подойдет, есть всякие — от лакея до тайного советника, в кабинете министров, на троне или в президентском кресле.

Незнакомец, задумавшись, подступил к столу с беспокойным, недовольным видом — слегка нахмуренный его лоб выказывал глухую и смутную сердечную тревогу, а ищущий взгляд просил и ожидал, но очень уклончиво, как бы не доверяя. Словом, он явно имел настоятельную надобность, не физическую и не умственную, а нравственную, но почти заведомо неисполнимую, потому что не знал, чего ему надо.

— Ах, да вы не понимаете! — сказал он наконец, раздраженно отмахнувшись. — Любое, какое угодно из упомянутых вами мест мне может вполне подойти, а вернее сказать, ни одно не подойдет. Мне нужно мое место — мое собственное, мое настоящее место на свете! Мое подлинное

призвание, для которого предназначила меня природа, смастерив кое-как, и которое я попусту ищу всю жизнь! Стоять на запятках или сидеть на троне — это мне все равно, лишь бы заниматься своим делом. Вы можете мне в этом помочь?

— Регистрирую вашу заявку, — ответил Посредник, написав несколько строк в своем гроссбухе. — Однако, скажу откровенно, вовсе не обязуюсь ее исполнить. Добро бы вы просили о том или о сем: и то и се более или менее достижимо на известных условиях, — но чтобы угодить именно вам, надо оставить в претензии почти весь город; уж очень у вас много товарищей по несчастью.

Проситель впал в полнейшее уныние и удалился за дверь, более не поднимая глаз, и если он с горя умер, то его, должно быть, схоронили в чужой могиле: ведь от таких людей рок не отступается ни на миг, и они, живые или мертвые, неизменно пребывают не на своем месте.

Почти тотчас послышались другие шаги. Порог поспешно переступил юноша и окинул помещение взглядом, словно хотел удостовериться, что Посредник здесь один, подошел к самому столу, по-девичьи краснея и явно затрудняясь изложить свое дело.

— Вы пришли по делам сердечным, — сказал чиновник, рассматривая его сквозь таинственные очки. — Излагайте в двух словах.

— Вы правы, — отозвался юноша. — Мне нужно избавиться от сердца.

— Обменять? — сказал Посредник. — Глупый юнец, почему ты недоволен своим?

— Да потому, — воскликнул молодой человек, разволновавшись и забыв о смущенье, — что у меня не в меру пылкое сердце; оно изводит меня с утра до вечера, все чего-то жаждет, лихорадочно колотится, ноет от смутной тоски; из-за него я в трепете просыпаюсь среди ночи, хотя бояться-то совершенно нечего! Нет больше сил это терпеть. Такое сердце лучше всего выбросить, даже если ничего не получишь взамен!

— Ладно, ладно, — заметил чиновник, ставя пометку в своем фолианте. — Дело ваше легче легкого. Я часто занимаюсь такого рода посредничеством, и выбор тут всегда большой. Да вот, если не ошибаюсь, несут прекрасный образчик.

При этих его словах дверь тихонько приотворилась, являя глазу стройную фигурку юной девицы, которая, робко вступив в эту мрачноватую комнату, казалось, принесла с собою отблеск света и отзвук веселости. Мы не знаем, зачем

она пришла; не знаем и того, препоручил ли ей свое сердце этот молодой человек. Если препоручил, то состоялась сделка не лучше и не хуже, чем девяносто девять из ста, в которых сходство возрастных вкусов, легкое увлечение и нетребовательная приязнь подменяли более глубокую симпатию.

Впрочем, не всегда удавалось так просто управиться со страстями и увлечениями. Бывало — положим, редко, раз-другой на тысячу заурядных случаев, но все же бывало, — что приносили сердце столь превосходное по материалу, столь дивной закалки и так тонко отделанное, что ничего под стать ему не находилось. С житейской точки зрения обладателя такого бриллианта чистой воды можно было считать почти несчастным, ибо представлялось вероятнее всего, что менять его придется на обычный камушек, на кусок ловко обработанного стекла или в лучшем случае на самоцвет хоть и драгоценный, но в дурной оправе либо с роковым недостатком, с каким-нибудь черным изломом в самой середине. Если взять иной ряд подобий, то прискорбно, что сердца, питавшиеся родником бесконечности, вмещавшие неисчерпаемое сочувствие, бывают обречены полнить мелкие сосуды и,

стало быть, попусту изливать свои сокровища наземь. Странно, что более тонким и глубоким натурам, мужским или женским, наделенным изощреннейшим чутьем, так часто недостает самого бесценного — инстинкта самосохранения от заразы низости! Иной раз, правда, духовный источник содержится в чистоте, сам себя сберегая, и сливает свое сверканье со светом небесным, ничуть не замутившись той земной грязью, из которой взмыл ввысь. А иногда и здесь, на земле, чистота сливается с чистотой и неисчерпаемость вознаграждается бесконечностью. Но такие чудеса отнюдь не во власти столь поверхностного устроителя дел человеческих, как чиновник в непроницаемых очках — хоть он по долгу службы и притворяется чудотворцем.

Дверь опять отворилась, и новые отзвуки городского гула огласили Ведомство всякой всячины. Вошел удрученный, подавленный горем мужчина; можно было подумать, что он потерял не что иное, как собственную душу, и в надежде обрести ее заново обшарил весь мир вдоль и поперек: искал в пыли торных дорог, в тени тайных тропинок, во мраке густолиственного леса, перебрал песок на морских побережьях — и все впустую. На пути сюда он обыскивал взором мостовую,

а войдя — посмотрел в углу за приступкой и оглядел пол. Наконец он подошел к Посреднику и заглянул в его непроницаемые очки, будто за ними могло таиться утраченное сокровище.

— Я потерял… — начал он и осекся.

— Да, — подтвердил Посредник, — по-видимому, потеряли — но что?

— Я потерял бесценный перл, — горестно ответил тот, — подобного которому не сыщется ни в одной царской сокровищнице. Покуда он был моим, я находил полнейшее счастье лишь в его созерцании. Ни за какие деньги я бы его не продал; я хранил его на груди и потерял, разгуливая по городу.

Предложив незнакомцу описать утраченный перл, чиновник выдвинул ящик дубового шкафа, уже упомянутого среди обстановки комнаты. Там хранились подобранные на улицах предметы — до востребования их законными владельцами. Это было причудливое и разно- родное собранье. Особенно приметную часть его составляли многочисленные обручальные кольца, каждое из которых было надето на палец под звуки нерушимых обетов и закреплено на нем нездешней силой самых возвышенных таинств, но все же соскользнуло с него, обманув бдительность об-

ладателя. Одни кольца изрядно сносили свое золото, поистерлись за годы супружества; другие сверкали, как на прилавке ювелира, и, вероятно, потерялись во время медового месяца. Там были таблички слоновой кости, исписанные выражениями чувств как нельзя более подлинных во дни чьей-то юности, но потом бесследно изгладившихся из памяти. Здесь все тщательно сохранялось, даже увядшие цветы: белые розы, багряные розы, чайные розы — достойные эмблемы девственной чистоты и стыдливости, утраченной или отринутой, растоптанной в уличной грязи; пряди волос, золотистых и лоснисто-черных — длинные женские локоны и жесткие мужские завитки, — они попали в это хранилище потому, что любовники порою столь небрежно обходились с оказанным им доверием, что роняли с груди его символы. Многие трофеи были напоены ароматами; и, быть может, в жизни их прежних владельцев стало меньше одним нежным запахом, когда они от безрассудства или по небрежности утратили свое достояние. Были здесь золоченые пеналы, рубиновые сердечки, пронзенные золотыми стрелами, брошки, монетки и прочие всевозможные мелочи, то есть почти все пропажи с незапамятных пор. Боль-

шей частью они, несомненно, обрели бы свою историю и свое значение, если бы нашлось время это разузнавать и место об этом рассказывать. По крайней мере, советую всем, кто обнаружил значительный недочет в сердце, в мыслях или в карманах, навести справки в Главном ведомстве всякой всячины.

И вот, после тщательных поисков, в углу одного из ящиков дубового шкафа нашлась крупная жемчужина, явственный идеал небесной чистоты, застывшее совершенство.

— Вот он, мой драгоценный, мой несравненный перл! — воскликнул незнакомец почти вне себя от восторга. — Мой он, мой! Отдайте его мне сию же секунду, не то я сойду с ума!

— Полагаю, — заметил Посредник, внимательно разглядывая камень, — что это и есть перл огромной ценности.

— Он самый, — отвечал незнакомец. — И посудите, в каком я был горе, обронив его с груди! Верните же мне камень! Я ни мгновения больше не проживу без него!

— Извините, — спокойно возразил Посредник. — Вы просите меня нарушить долг. Этот перл, как вы прекрасно знаете, отдается во владение на определенных условиях, и однажды не

уследив за ним, вы имеете на него не более права — нет, даже менее, — чем любой другой. Я не могу вам его возвратить.

Никакие мольбы несчастного — перед глазами которого была отрада его жизни, ставшая, увы, недостижимой, — не смягчили сердца сурового исполнителя, неподвластного простому человеческому сочувствию, однако же столь, как видно, властительного над человеческими судьбами. И наконец этот горемыка, утративший бесценный перл, принялся рвать на себе волосы и стремглав выбежал на улицу, пугая встречных своим отчаянным видом. В дверях он чуть не столкнулся с молодым светским львом, который пожаловал справиться о бутоне дамасской розы, подарке своей возлюбленной, и часа не проторчавшем у него в петлице. Так различны были запросы посетителей Главного ведомства, где, казалось, брали на учет все людские желания и, насколько позволяла судьба, содействовали их исполнению.

Следующим явился мужчина старше средних лет, очевидный дока по житейской части. Он прибыл в собственном отличном экипаже, которому велено было ждать у подъезда, пока хозяин закончит дела. К столу он подошел быстрым уверенным шагом и твердо взглянул в лицо По-

среднику, правда, глаза его таили красноватый отблеск смутной тревоги.

— У меня есть поместье на продажу, — сообщил он кратко, как, видимо, привык.

— Опишите его, — отозвался Посредник.

Тот изъяснил размеры имения и его свойства, то бишь преизбыток пашен, пастбищ, лесных угодий и свободных земель; к ним в придачу имелась усадьба, сущий воздушный замок, призрачные стены которого стали гранитом, а воображаемое великолепие воплотилось воочию. Судя по его описанию, усадьба была так прекрасна, что вот-вот исчезнет, как сон, и так прочна, что простоит многие века. Упомянул он и об изумительной мебели, изысканных обоях и всех тех ухищрениях роскоши, которые превратят пребывание там в череду златых дней и уберегут от досадных превратностей судьбы.

— Я человек целеустремленный, — сказал он в заключение, — и еще бедным обездоленным юношей, вступая на тернистый жизненный путь, положил себе стать обладателем подобной усадьбы с поместьем, равно как и дохода, достаточного, чтобы ее содержать. Мои самые смелые замыслы осуществились. И вот этим-то имением я теперь и хочу распорядиться.

— На каких условиях? — осведомился Посредник, занесши в гроссбух сообщения незнакомца.

— О, на совершенно необременительных! — ответил баловень успеха с улыбкой, и в то же время угрюмо и болезненно морщась, точно пересиливая душевную тоску. — Я испробовал разные жизненные занятия: был винокуром, африканским торговцем, ост-индским купцом, биржевым маклером — и в интересах дела принял известного рода договорное обязательство. Приобретателю моего имения надо будет всего-то навсего переписать договор на себя.

— Вас понял, — сказал Посредник и заложил перо за ухо. — И боюсь, что такого рода сделку заключить не удастся. Весьма вероятно, что будущий хозяин получит ваше имение с теми же обязательствами, но договор будет его собственный, и вашего бремени он нимало не облегчит.

— Что же, мне так и жить? — яростно выкрикнул незнакомец. — Жить и ждать, пока свинцовая грязь этих чертовых акров и гранитные глыбы этой проклятой усадьбы раздавят мне душу? А если я отдам усадьбу под богадельню или больницу или снесу ее и построю церковь?

— Попробуйте, отчего бы и нет, — сказал Посредник, — но так или иначе, за все в ответе вы

один.

Баловень горестного успеха удалился и сел в свой экипаж, и тот легко покатил по деревянной мостовой, даром что был нагружен обширным поместьем, роскошным домом и огромной кучей золота — неподъемным бременем нечистой совести.

Затем явилось немало соискателей вакансий; примечательней других был щуплый прокопченный вертун, который выдавал себя за одного из злых духов — подручных доктора Фауста в делах науки. Он предъявлял якобы верительную грамоту, выданную ему, по его утверждению, знаменитым чернокнижником и засвидетельствованную несколькими последующими хозяевами, у которых он был в услужении.

— Увы, любезный друг, — заметил Посредник, — вряд ли удастся подыскать вам место. Нынче люди сами служат злыми духами для себя и для соседей, и это у них выходит куда лучше, чем у девяноста девяти из ста ваших собратьев.

Но не успел бес-горемыка снова принять парообразный вид и в унылой досаде втянуться под пол, как в контору случайно заскочил издатель политической газеты, которому нужен был светский хроникер. Он посомневался, что бывшему

служителю доктора Фауста хватит язвительности, но все же решил, так и быть, его испробовать. Следом появился, также в поисках вакансии, таинственный Человек в Красном, который помогал Бонапарту взойти к вершинам власти. Он метил в политики, но был по рассмотрении забракован как несведущий в политическом хитроумии наших дней.

Люди входили, выходили и сменяли друг друга так быстро, будто каждый прохожий норовил отвлечься от городского шума и суеты, завернуть сюда и поведать о своих нуждах, избытках или вожделениях. У некоторых были товары или иное имущество, и им хотелось выгадать на продаже. Один негоциант долго прожил в Китае и потерял здоровье из-за тамошнего губительного климата; он от всей души предлагал свой недуг вместе с богатством любому целителю, который возьмется избавить его от того и другого зараз. Воин менял свои лавры на целую ногу, желательно такую же, какую некогда отдал за эти самые лавры на поле брани. Один горький бедолага просил лишь указать ему приличный способ расстаться с жизнью, ибо невезение и безденежье так изнурили его, что он потерял всякую веру в возможность счастья и всякую охоту его добиваться. Но он

случайно услышал здесь, в конторе, разговор о том, как легко некоторым образом разбогатеть, и решил лишний раз испытать судьбу. Многие желали обменять свои юношеские пороки на более подходящие для солидного, зрелого возраста; иные же, приятно сказать, изо всех сил старались обрести добродетель взамен порока и, как ни дорого им это давалось, ухитрялись добиться своего. Но вот что любопытно: все менее всего хотели расставаться, даже на самых выгодных условиях, с привычками, странностями, особыми замашками, мелкими смешными слабостями, не то изъянами, не то причудами, чем-то притягательными для них одних.

Огромный фолиант, куда Посредник заносил все прихоти пустопорожних сердец, чаяния сердец глубоких, бессильные порывы истерзанных и злобные мольбы растленных сердец, будь он опубликован, оказался бы прелюбопытным чтением. Человеческий характер в его частных проявлениях и человеческую природу в массе удобнее всего изучать по людским желаниям — а здесь они записаны все до единого. Бесконечно многообразные и многоразличные, они, однако же, столь сходствуют в основе своей, что любая страница фолианта — и написанная в допотоп-

ные дни, и датированная вчерашним числом, и почти уже дождавшаяся завтрашнего, и готовая к заполнению через тысячу лет — может служить образчиком целого. Встречаются там, конечно, и фантазии, которые могли взбрести на ум лишь кому-нибудь одному — не важно, умнику или сумасброду. Желания самые нелепые — однако же весьма свойственные глубочайшим естествоиспытателям, наделенным высоким, но не возвышенным умом, — сводились к соревнованию с Природой, покушению на ее тайны или стихийные силы, недоступные посягательствам смертных. Она ведь любит завлекать своих пытливых исследователей, дразнить их открытиями, которые, кажется, вот-вот вознаградят беспредельное упорство. Создать новые минералы, вывести новые формы растительной жизни, сотворить насекомое, а лучше бы какое-нибудь более достойное существо, — вот желания, зачастую теснившие грудь людям науки. Астроном, который чувствовал себя куда уютней в дальних мирах Вселенной, нежели в наших низменных сферах, изъявил желание созерцать обратную сторону Луны, каковую она никогда не сможет показать Земле, разве что небосвод вывернется наизнанку. На той же странице фолианта запи-

сана была просьба маленького ребенка дать ему поиграть звездочками.

Чаще всего, с назойливым постоянством, желали, разумеется, богатства, богатства, богатства в количестве от нескольких шиллингов до несчетных тысяч. На самом деле при этом каждый раз выражалось что-нибудь свое. Богатство — это золотая вытяжка внешнего мира, воплощающая почти все, что существует за пределами души, и поэтому оно представляет собой естественное устремление той жизни, в гуще которой мы находимся и для которой золото — залог всякой утехи, а их-то люди и взыскуют под видом богатства. Правда, время от времени на страницах гроссбуха сказывались сердца безнадежно испорченные, алчущие золота как такового. Многие желали власти — желание довольно странное, ведь власть — лишь разновидность рабства. Старики мечтали о юношеских восторгах, хлыщ — о модном сюртуке, досужий читатель — о новом романе, стихоплет — о рифме к непослушному слову, художник — о разгадке тайны тициановых красок, государь — о хижине, республиканец — о царстве и о дворце, распутник — о жене ближнего, заправский гурман — о зеленом горошке, а бедняк — о хлебной корке. Честолюбивые по-

мыслы государственных мужей, обычно ловко сокрытые, здесь выражались прямо и смело, наряду с бескорыстными желаниями человеколюбца, чающего всеобщего благоденствия желаниями такими прекрасными, такими отрадными, вопреки эгоизму с его постоянным предпочтением себя всему остальному миру. В сумрачные тайны Книги Помыслов мы углубляться не будем.

Исследователю человечества было бы весьма полезно внимательно почитать этот фолиант и сравнить его записи с людскими свершениями в повседневной жизни, чтобы выяснить, насколько согласуются те и другие. Соответствие большей частью будет весьма отдаленное. Святые и благородные помыслы, восходящие к небу, как фимиам чистых сердец, часто овевают своим благовонием смрад подлого времени. Гнусное, себялюбивое, пагубное вожделение, которое источает гниющее сердце, нередко растворяется в духовной атмосфере, не повлияв на земные дела. Однако ж этот фолиант, вероятно, правдивее говорит о человеческом сердце, чем живая драма действительности, разыгрывающаяся вокруг нас. В нем больше добра и больше зла; дурные устремления извинительнее, а благостные сомнительнее; душа воспаряет выше и гибнет постыднее;

словом, смешение порока и добродетели поразительнее, чем наблюдается во внешнем мире. Приличия и показная благопристойность часто приукрашивают обличья вопреки изъявленному нутру. А с другой стороны, надо признать, что человек редко поверяет ближайшему другу или выказывает на деле свои чистейшие помыслы, которые в ту или иную благословенную минуту родились из глубины его существа и оказались засвидетельствованными в гроссбухе. Впрочем, на каждой странице предостаточно такого, что заставит всякого доброго человека ужаснуться собственным диким и праздным помыслам и содрогнуться, сочувствуя грешнику, вся жизнь которого есть осуществление мерзких похотей.

Но вот дверь снова отворилась, и стала слышна неумолчная житейская суматоха — глухой и зловещий гул, своего рода отзвук каких-то записей из фолианта, лежащего перед всеведущим чиновником. Шаткой торопливой походкой просеменил в контору старичок, кинулся к столу с таким лихорадочным оживлением, что его седую гриву словно ветром подхватило, а тусклые глаза на миг упрямо блеснули. Этот почтенный джентльмен заявил, что ему нужен Завтрашний день.

— Я всю жизнь гоняюсь за ним, — объяснил

мудрый старец, — ибо убежден, что Завтрашний день несет мне огромную выгоду или иное благо. Правда, годы мои уже не те и надо поторопиться: ведь если я вскоре не нагоню Завтрашний день, то как бы он, чего доброго, не улизнул от меня окончательно.

— Этот неуловимый Завтрашний день, о мой досточтимый друг, — сказал Посредник, — есть блудный отпрыск Времени, он убегает от родителя в область бесконечного. Не оставляйте погони, вы его непременно настигнете, но что до желанных вам благ земных, то они без остатка растрачены в сутолоке Вчерашних дней.

Вынужденный довольствоваться этим загадочным ответом, старичок заспешил-заторопился, постукивая клюкой по полу; когда же он исчез, в дверь вбежал какой-то малыш, догонявший мотылька, который порхал туда-сюда в жидком солнечном свете городской улицы. Будь старый джентльмен повнимательнее, он бы угадал Завтрашний день в облике пестрого насекомого. А мотылек блеснул золотом в полумраке конторы, задел крылышками Книгу Помыслов и выпорхнул обратно; ребенок же убежал за ним.

Но вот вошел небрежно одетый мужчина, очевидный мыслитель, только грубовато сбитый и

чересчур дюжий для ученого. Лицо его являло неколебимое упорство, за которым угадывалась вдумчивая проницательность; суровое обличье было словно озарено изнутри жаром большого и трепетного сердца, истинного очага, разогревавшего этот мощный ум. Он подошел к Посреднику и, поглядев на него с таким строгим простодушием, от которого вряд ли что могло укрыться, сказал:

— Мне нужна Истина.

— Вот уж это самый редкий запрос на моей памяти, — заметил Посредник, делая новую запись в своем гроссбухе. — Большей частью за Истину сходит какая-нибудь хитроумная ложь. Но я ничем не смогу помочь в ваших поисках: вы должны совершить это чудо сами. В некий счастливый миг вы, вероятно, окажетесь рядом с Истиной — или, пожалуй, она забрезжит в тумане далеко впереди вас, — а быть может, и позади.

— Только не позади, — возразил искатель Истины, — ибо на своем пути я все подверг тщательному рассмотрению. Она мелькает впереди: то в голой пустыне, то в толпе народного сборища; то возникает под пером французского философа, то стоит у алтаря древнего храма под видом католического священника, совершающего тор-

жественную обедню. О утомительный поиск! Я, однако ж, не должен отступаться; разумеется, мое усердное стремление к Истине в конце концов приведет меня к ней.

Он задумался, вглядываясь в Посредника так пронзительно, словно вникал в самое его существо, полностью отринув внешность.

— А ты-то что за птица? Меня не проведешь этой нелепой вывеской Ведомства всякой всячины и смехотворной видимостью делопроизводства. Ну-ка выкладывай, что за этим скрывается, в чем твое жизненное назначение и хорошо ли ты влияешь на человечество?

— У вас такой ум, — отозвался Ведовщик, — перед которым все облики и вымыслы, скрывающие внутреннюю сущность от глаз людских, тотчас исчезают; остается лишь нагая действительность. Так узнайте же разгадку. Моя кипучая деятельность — связи с прессой, суетня, торги и всевозможное посредничество — сплошной обман. Люди думают, будто имеют дело со мной, на самом же деле они повинуются голосу собственного сердца. Я не заключаю сделок — я лишь Духовный Регистратор!

Какие еще тайны открылись затем, мне неведомо, потому что городской содом, деловитая

толчея, гомон мечущихся толп, суматоха и треволнения людской жизни, столь шумной и краткой, совсем заглушили речи этих двух собеседников. А где они беседовали: на Луне, на Ярмарке Тщеславия или в каком-нибудь городе нашего мира, — я и вовсе не знаю.

Званый вечер

Некий мечтатель устроил прием в одном из собственных воздушных замков и пригласил немногих избранных, достойнейших персон, почтить его своим присутствием. Эти хоромы, пусть и не столь роскошные, как иные, воздвигнутые окрест, все же отличались сугубым великолепием, какое редко встретишь в земных пределах. Порода для крепкого фундамента и массивных стен была добыта из темной и тяжкой облачной гряды, угрюмо нависавшей над землею подобием ее плотных, незыблемых гранитов и провисевшей целый осенний день напролет. Предчувствуя общее мрачное впечатление — ведь его воздушный замок выглядел не то феодальной твердыней, не то средневековым монастырем, не то теперешним казенным домом, а вовсе не обителью услад и отдохновения, как он того хотел, — владелец, невзирая на расходы, решился вызолотить его сверху донизу. Спасибо, под рукой оказалось вдоволь закатного солнца, которым обильно окатили кровлю и стены, и здание стало торжественно-лучезарным; купола и

шпили засверкали чистейшим золотым блеском, и во всех ста окнах зажглось радостное сияние, словно и самый замок от души возликовал. И теперь, если людям из низшей юдоли случалось, отрешаясь от мелочной суматохи, взглянуть вверх, они, вероятно, принимали воздушное строение за нагромождение заревых облаков, превращенных волшебной игрой света и тени в подобие причудливого дворца. Для таких зрителей он был нереален, ибо им недоставало доверия к вымыслу. А если б они удостоились войти в его портал, то постигли бы явственную истину, что владения, обретенные духом в нереальности, в тысячу раз реальнее, чем земля у них под ногами, о которой говорится: «Вот это надежно и основательно! — вот это, что называется, факт!»

В назначенный час хозяин встречал новоприбывших на пороге гостиного зала, огромного и величественного, стрельчатые своды которого поддерживали два ряда гигантских цельноизваянных колонн из разноцветных облаков. Они были так блистательно отполированы, так изумительно отделаны искусным резцом, что казались дивными образчиками изумруда, порфира, опала и хризолита и ласкали взор изящнейшим многообразием, которое ввиду их огромности вовсе не

мешало общему великолепию. Каждая из колонн сияла своим метеором. Тысячи этих эфирных светил блуждают по небесам, сгорая без толку, а между тем всякий, кто сумеет приспособить метеоры к делу, может озарять свой дом их светом. А уж огромный гостиный зал освещать метеорами куда дешевле, чем обычными лампами. Правда, сияют они слишком ярко и нуждаются в плотных абажурах из вечернего тумана, чтоб затенить слепящий свет, сделать его мягче и уютнее. Подобный свет излучается сильным и сосредоточенным воображением; оно как бы скрадывает все недостойное внимания и выгодно являет глазу всякую черту красоты и изящества, поэтому гости выглядели посреди зала лучше, чем когда-либо в жизни.

Первым со старомодной пунктуальностью явился почтенный муж в костюме дней былых; его седые волосы ниспадали на плечи, окладистая борода украшала грудь. Выступал он чинно, подпираясь подрагивающим посохом, и дробное пристукивание в такт его шагам разносилось по залу. Тотчас узнав эту знаменитую персону, которой он великими трудами доискался, хозяин прошел навстречу гостю почти три четверти пространства меж колонн, дабы горячее привет-

ствовать его.

— Досточтимый сэр, — промолвил Мечтатель, склоняясь до полу, — честь вашего посещения не забудется вовек, даже если моя жизнь продлится вышним соизволением подобно вашей.

Пожилой джентльмен принял этот комплимент добродушно-снисходительно, затем поднял очки на лоб и окинул зал оценивающим взором.

— Никогда еще, сколько себя помню, — заметил он, — не бывал я в таком огромном и великолепном чертоге. Но уверены ли вы, что это здание из надежных материалов, что оно воздвигнуто на прочном основании?

— О, не тревожьтесь, мой досточтимый друг, — ответствовал хозяин. — В сравнении с вашим жизненным сроком мой замок, разумеется, недолговечен, но простоит достаточно, чтобы целиком исполнить свое назначение.

Однако мы, кажется, забыли представить гостя читателю. Это был не кто иной, как тот заведомый знаток, на которого вечно ссылаются по случаю особого холода или жары, которому всегда памятно такое же знойное воскресенье и столь же холодная пятница, как выдались нынче, — свидетель века минувшего, чьи отрицательные воспоминания проникают в каждую

газетенку, но обветшалое и невзрачное жилище его сокрыто в многослойном сумраке несчетных лет и так затерто новейшими зданиями, что лишь Мечтатель сумел его обнаружить, — словом, это был сверстник Времени, общечеловеческий прадед, сопричастный всем забытым людям и делам, — сам Исконный Старожил! Хозяин охотно завел бы с ним беседу, но удалось лишь вытянуть из него два-три замечания насчет нынешнего летнего вечера в сравнении с другим, памятным гостю лет уже восемьдесят. Вообще же пожилого джентльмена изрядно утомило странствие среди облаков, которое для отяготелой земной плоти, за много лет притерпевшейся к низшему уделу, было куда затруднительнее, чем для тех, чей дух еще молод. Так что он был препровожден к уютнейшему креслу, пышно набитому мягкой мглой, и усажен отдыхать.

Между тем Мечтатель углядел другого гостя, который так тихо стоял в тени колонны, что его вполне можно было и не заметить.

— Дорогой сэр! — воскликнул хозяин, сердечно пожимая ему руку. — Позвольте приветствовать в вашем лице главного сегодняшнего гостя. Ради бога, не примите это за пустой комплимент, ибо если бы в мой замок нынче никто больше не

явился, то мне хватило бы и вас одного.

— Спасибо на добром слове, — отозвался скромный незнакомец, — только вы меня проглядели, я уже давно здесь. Явился я раньше всех и, с вашего позволения, останусь, когда прочие удалятся.

Кто же, как полагает читатель, был сей неприметный гость? Это был славный осуществитель замыслов, признанных невыполнимыми, муж сверхчеловеческих дарований и добродетелей и, если верить его врагам, обладатель столь же непомерных слабостей и изъянов. С великодушием, живой пример коего являет он сам, мы ограничимся его выигрышными чертами. Так вот, он больше печется о чужом, нежели о своем, и смиренный удел ему милее высокого. Не заботясь о людях, обычаях, людской молве и газетных толках, он взял мерилом своей жизни идеальное прямодушие и стал, таким образом, единственным независимым гражданином нашей свободной страны. Что до способностей, то в глазах многих лишь он тот математик, который умеет исчислять квадратуру круга; механик, постигший принцип вечного движения; натуралист, обративший поток вспять, вверх по склону; из нынешних сочинителей он один наделен гением, достаточным для создания эпической

поэмы; и наконец — вот сколь многообразны его таланты, — он тот гимнаст-виртуоз, кому удалось прыгнуть выше собственной головы. Однако при всех своих дарованиях он отнюдь не принят в хорошем обществе — настолько, что можно жестоко опорочить любое изысканное собрание, если заявить, что там был этот замечательный индивид. Народные витии, просветители и театральные лицедеи — те и вовсе его не выносят. По известным причинам мы не вправе открыть его имя и лишь упомянем еще одно особое свойство — необычнейший естественнонаучный феномен: когда ему случается взглянуть в зеркало, там никто не отражается, или, если угодно, отражается Никто!

Появились еще несколько гостей, и среди них — неимоверно разговорчивый и вертлявый господинчик, повсеместно модный в узких кругах и небезызвестный широкой публике под именем мсье Болтье. Судя по фамилии, вроде бы француз, но откуда бы ни был родом, владеет он всеми живыми языками и по мере своей надобности вполне изъясняется как по-английски, так и на любом другом наречии. Едва поздоровавшись, этот говорливый человечек прильнул ртом к хозяйскому уху и шепотом поведал три

государственные тайны, разгласил важные коммерческие сведения и рассказал пышно расцвеченную скандальную сплетню. Потом он заверил Мечтателя, что не преминет во всех подробностях порадовать низшее, то бишь наземное, общество великолепием воздушного замка и роскошного празднества, на которое он удостоился приглашения. С этими словами мсье Болтье поклонился и поспешил от одного гостя к другому: видно, со всеми был знаком и каждому имел сообщить что-нибудь любопытное или забавное. Последним на очереди оказался Исконный Старожил, безмятежно дремавший в поместительном кресле; неумолчный рот мсье приник и к его достопочтенному уху.

— Как вы сказали? — встрепенулся пожилой джентльмен, используя ладонь как слуховой рожок.

Мсье Болтье склонился к нему и снова зашептал.

— Никогда еще, сколько себя помню, — воскликнул Исконный Старожил, изумленно воздевая руки, — не слыхивал я о таком поразительном происшествии!

Тут прибыл Предсказатель Погоды, приглашенный из уважения к его должности, хотя

хозяин и понимал, что разговоры о погоде вряд ли особенно позабавят общество. Впрочем, новоприбывший вскоре уединился в углу со своим давним знакомым, Исконным Старожилом: они пустились обсуждать жестокие бури, ураганы и другие сотрясения атмосферы за последнее столетие. Мечтатель порадовался, что для его многоуважаемого и достопочтенного гостя нашелся такой подходящий собеседник. Умоляя обоих чувствовать себя как дома, он бросился навстречу Вечному Жиду. Правда, этот персонаж в последнее время так примелькался во всех слоях общества, являясь по первому зову в любой дом, что едва ли мог считаться украшением избранного круга. К тому же он был с головы до пят в пыли, собранной по большим дорогам всего света, и выглядел просто неприлично среди разодетых гостей, так что у хозяина полегчало на душе, когда этот непоседливый субъект без особого промедления отправился пешим ходом в Орегон.

Между тем у входа столпились призрачные лица, знакомые Мечтателю со времен его вдохновенной юности. Он пригласил их, чтобы воочию рассмотреть, каковы они покажутся в сравнении с теми действительными людьми, с которыми жизнь свела его в зрелом возрасте. Это были

создания еще беспомощного воображения: такие скользят перед юным взором и представляются подлинными обитателями земли. Мудрые и остроумные, превосходные собеседники, благородные и самоотверженные друзья, чья преданность не имеет себе равных, и прелестная возлюбленная, верная подруга, которая разделит все труды и горести суженого и будет источником и соучастницей супружеского счастия. Увы! Бесповоротно повзрослев, не стоит приглядываться к этим старым знакомым; лучше воздавать им должное издали, сквозь мутную толщу лет. Какая-то смехотворная фальшь замечалась в их торжественной походке и нарочитой чувствительности: не люди и даже не очень человекообразные существа, они были фантазмами, ходячей издевкой враз над идеалом и натурой — издевкой тем более убийственной, чем истовей изображали они то и другое. А что до бесподобной возлюбленной, то вот и она вышла на средину зала, ступая точно на шарнирах: восковое изваяние ангела, холодное, как лунный свет, — манекен в юбках, с головой, набитой напыщенными словесами, и мнимым подобием сердца; да-да, именно таков этот образ, порожденный юношеским томлением. При всей своей скрупулезной учтивости хозяин едва сдер-

жал улыбку, приветствуя знакомое привидение и заметив томный взор, как бы невзначай напоминающий об их любовных обетах.

— Нет-нет, прекрасная дама, — вполголоса проговорил он с полувздохом, полуусмешкой, — у меня теперь иной вкус! Я научился любить создания Природы, а не самодельные личины женственности.

— Ах, обманщик! — вскрикнула призрачная дева, пытаясь изобразить обморок и растаяв как облако, с еле внятной прощальной жалобой: — Твое непостоянство погубило меня!

— Значит, такая твоя судьба, — заметил ей вслед жестокий Мечтатель. — Скатертью дорога!

Вместе с этими тенями оттуда же явилось сонмище непрошеных призраков — те, которые, бывало, донимали Мечтателя во дни острой меланхолии, или другие, осаждавшие его в бреду и лихорадке. Стены воздушного замка были не столь плотны, чтобы не впустить их; впрочем, не помогли бы и крепчайшие земные преграды. Были тут загадочные страшилища, подстерегавшие его при вступлении в жизнь и враждебные всем надеждам. И были нелепые пугала совсем ранних лет, какие тревожат детей по ночам. Особенно поразил его вид черной увечной старухи, которая,

несомненно, зачем-то пряталась у них на чердаке, а когда он еще малышом болел скарлатиной, подходила к его постели и ухмылялась. Теперь эта черная тварь среди других, не менее мерзких обличий мелькала меж колонн великолепного зала с тогдашней зловещей ухмылкой, и забытый детский ужас заново отзывался дрожью. Однако же ему было забавно смотреть, как черная старуха со зловредным своенравием подобных существ подобралась к креслу Исконного Старожила и заглянула в его полусонное сознание.

— Никогда, сколько себя помню, — пробормотал в ужасе достопочтенный старец, — не видывал я такой образины!

Тотчас следом за вышеописанными призраками явилась толпа гостей, которых недоверчивый читатель, пожалуй, тоже сочтет созданиями вымысла. Всех заметней были: неподкупный Патриот; Ученый без тени самодовольства; Священник без мирского честолюбия; Красавица без гордыни и кокетства; Супруги, не изводившие друг друга несходством чувств; Реформатор, не сбитый с толку собственной теорией, и Поэт, не питавший зависти к другим заложникам лиры. По правде сказать, хозяин был вовсе не из тех циников, которым подобная гармония, лишенная

роковых изъянов, кажется столь уж редкостной; и он пригласил их на свой званый вечер более всего из смиренного почтения к мнениям света, где объявлено, что такая цельность почти не встречается.

— Во дни моей юности, — заметил Исконный Старожил, — все они попадались на каждом углу.

Как бы там ни было, эти образчики совершенства оказывались несравненно менее занимательны, чем люди с обычными человеческими недостатками.

Но вот появилось новое лицо, и едва хозяин его узнал, как выказал учтивость, какой пока не удостоился никто другой: поспешил к пришельцу через весь зал, дабы приветствовать его с особым почтением. Между тем это был скромно одетый юноша без всяких признаков особого ранга или сугубого достоинства; вообще же от прочих он отличался лишь высоким и чистым лбом да теплым светом глубоко посаженных глаз. Таким светом озаряет землю только горение большого сердца — домашнего очага могучего духа. Кто это был? Да кто же, как не Юный Гений, в ожидании которого вся наша страна жадно вглядывается в туман грядущего; тот, кому суждено испол-

нить великую миссию — создать американскую литературу, как бы высечь ее из девственных гранитов нашей духовной каменоломни. Ему-то и суждено преподнести нам первое наше самобытное сочинение — то ли в форме эпической поэмы, то ли, по велению духа, совсем в ином, новом образе — и восполнить все, чего нам недостает, чтобы сравняться славою с другими нациями. Как наш Мечтатель отыскал это возлюбленное чадо высокой судьбы, к делу не относится. Достаточно сказать, что он неприметно обитает среди нас, не распознанный теми, кто знает его с колыбели; благородный облик, которому как нельзя более подошел бы ореол, является что ни день в толпе людской, озабоченной и занятой минутными пустяками, — и никто не благоговеет перед тружеником бессмертия. Ему это, впрочем, не очень и важно — ведь он восторжествует в веках, и что ему в том, если одно или два современных поколения нанесут себе ущерб, не заметив его?

Тем временем мсье Болтье проведал имя и судьбу незнакомца и деловитым шепотком оповещал о нем гостей.

— Вздор! — сказал один. — Американского гения быть не может.

— Чепуха! — воскликнул другой. — Наши по-

эты ничуть не хуже, чем любые другие. По мне, так вовсе и не надо никаких лучших.

А Исконный Старожил, которому предложено было представить его Юному Гению, уклонился от этой чести, заметив, что человеку, удостоившемуся знакомства с Дуайтом[90], Френо[91] и Джоэлем Барлоу[92], простительна немного избыточная строгость вкуса.

Зал быстро заполнялся; прибывали все новые и новые примечательные персоны, среди которых выделялись Дэви Джонс[93], личность, популярная у мореплавателей, и грубый, небрежно одетый, забулдыжного вида пожилой субъект, известный под прозвищем Старина Гарри[94]. Этого-то, впрочем, сводили в гардеробную, и он появился оттуда обновленный: седые волосы

---

[90] Примечания: 90

Дуайт Тимоти (1752–1817) — американский поэт, публицист и прозаик-документалист (автор «Путешествий по Новой Англии и Нью-Йорку»), священнослужитель и проповедник.

[91] Примечания: 91

Френо Филип Морен (1752–1832) — американский поэт, публицист и критик, участник Войны за независимость.

[92] Примечания: 92

Барлоу Джоэль (1754–1812) — американский поэт, автор стихотворных переложений псалмов и эпической поэмы «Колумбиада».

[93] Примечания: 93

Дэви Джонс — одна из кличек морского беса.

[94] Примечания: 94
Старина Гарри — шутливо-иносказательное обозначение черта.

причесаны, платье вычищено, на шее чистая манишка — словом, так преобразился, что ему пристало бы называться более уважительно — положим, Достопочтенный Генри.

Джон Доу и Ричард Роу[95] явились рука об руку в сопровождении подставного поручителя, а именно Соломенного Чучела[96], и еще нескольких лиц, обычно возникавших лишь в качестве избирателей на выборах с сомнительным исходом. Подоспел знаменитый Силсфильд[97], и его сперва было причислили к этому братству мнимых персон, но он настоял на том, что существует во плоти и даже имеет земное пристанище в Германии. Среди последних пришельцев, как и можно было ожидать, явился гость из отдаленного будущего.

— Знаете, кто это? Знаете, кто это? — зашептал мсье Болтье, казалось, знакомый со всеми. — Это представитель Потомства — человек грядущих

---

[95] Примечания: 95

Джон Доу и Ричард Роу — условные имена истца и ответчика.

[96] Примечания: 96

Соломенное Чучело — фиктивное, подставное лицо в сделке или судебном процессе.

[97] Примечания: 97

Чарлз Силсфильд, псевдоним Карла Постля (1793–1864) — богемский немец, беглый монах, автор популярнейших описаний путешествий по Северной Америке и быта американских индейцев.

времен!

— А как он сюда попал? — поинтересовался персонаж, явно сошедший с журнальной страницы мод: по-видимому, оберегал суету текущего дня. — Этот субъект попирает наши права — с чего это он явился не в свое время?

— Но вы забываете, где мы находимся, — возразил наш Мечтатель, услышав это замечание. — Там, внизу, ему не след показываться еще много лет, но воздушный замок — это как бы ничейная земля, где Потомство присутствует на равных правах с нами.

Лишь только гостя распознали, вокруг него собралась толпа; все, как один, проявляли о нем самую бескорыстную заботу, и многие похвалялись жертвами, которые они принесли или готовы принести ради него. Кое-кто пытался украдкой выяснить его суждение о неких стихотворных манускриптах или об увесистых прозаических рукописях, иные обращались к нему запанибрата, полагая, что ему, конечно же, прекрасно известны их имена и достижения. Наконец поняв, что от них никак не отбиться, Потомок потерял всякое терпение.

— Любезнейшие господа! — воскликнул он, отпрянув от возвышенного поэта, который ловил

его за пуговицу. — Умоляю вас, занимайтесь своими делами, а о моих я сам позабочусь! По-моему, я ничем вам не буду обязан — разве что государственными долгами и прочими помехами и препонами, физическими и нравственными, которые мне будет вовсе не так уж легко устранить с пути. Что же до ваших стихов, то, пожалуйста, читайте их своим современникам. Имена ваши мне так же неведомы, как ваши лица, а если иногда и не совсем так, то позвольте шепнуть вам на ухо, что равнодушная, оледенелая память, какую одно поколение хранит о другом, — жалкое воздаяние за растраченную жизнь. Но если уж вам так хочется стать мне известными, то самый надежный, а пожалуй что и единственный способ этого достигнуть — жить своей жизнью по правде и по совести, и если это у вас как следует получится, то вы будете жить и в потомстве!

— Какая чушь, — пробормотал Исконный Старожил, который, как человек прошлого, был обижен, что на него больше не обращают внимания, целиком устремившись в будущее — сущая чушь, зачем это надо, — впустую помышлять о том, что еще только будет!

Чтобы развлечь гостей, довольно-таки смущенных этим маленьким происшествием, Мечтатель

повел их по замку, внимая похвалам своему вкусу и великолепному убранству покоев. Один из них заполнял лунный свет, но вовсе не из окон; здесь было собрано разлитое по земле сияние летней ночи во всей своей прелести, сокрытой от смеженных сном глаз. Собирали его сильфиды; было тут и сверканье широкой озерной глади, и серебряный отблеск речных излучин, и переливчатые отблески колеблемых ветром ветвей — и все это слито воедино в одном просторном покое. У стен, густо выбеленных мягким лунным светом, стояло множество идеальных статуй — изначальных замыслов великих созданий древнего и нового искусства, еще не вполне явленных из мрамора. Ибо неверно, будто чистые идеи бессмертных творений исчезают из мира: надо лишь выяснить их местопребывание, чтобы завладеть ими. В нишах другого огромного зала располагалась превосходная библиотека, бесценнейшее собрание, состоявшее не из подлинных книг, а из сочинений, которые авторы лишь замыслили, но не улучили времени написать. Здесь были, к примеру, недостающие рассказы Кентерберийских пилигримов Чосера, недопи-

санные песни «Королевы фей»[98], законченная «Кристабель»[99] Кольриджа и цельный эпос о короле Артуре, задуманный Драйденом[100]. Полки были забиты, ибо можно смело утверждать, что каждый автор замыслил и вообразил куда больше произведений, чем вышло из-под его пера, и ненаписанные гораздо лучше написанных. Хранились здесь и невоплощенные замыслы юных поэтов, которых мощь собственного гения сгубила прежде, нежели с их губ успел сорваться хоть какой-нибудь вдохновенный лепет.

Когда достопримечательности библиотеки и Музея скульптур были представлены Исконному Старожилу, тот, по-видимому, смутился до крайности и воскликнул взволнованней прежнего, что, сколько помнит себя, не слыхивал о подобных вещах и, более того, вовсе даже не понимает, как такое возможно.

— Похоже, в голове у меня, — заметил старый добряк, — раньше было больше ясности. Вы-то

---

[98] Примечания: 98

«Королева фей» — сказочно-эпическая поэма английского поэта Эдмунда Спенсера (1552–1599).

[99] Примечания: 99

«Кристабель» — нарочито фрагментарная поэма английского поэта С. Кольриджа (1772–1834).

[100] Примечания: 100

Драйден Джон (1631–1700) — английский поэт, драматург, критик.

народ молодой: вам все это, видать, нипочем, — а меня уж увольте.

— И меня, — пробормотал Старина Гарри. Тут ногу сломит сам… гм!

По возможности оставив без внимания эти отзывы, Мечтатель повел общество в другой великолепный зал, где колоннами служили плотные снопы солнечных лучей, небесные даяния раннего утреннего часа. Они вполне сохраняли свой живой блеск, и зал был наполнен сиянием — невообразимо светлым, но не слепящим, а ласкающим глаз и отрадным. Окна были искусно драпированы занавесями из многоцветных заревых облаков, напоенных девственным светом; они свисали пышными складками от потолка до пола. Вдобавок весь зал был усеян фрагментами радуг, и гости с изумлением видели головы друг друга, изукрашенные семью первичными цветами, или же, если им это нравилось — а кому не понравится? — сами хватали радугу и приобщали ее к своему одеянию. Но рассветное сияние и скрещение радуг были всего лишь намеком и предвестием подлинных чудес этого покоя. Воздействием, сродным волшебству, однако же совершенно естественным, в чертоге утреннего света открыты возможности и запасы счастья,

недоступные людям в дольнем мире. И уж само собой понятно, что этих открытий с лихвой хватит, чтобы обеспечить не только приятный вечер, но и счастливую жизнь всем, кого вместит просторный и пышный чертог. Казалось, все они помолодели; к тому же образчик и пресловутый пример невинности, Нерожденный Младенец, порхал среди них туда-сюда, заражая своим безмятежным весельем блаженных созерцателей его резвых танцев.

— А теперь, досточтимые друзья, — возгласил Мечтатель, прерывая их услады, — прошу всех пожаловать в банкетный зал, где вас ожидает легкая трапеза.

— Золотые слова! — откликнулся гость мертвецкого вида, приглашенный сюда по той единственной причине, что имел постоянное обыкновение обедать с герцогом Хамфри. — Я уж начал было недоумевать, есть ли буфет в воздушном замке.

Довольно забавно было смотреть, как гости мгновенно оставили свои высокодуховные утехи, которым предавались со столь очевидным восторгом; победило предвкушение более явственных восторгов пиршественного стола, а равно и погреба. Радостной гурьбой последовали

они за хозяином, а тот привел их в огромный и высокий зал, во всю длину которого простирался накрытый стол, сверкающий бесчисленными блюдами и золотыми кубками. Неизвестно лишь, то ли богатая утварь была изготовлена к празднеству из расплавленных солнечных лучей, то ли извлечена из затонувшего испанского галеона, много веков пролежавшего на дне морском. Хозяйский конец стола был осенен балдахином, под которым помещалось великолепнейшее кресло, но хозяин отказался занять его и предложил гостям избрать наиболее достойного из своей среды. Как дань уважения к несчетным годам и нетленным заслугам почетное место было сперва предложено Исконному Старожилу. Он, однако ж, уклонился от этой почести и попросил поставить ему миску размазни за отдельным столиком, где можно в случае чего спокойно вздремнуть. После некоторого замешательства Потомок взял за руку Юного Гения нашего отечества и повел его к верховному седалищу под царственным балдахином. И, увидев его на подобающем месте, все, как один, одобрили справедливый выбор долгими и шумными рукоплесканиями.

Затем началось пиршество, где яствами служили если не все лакомства, сообразные времени

года, то уж точно все до единой диковины, какие нашлись в мясных, рыбных и зеленных лавках Нигдении. Меню, к сожалению, утрачено, и упомянем лишь Феникса, запеченного в собственном пламени, холодных фаршированных райских птиц, мороженое из Млечного Пути и молочный кисель из Страны Дураков, который всем пришелся как нельзя более по вкусу. Что до напитков, то люди воздержанные по обыкновению довольствовались водой — правда, водой из Источника Молодости; дамы потягивали целительный бальзам; тем, кто был измучен любовью, изнурен заботами и истерзан горем, подносились чаши, до краев полные летейской влагой; и как можно было догадаться, в золотом сосуде, из которого наливали только избранным, был нектар, выдержанный с античных, мифологических времен. Когда кушанья убрали, собрание, как водится, разговорилось за бокалом: наперебой произносились искрометные речи; впрочем, отчет о них мы предоставляем бесподобному перу Советника Гилла, чьим неоценимым содействием наш Мечтатель своевременно заручился.

Празднество было в зените, когда Предсказатель Погоды украдкой отошел от стола к окну и сунул голову меж пурпурно-золотых занавесей.

— Любезные собратья, — провозгласил он, тщательно вглядевшись в ночь, — весьма советую тем из вас, кто далеко живет, поскорее отправляться в путь, ибо, несомненно, близится гроза.

— Батюшки! — вскрикнула Матушка Гусыня, оставившая без присмотра своих гусят и явившаяся в газовом платье и красных шелковых чулках. — Как же я домой-то попаду!

Начался кавардак поспешных сборов и бестолковых расставаний. Однако Исконный Старожил, верный обычаям дней былых, когда вежливость ставилась превыше всего, задержался на пороге озаренного метеорами зала, дабы выразить свою чрезвычайную признательность за доставленное удовольствие.

— Никогда еще на моей памяти, — объявил учтивый старый джентльмен, — не выпадало мне счастья провести столь приятный вечер в таком избранном обществе!

Но тут налетевший ветер прервал его речь, сорвал с него треуголку и унес ее в беспредельные пространства вместе с заготовленным продолжением комплиментов. Многие гости договорились с блуждающими огоньками, чтобы те проводили их домой, а предупредительный хозяин нанял Человека с Луны с огромным фонарем в форме

рога, чтобы тот оказал помощь беспросветно одиноким старым девам, но первый же порыв свирепой бури в мгновение ока загасил все огни и огоньки. Как в наступившей темноте гости ухитрились вернуться на Землю и вернулась ли на Землю бо`льшая их часть? Может статься, они и поныне мечутся среди облаков и туманностей, гонимые яростными шквалами, ушибаясь о балки и стропила развалившегося воздушного замка и путаясь во всевозможных мнимостях, — все это куда больше касается их самих, нежели автора этих строк и читателей таковых. Надо было предвидеть подобные невзгоды, если уж отправляешься очертя голову на празднество в Нигдению.

Мастер красоты

Пожилой человек, шедший по улице под руку с хорошенькой дочерью, вышел из полумрака пасмурного вечера в полосу света, падающего на тротуар из окна небольшой мастерской. Окно немного выступало из стены, а за стеклом висели разнообразные часы — дешевые, а также серебряные и парочка золотых, — и все их циферблаты были нарочито повернуты внутрь комнаты, словно не желая показывать прохожим, который теперь час. Боком к окну под ярким светом лампы с абажуром сидел молодой человек с бледным лицом, сосредоточенно склонившись над каким-то затейливым механизмом.

— Что это Оуэн Уорленд там мастерит? — пробормотал старый Питер Ховенден, сам в прошлом часовщик и бывший учитель молодого человека, чье занятие так его заинтересовало. — Что мастерит этот парень? Полгода прохожу мимо его мастерской и каждый раз вижу, что он все время в чем-то копается. Не вечный же двигатель он изобретает — это было бы за пределами его привычных дурачеств. Однако я еще что-то смыслю

в своем прежнем деле, чтобы быть уверенным в том, что сейчас он копается не в часовом механизме.

— Может, и так, отец, — сказала Энни, не проявляя особого интереса к этому предмету. — Наверное, Оуэн придумывает какой-нибудь новый хронометр. Уверена, что на это у него хватит изобретательности.

— Фу ты, дочка! Изобретательности у него хватает разве что на то, чтобы выдумать какую-нибудь безделицу, — ответил отец, которого одно время сильно раздражал необычный талант Оуэна Уорленда. — Чтоб она провалилась, эта его изобретательность! Результат от нее был один — он вечно расстраивал лучшие часы у меня в мастерской. Он бы и Солнце сбил с орбиты, и ход времени изменил, если бы, как я уже сказал, его изобретательности хватило на что-нибудь посерьезнее детской игрушки!

— Тише, отец! Он же тебя слышит! — прошептала Энни, сжав локоть старика. — У него такой же тонкий слух, как и все остальные чувства. Ты сам знаешь, как быстро он вспыхивает. Идем-ка отсюда поскорее.

Питер Ховенден с дочерью молча двинулись дальше, пока не оказались в переулке у открытой

двери кузницы. Там горел горн, бросая на высокий закопченный потолок и усыпанный углем пол отсветы пламени в такт мерному дыханию втягивавших и выпускавших воздух кожаных мехов. Когда отсветы становились ярче, можно было легко разглядеть все дальние углы и каждую подкову, висящую на стене. В то время как они ненадолго меркли, казалось, что огонь горит в каком-то зыбком пространстве без ясных очертаний. На фоне перемежавшихся света и тени двигалась человеческая фигура, являвшая собой живописное зрелище, когда яркий свет дня боролся с непроглядной ночью, пытаясь присвоить себе силу кузнеца и высвечивая его в темноте. Вот он выхватил из углей раскаленный добела пруток металла, положил на наковальню, поднял могучую руку, и его окутали мириады искр, при каждом ударе молота рассыпавшихся по полутемной кузнице.

— Вот это зрелище что надо, — сказал старый часовщик. — Я знаю, что такое работать по золоту, но с работником по металлу не потягаешься. Он трудится ради насущных нужд. Что скажешь, дочь моя?

— Прошу тебя, папа, не так громко, — прошептала Энни. — Тебя Роберт Дэнфорт услышит.

— А что с того, что услышит? — удивился Питер Ховенден. — Повторяю, в высшей степени прилично и достойно полагаться на свою силу и здравый ум, зарабатывать хлеб насущный простым крепким кузнечным ремеслом. Часовщик ломает голову над тем, как приладить шестеренку внутрь шестеренки, он гробит здоровье и теряет зрение, как я, и в среднем возрасте или чуть позже уже не может работать как прежде, и ни на что не годен, однако слишком беден, чтобы жить вольготно. Еще раз повторяю: деньги зарабатываются силой. Ты когда-нибудь слышала, чтобы кузнец был таким дурнем, как этот Оуэн Уорленд?

— Отлично сказано, дядюшка Ховенден! — веселым басом крикнул от горна Роберт Дэнфорт, и эхо отозвалось под крышей кузницы. — А что скажет мисс Энни? Похоже, она думает, что чинить дамские часики куда благороднее, чем ковать подковы или решетки.

Не дав отцу ответить, Энни повела его дальше.

Однако нам надо вернуться в мастерскую Оуэна Уорленда и глубже призадуматься над его жизнью и характером, чем это сочли бы нужным Питер Ховенден, его дочь Энни или однокашник Роберт Дэнфорт. С той поры, как его детские паль-

чики смогли держать перочинный нож, Оуэн славился тонким искусством, вырезая из дерева изящные поделки, в основном фигурки цветов и птиц, а иногда, похоже, стремился познать скрытые секреты механизмов. Однако им всегда двигало стремление к изяществу, а не тяга к созданию чего-нибудь полезного. Он не прилаживал ветряки на крыше амбара и не строил водяные мельницы на ближайшем ручье, как остальные школьники-мастеровые. Те, кто заметил в мальчике эту особенность и решил присмотреться к нему поближе, предполагали, что он пытается копировать изящество Матери-Природы, воплощенное в полете птиц или играх зверушек. Это и вправду представлялось новым проявлением любви к прекрасному, которое могло бы сделать его поэтом, художником или скульптором, и которое коренным образом отличалось от тяги к аляповатой практичности, как и все остальные изящные искусства. Он с особой неприязнью наблюдал за рутинной и размеренной работой обычных механизмов. Когда его однажды повезли посмотреть на паровую машину в надежде поспособствовать его интуитивному пониманию законов механики, мальчик побледнел, его вырвало, словно ему показали нечто жуткое и

противоестественное. Отчасти этот ужас был вызван размерами и чудовищной энергией железного труженика, поскольку по складу ума Оуэн тяготел ко всему миниатюрному в полном соответствии с его тщедушным телосложением и изящными, тонкими, но сильными пальцами. Это вовсе не означало, что «красивое» равнялось для него «миленькому». Понятие прекрасного никак не соотносится с физическими размерами, оно способно воплотиться как в том, что возможно разглядеть лишь под микроскопом, так и в том, что по масштабам соизмеримо с радугой на небе. Однако, как бы то ни было, характерная для его произведений миниатюрность сделала окружающий мир еще более неспособным оценить гений Оуэна Уорленда. Родные мальчика решили, что лучше всего отдать его в ученики-подмастерья к часовщику в надежде, что его необычный дар можно соразмерить и обратить на что-нибудь полезное.

Питер Ховенден уже высказал мнение о бывшем ученике. Он не смог сделать из мальчишки настоящего часовщика. Правда, Оуэн с непостижимой быстротой понял секреты часового мастерства, однако он полностью забыл или намеренно презирал главную цель этого ремес-

ла и относился к измерению времени с таким пренебрежением, словно оно сливалось с вечностью. Однако пока он находился под присмотром пожилого учителя, недостаточная твердость характера Оуэна позволяла мастеру посредством требовательности и строгого надзора сдерживать его творческие порывы. Но когда его ученичество закончилось и он стал хозяином мастерской, которую Питер Ховенден передал ему по причине слабости зрения, все узнали, насколько Оуэн Уорленд не годится для того, чтобы изо дня в день вести за собой слепого старца по имени Время. Наиболее разумным из его начинаний была попытка связать механизмы часов с музыкальными репетирами, чтобы придать мелодичности резким диссонансам повседневной жизни, дабы каждое мимолетное мгновение исчезало в пропасти минувшего с золотистыми каплями гармонии. Если ему доверяли починку фамильных часов — высоких древних башен, которые стали неотъемлемой частью жизни людей, поскольку отмеряли время многим поколениям, — Оуэн позволял себе устроить так, чтобы числа на старинном циферблате танцевали или проходили похоронной процессией, изображая двенадцать веселых или грустных

часов. Несколько подобных уродцев напрочь подорвали репутацию молодого часовщика в глазах солидных и практичных людей, которые не терпят вольностей со временем, будь оно мерилом продвижения и процветания в этом мире или приготовления к переходу в мир иной. Его клиентура стремительно сокращалась, однако эту неудачу Оуэн Уорленд, вероятно, относил к числу своих успехов, поскольку его все больше влекли некие тайные занятия, требовавшие всех его знаний и умений, таким образом полностью давая проявиться его многогранному таланту. Подобные занятия продолжались уже много месяцев.

После того как старый часовщик и его хорошенькая дочь посмотрели на него из полутьмы вечерней улицы, Оуэна Уорленда охватило волнение, вызвавшее у него такую дрожь в руках, что ему пришлось на время оставить тонкую работу, которой он занимался.

— Энни! — пробормотал он — По тому, как у меня забилось сердце, надо было догадаться, что это она, прежде чем я услышал голос ее отца. Ах, как же оно колотится! Нынче вечером я едва ли смогу вновь взяться за работу над этим сложным и изящным механизмом. Энни, дорогая Энни!

Ты должна придать твердости моему сердцу и рукам, унять в них дрожь. Ведь если я и пытаюсь вдохнуть красоту в застывшую форму и придать ей движение, то только ради тебя. Успокойся, бьющееся сердце! Если работа моя застопорится, то ночью мне приснятся смутные и тревожные сны, и завтра я целый день буду вялым и полумертвым.

Когда он пытался заставить себя снова взяться за работу, дверь мастерской открылась и на пороге показался не кто иной, как Роберт Дэнфорт, чьей крепкой фигурой любовался Питер Ховенден, остановившись у дверей кузницы. Кузнец принес маленькую наковальню собственного изготовления и особой конструкции, которую недавно заказал ему молодой часовщик. Оуэн осмотрел наковальню и сказал, что та сделана именно так, как ему нужно.

— Ну конечно, — ответил Роберт Дэнфорт густым басом, разнесшимся по мастерской так, будто отзвук коленной виолы. — Я считаю, что справлюсь со всем, что касается моего ремесла, хотя в твоем ни на что бы не сгодился с такими кулаками, — со смехом добавил он, кладя свою огромную руку рядом с маленькой ладонью Оуэна. — И что с того? В один удар кувалдой я

вкладываю больше сил, чем ты потратил с самого ученичества. Разве нет?

— Очень может быть, — негромко ответил слабый голос Оуэна. — Сила есть зверь земной. Я на нее не претендую. Моя сила, в чем бы она ни заключалась, всецело духовного свойства.

— Ладно, но, Оуэн, что это ты мастеришь? — спросил его однокашник таким густым басом, что мастер весь сжался, особенно еще и потому, что вопрос этот касался предмета очень сокровенного, в который он вложил всю силу воображения. — Говорят, ты пытаешься придумать вечный двигатель.

— Вечный двигатель? Ерунда! — ответил Оуэн Уорленд с нотками отвращения, поскольку вопрос вызвал у него раздражение. — Его невозможно изобрести. Это мечта, могущая сбить с толку тех, кто озадачен материальными сущностями, но не меня. К тому же, будь его изобретение возможно, оно бы не стоило моего труда обратить эту тайну на цели, уже достигнутые с помощью пара и воды. Я не стремлюсь к чести быть провозглашенным отцом нового ткацкого станка.

— Вот было бы забавно! — вскричал кузнец с таким взрывом хохота, от которого задрожали сам Оуэн и стеклянные колпачки на его рабочем

столе. — Нет, нет, Оуэн! У твоих детей не будет железных суставов и сухожилий. Ну, не буду больше отвлекать. Спокойной ночи, Оуэн, и удачи. Если понадобится помощь вроде сильного удара молотом по наковальне, то обращайся.

Снова рассмеявшись, силач вышел из мастерской.

— Вот ведь странно, — еле слышно прошептал Оуэн Уорленд, подперев голову рукой, — что все мои раздумья, стремления, страстная тяга к красоте, понимание того, что я смогу ее создать, сознание силы столь эфемерной, что этот силач от мира сего и представить себе не может, все, все становится тщетным и праздным, как только мои дорожки пересекаются с Робертом Дэнфортом! Если я стану часто с ним видеться, он сведет меня с ума. Его напористая, грубая сила затмевает и конфузит во мне все духовное. Но я тоже стану по-своему сильным и не склонюсь перед его напором.

Он вынул из-под стекла крохотный механизм, поместил его под яркий свет лампы и, внимательно глядя на него через лупу, продолжил работать тонким стальным инструментом. Однако через мгновение он откинулся на спинку стула и нервно сцепил руки с таким выражением ужаса на

лице, что его изящные черты сделались не менее выразительными, как если бы принадлежали великану.

— Силы небесные! Что я наделал?! — воскликнул он. — Туман, воздействие грубой силы сбили меня с толку и притупили чувства. Я сделал движение, ставшее фатальным, усилие, которого боялся с самого начала. Все прахом — труд многих месяцев, цель всей моей жизни. Мне конец!

Вот так при соприкосновении с реальностью рассыпаются в пыль идеи и замыслы, что родились и вызрели в воображении, казавшиеся столь дивными и превосходящими все по своей ценности. Истинному творцу и мастеру требуется обладать твердым характером, казалось бы, едва совместимым с его утонченностью. Художник должен верить в себя, когда скептически настроенный мир обрушивает на него волны полного неверия, он должен противостоять всему роду человеческому и быть единственным приверженцем своего гения как в отношении дара, так и в отношении воплощений этого дара.

На какое-то время Оуэн Уорленд склонился под тяжестью этого сурового, но неизбежного испытания. Несколько недель он вяло просидел, уронив голову на руки, так что горожанам едва

выпадала возможность увидеть его лицо. Когда же он, наконец, поднял его навстречу ясному дню, то в нем обозначились какие-то трудно описуемые перемены. Лицо его приобрело холодное и безразличное выражение. Однако, по мнению Питера Ховендена и многих здравомыслящих и понимающих людей, считающих, что жизнь, как и ход часов, нужно регулировать при помощи свинцовых грузиков, эти перемены совершились целиком к лучшему. Оуэн и вправду с настойчивостью и усердием принялся за работу. Было удивительно наблюдать, с какой туповатой серьезностью он осматривал колесики старинных серебряных часов, вызывая умиление владельца, носившего их в жилетном кармане так долго, что они сделались частью его жизни, а посему ревностно относившегося к обращению с ними. В полном соответствии с обретенной Оуэном отличной репутацией городские власти пригласили его отрегулировать часы на церковной колокольне. Он столь превосходно справился с этим общественно важным делом, что купцы мрачно признавали его мастерство во время торгов. Сиделка, подавая лекарства в больничной палате, шепотом возносила ему хвалу, влюбленный благословлял его в назначенный час

свидания, и весь город благодарил Оуэна за точно отбиваемый час ужина. Одним словом, тяжкое бремя, довлевшее над его духом, поддерживало порядок во всем — не только в его мыслях, но и везде, где был слышен металлический голос церковных часов. Существовало еще одно обстоятельство, пусть незначительное, но характерное для тогдашнего состояния Оуэна. Когда ему поручали выгравировать на серебряных ложках имена или инициалы, он использовал необходимые буквы самого простого стиля, отказавшись от разнообразных вычурных завитушек, которыми раньше его работа выделяла его среди других мастеров.

Однажды во время этого счастливого преображения старый Питер Ховенден зашел навестить бывшего ученика.

— Ну что ж, Оуэн, — произнес он, — рад слышать о тебе хорошие отзывы, особенно от городских часов, которые хвалят тебя каждый час из двадцати четырех. Вот только выбрось из головы всю несусветную блажь насчет красоты, которой не понимаем ни я, ни все остальные, ни ты сам, если уж на то пошло. Отринь ее прочь, и успех в жизни тебе обеспечен — это ясно, как Божий день. Да, и если ты продолжишь в том же духе, то

я даже решусь доверить тебе починку своих драгоценных старинных часов. Ведь кроме дочери Энни они для меня ценнее всего на свете.

— Я едва ли посмею к ним прикоснуться, — уныло ответил Оуэн, поскольку на него давило присутствие бывшего учителя.

— Всему свое время, — сказал тот. — Со временем прикоснешься.

Старый часовщик с непринужденностью, являвшейся естественным следствием его прежнего положения учителя, принялся рассматривать то, над чем Оуэн работал, а также ждавшие своей очереди заказы. А тем временем мастер застыл, понурив голову. Не было ничего столь чуждого его характеру, чем холодная и приземленная рассудительность, при соприкосновении с которой все обращалось в эфемерные грезы, кроме твердо ощутимых предметов материального мира. Оуэн мысленно простонал и стал страстно молить небо, чтобы старик поскорее ушел.

— А это что такое?! — внезапно вскричал Питер Ховенден, подняв запыленный стеклянный колпачок, под которым оказался хрупкий крохотный механизм, похожий на препарированную бабочку. — Что тут у нас? Оуэн! Оуэн! В этих цепочках, колесиках и валиках скрыта нечистая сила. Гля-

ди! Одним движением пальцев я избавлю тебя от всех напастей.

— Ради всего святого! — взвизгнул Оуэн Уорленд, с поразительным проворством вскакивая на ноги. — Не трогайте, иначе сведете меня с ума! Одно движение — и я погибну без следа!

— Ага, вот как, молодой человек? — отозвался старый часовщик и бросил на него такой взгляд, что тот проник Оуэну в душу и уязвил ее суетным мирским порицанием. — Что же, иди своей дорогой, но еще раз предупреждаю тебя, что в этом крошечном механизме обитает злой дух. Изгнать его?

— Вы мой злой дух! — возбужденно ответил Оуэн. — Вы и грубый, жестокий мир! Вы наваеваете мне такие мрачные мысли и повергаете меня в такую тоску, что они клонят меня к земле, иначе бы я давным-давно исполнил то, для чего был рожден.

Питер Ховенден покачал головой, испытывая смешанное чувство презрения и негодования, с которым человечество, частично представленное им, считает себя вправе относиться к простофилям, ищущим иные награды, чем те, что валяются под ногами. Затем он вышел, назидательно подняв палец и так презрительно усмехнувшись,

что эта усмешка еще долго снилась мастеру в кошмарных снах. Во время прихода учителя Оуэн, возможно, совсем было собрался продолжить давно откладываемое дело, но после злополучного визита старика снова впал в состояние подавленности, из которого только-только начал выходить.

Однако во время этой внешней бездеятельности и вялости его душа понемногу набиралась сил. С течением лета он почти целиком забросил все дела и позволил отцу-времени, пожилому господину, представленному скопившимися у него в мастерской часами и хронометрами, бродить наобум и непрерывно вносить путаницу в череду часов и минут, коими измеряется жизнь человеческая. Он, как говорится, тратил драгоценные дни, слоняясь по лесам, полям и берегам ручьев. Там он, словно ребенок, развлекался ловлей бабочек или наблюдал за водными насекомыми. Было что-то поистине загадочное в том, с какой сосредоточенностью он глядел, как эти крохотные, почти игрушечные существа летали, влекомые ветром, или рассматривал строение пойманной им бабочки Императора. Погоня за бабочками сделалась для него типичным выражением стремления к идеалу, которому он посвятил

столько драгоценных часов. Но обретет ли этот прекрасный идеал воплощение в его руках, как символизирующая его бабочка? Те дни, вне всякого сомнения, были сладостны и ублажали душу мастера. Они полнились яркими замыслами, озаряли его внутренний мир, как бабочки озаряют воздух яркими крыльями. Замыслы эти на мгновение становились для него реальными без малейших усилий, замешательств и огорчений, свойственных попыткам сделать их видимыми глазу. Жаль, что мастер в поэзии или в ином искусстве не может довольствоваться наслаждением красотой, видимой его внутренним оком, но должен гнаться за ускользающей из его воображения тайной, чтобы погубить это хрупкое создание, схватив его рукой. Оуэн Уорленд испытывал столь же неодолимое стремление придать своим замыслам реальное воплощение, какое испытывают поэты или художники, наделяющие мир красотою более блеклой и тусклой, чем та, подобие которой перенесено из богатого словами и красками их внутреннего виденья.

Теперь Оуэн по ночам медленно воссоздавал образ, который целиком и полностью завладел всеми его помыслами. Каждый день при наступлении сумерек он тайком пробирался в город,

запирался в мастерской и долго, старательно и терпеливо над чем-то работал. Иногда он вздрагивал оттого, что в дверь стучал ночной сторож, который, когда всему миру должно спать, замечал свет, пробивавшийся сквозь щелки в ставнях мастерской Оуэна Уорленда. Дневной свет, как представлялось его болезненно чувствительному уму, своим вторжением мешал поискам. По этой причине в пасмурные и ненастные дни он сидел, уронив голову на руки, словно окутывая чувствительный и ранимый ум туманом сумбурных раздумий, поскольку Оуэн испытывал облегчение, уходя от ясности и четкости, которых требовали его мысли во время ночных трудов.

Как-то раз из подобного оцепенения его вывело появление Энни Ховенден, вошедшей в мастерскую с уверенностью заказчицы и в то же время с непринужденностью подруги детства. В ее серебряном наперстке образовалась дырочка, и она хотела, чтобы Оуэн его починил.

— Однако не знаю, снизойдешь ли ты до такой работы, — со смехом сказала она, — ведь теперь ты так увлечен задачей вдохнуть душу в механизмы.

— С чего это ты взяла, Энни? — удивленно спросил Оуэн.

— Ой, сама придумала, — ответила она. — А еще с того, что ты сказал давным-давно, когда мы были совсем детьми. Так что, починишь мне наперсток?

— Для тебя, Энни, я сделаю все что угодно, — произнес Оуэн Уорленд, — даже если придется пойти работать в кузницу к Роберту Дэнфорту.

— Да уж, то-то будет картина! — остроумно ответила Энни, с еле заметным пренебрежением оглядев стройную и хрупкую фигуру мастера. — Так, вот тебе наперсток.

— Да уж, странные все-таки у тебя возникают мысли об одушевлении вещей, — заметил Оуэн.

И тут ему пришла в голову мысль, что эта девушка понимает его лучше, чем весь остальной мир. А если бы он смог добиться взаимности от единственного любимого им существа — какой подмогой и опорой стало бы это в его ночных бдениях! Люди, чьи стремления отделены от повседневных дел — те, кто или опережает человечество, или стоит особняком, — часто ощущают холодное одиночество, от которого дух их содрогается так, словно попал в полярные льды. Какой пророк, поэт, реформатор, преступник или иной человек с обычными людскими помыслами, но отделенный от остальных людей особой судьбой,

прочувствовал то, что чувствовал бедный Оуэн?

— Энни! — вскричал он, смертельно побледнев от этой мысли. — С какой радостью я бы открыл тебе тайну своих поисков! Думаю, ты смогла бы по достоинству ее оценить. Знаю, ты бы выслушала меня с должным вниманием и уважением, которых мне нельзя ожидать от грубого и корыстного мира.

— Почему бы нет? Конечно, оценила бы — с легким смешком ответила Энни Ховенден. — Слушай, объясни-ка мне поскорей, что это за крошечная юла, да так изящно сделанная, что сгодилась бы в игрушки фее-насылательнице снов? Гляди! Я сейчас ее раскручу.

— Погоди! — воскликнул Оуэн. — Погоди!

Энни лишь слегка коснулась кончиком иголки того самого механизма, о котором уже не единожды упоминалось, как мастер схватил ее за руку с такой силой, что девушка громко вскрикнула. Она испугалась, увидев, как лицо Оуэна исказилось гримасой гнева и душевной боли. Мгновение спустя он обхватил голову руками.

— Уходи, Энни, — пробормотал он. — Я сам себя обманул и должен за это расплачиваться. Я жаждал взаимности и мечтал, что ты ею мне ответишь. Но у тебя, Энни, нет потайного ключа,

который открыл бы тебе доступ к моим тайнам. Одно твое прикосновение сгубило труд многих месяцев и разрушило саму цель моей жизни. Ты не виновата, Энни, но ты меня погубила.

Бедный Оуэн Уорленд! Он и вправду ошибся, что, однако, вполне простительно, поскольку если и существовала людская душа, способная с должным вниманием и пониманием вникнуть в столь священный для него замысел, то эта душа должна была принадлежать женщине. Даже Энни Ховенден, возможно, не разочаровала бы его, обладай она чуткостью любящего сердца.

Наступившую вскоре зиму мастер прожил, доставив удовольствие всякому, кто до тех пор надеялся, что он безвозвратно обрек себя на полную никчемность по отношению к миру и на жалкую участь. Кончина одного из родных принесла ему небольшое наследство. Таким образом, избавленный от необходимости работать и утративший неустанное стремление к великой цели — по крайней мере, великой для него, — он развил в себе привычки, от которых, как представлялось, его ограждали тонкость и мечтательность характера. Но когда то возвышенное, что есть в гении, затуманивается — приземленное, наоборот, приобретает неограниченное влияние, поскольку ха-

рактер этого человека оказывается выведенным из равновесия, которое до этого тонко регулировалось Провидением. В более грубых натурах оно обычно поддерживается иными силами. Оуэн Уорленд на собственном примере доказал, какие радости можно познать в необузданном веселье. Он смотрел на мир сквозь золотистые винные пары и разглядывал видения, весело бурлившие на краю стакана и наполнявшие воздух сладостно-безумными образами, которые вскоре превращаются в жалких призраков. Даже когда в нем неизбежно произошли зловещие перемены, молодой человек по-прежнему продолжал пить из чаши веселья, хотя винные пары погружали жизнь во мрак, из которого ему в лицо смеялись уродливые привидения. Его одолевала раздражительность, которая, будучи реальной и наиболее остро ощущаемой, мучила его куда сильнее, чем любые фантасмагории и ужасные кошмары, возникающие из-за непомерного потребления горячительных напитков. Что касается пьянства, то даже в самом глубоком запое он помнил, что все эти видения суть галлюцинации, а что касается раздражительности, то он твердо знал, что гнетущая тоска и есть его жизнь.

Из этого пагубного состояния его вывел случай,

свидетелями которого были многие, но даже самые проницательные не могли объяснить или даже предположить, как он повлияет на Оуэна Уорленда. Случай довольно простой. Теплым весенним вечером, когда мастер со стаканом в руке сидел в компании собутыльников, в открытое окно влетела красавица бабочка и закружилась у него над головой.

— А! — воскликнул подвыпивший мастер. — Ты снова ожила после мрачной зимней спячки, дитя солнца и подруга летнего ветерка? Тогда настало время мне приняться за работу!

Поставив на стол полупустой стакан, он вышел, и больше никто не видел, чтобы Оуэн хоть раз пригубил вина.

И вот он снова принялся бродить по лесам и полям. Можно предположить, что яркая бабочка, которая подобно духу влетела в окно, когда Оуэн сидел с буйными бражниками, и впрямь была духом, призванным вернуть его к чистой и светлой жизни, которой он выделялся среди людей. Можно предположить, что он отправился искать этот дух в его солнечном обиталище, поскольку Оуэна все лето видели гонявшимся за бабочками. Он осторожно подкрадывался, когда одна из них садилась, и долго за ней наблюдал. Когда

она взлетала, он провожал глазами крылатое видение, словно ее воздушная тропа могла указать ему путь на небеса. Но что являлось целью неурочных трудов, которые снова возобновились, о чем ночной сторож узнавал по лучикам света, пробивавшимся сквозь щелки в ставнях мастерской Оуэна Уорленда? Горожане находили всем этим странностям одно-единственное объяснение: Оуэн Уорленд повредился умом! Насколько действенно и убедительно для всех и вся, как сладостно это объяснение ласкает уязвленное самолюбие косности, ограниченности и тупости. Это наилегчайший способ объяснения всего, что лежит за пределами обывательского кругозора! От Святого Павла и до нашего бедного худенького мастера красоты одним и тем же потайным ключом открывали все тайны слов или дел людей, что говорили или действовали слишком мудро или слишком хорошо. Возможно, в случае Оуэна Уорленда горожане были правы. Возможно, он и вправду рехнулся. Отсутствие сочувствия, резкие различия между ним и соседями, снимавшие всякие моральные ограничения, — всего этого хватило, чтобы свести его с ума. Или, возможно, в сочетании вышнего сияния с обычным дневным светом Оуэн разглядел столько небесного огня,

что, с обывательской точки зрения, мог помутиться рассудком.

Однажды вечером, когда мастер вернулся с привычной прогулки и едва успел направить свет лампы на хрупкий предмет своих трудов, словно в этом механизме воплотилась его судьба, он чрезвычайно удивился появлению старого Питера Ховендена. При виде этого человека у Оуэна всегда сжималось сердце. Он был ужаснее всех на свете, поскольку обладал четким пониманием того, что отчетливо перед собою видел, и отличался полным неверием в то, чего не видел. На этот раз у старого часовщика нашлась для бывшего ученика пара ласковых слов.

— Оуэн, дружочек, — сказал он, — завтра мы ждем тебя.

Мастер начал бормотать какие-то отговорки.

— Нет, ты обязательно должен к нам прийти, — говорил Питер Ховенден, — ради тех дней, когда ты был для нас членом семьи. Как же, мальчик мой! Разве ты не знаешь, что моя дочь Энни обручилась с Робертом Дэнфортом? Мы устраиваем небольшой праздник, чтобы отметить это событие.

Оуэн ответил односложно, для ушей Питера Ховендена это слово прозвучало холодно и без-

различно, однако в нем заключался сдавленный вопль сердца бедного мастера, который он подавил в себе, словно человек, обуздывающий злого духа. Однако он позволил себе слабое проявление чувств, оставшееся незамеченным старым часовщиком. Подняв инструмент, которым он намеревался продолжить работу, Оуэн уронил его на механизм, в который раз стоивший ему месяцев раздумий и кропотливого труда. Одно движение — и механизм разлетелся на кусочки!

История Оуэна Уорленда ни в коей степени не передавала бы тревожную жизнь тех, кто стремится создать красоту, если бы, помимо прочих препятствующих обстоятельств, не вмешалась бы любовь и не лишила бы его руку сноровки. Внешне он не походил на пылкого и предприимчивого влюбленного, все перипетии его страсти, волнения и превратности были столь надежно спрятаны в его воображении, что даже сама Энни лишь смутно догадывалась о его чувствах только благодаря женской интуиции, однако, по мнению Оуэна, они составляли суть его жизни. Забыв о том времени, когда она оказалась неспособной на ответное чувство, он упорно продолжал связывать мечты о творческих достижениях с ее образом. Она была видимым воплощением ду-

ховности, которой он поклонялся, на чей алтарь он надеялся принести достойные ее подношения. Конечно же, он обманывал себя: Энни Ховенден не обладала теми качествами, которыми ее наделило воображение мастера. Ее образ являлся таким же его творением, как и загадочный механизм, если только Оуэн сможет закончить работу над ним. Если бы он убедился в своих ошибках благодаря взаимной любви — завоевал бы благосклонность Энни и потом увидел бы, как она из ангела превращается в обычную женщину, — то это разочарование подтолкнуло бы его с новой силой обратиться к единственному оставшемуся предмету его устремлений. С другой стороны, найди он Энни такой, о какой мечтал, его судьба была бы столь прекрасна, что лишь из-за чрезмерного обилия красоты он воплотил бы ее в творениях куда более достойных, чем то, над чем трудился теперь. Но он не мог принять ипостась, в которой к нему явилось горе, не мог принять осознания того, что у него отняли ангела всей его жизни и отдали грубому работяге, привыкшему иметь дело с землей и железом, которому не нужна ее божественность и который не сможет по достоинству ее оценить. Именно подобные капризы судьбы делают человеческое существо-

вание нелепым и противоречивым, чтобы в нем оставалось место надежде или страху. Оуэну Уорленду не оставалось ничего другого, кроме как рухнуть на стул, словно его оглушили.

Оуэн перенес тяжелую болезнь. После выздоровления его небольшое стройное тело сделалось дородным и тучным, каким не было никогда ранее. Впалые щеки округлились, изящные маленькие руки, словно нарочно созданные для тонкой работы, стали пухлыми, как у упитанного ребенка. Лицо приобрело настолько детское выражение, что невольно могло заставить незнакомого человека погладить его по голове — однако потом тотчас же отдернуть руку и удивиться, что это за ребенок рядом с ним. Казалось, будто дух покинул его, оставив тело расцветать в каком-то растительном существовании. Оуэн Уорленд не то чтобы сделался идиотом. Он разговаривал, и вполне здраво. Люди стали считать его болтуном, поскольку он пускался в утомительно долгие рассуждения о чудесных механизмах, о которых прочел в книгах, но которые, однако, считал выдуманными. К ним он причислял Латунного Человека, созданного Альбертом Великим, и Бронзовую Голову монаха Бэкона. Что же до более близкого нам времени, то к таковым Оуэн

относил механическую игрушку в виде кареты с лошадьми, которую, как полагали, изготовили для французского дофина, а также насекомое, которое жужжало над ухом, как живая муха, но в действительности было составлено из крохотных стальных пружинок. Еще Оуэн рассказывал историю про утку, которая ходила вразвалку, крякала и ела. Однако если бы какой-то уважаемый гражданин купил бы ее себе на ужин, то обнаружил бы, что его обманули, подсунув механическое подобие утки.

— Однако теперь-то я доволен тем, — говорил Оуэн Уорленд, — что знаю: все эти истории суть сплошной обман.

Затем он загадочным тоном признавался, что некогда думал иначе. В дни праздных мечтаний он считал вполне возможным в некотором смысле одухотворить механизм и при помощи таким образом выведенной формы жизни, наделенной движением, создать идеальную красоту, которой Природа намеревалась наделить все свои творения, но приложила к этому недостаточно усилий. Однако Оуэн, казалось, имел довольно смутное представление о том, как достичь этой цели, и о том, в чем эта цель состоит.

— Сейчас я выбросил все это из головы, — го-

ворил он. — Всё это лишь мечта, одна из тех, которыми всегда очаровываются юноши. Но теперь, когда я обрел немного здравого смысла, я смеюсь при одной мысли об этом.

Бедный падший Оуэн Уорленд! Это были признаки того, что он перестал быть вхож в тот дивный мир, что лежит вокруг нас, невидимый глазу. Он потерял веру в невидимое и теперь, как и все подобные ему несчастные, гордился своей мудростью, отвергавшей многое из того, что он видел, и доверявшей лишь тому, что можно потрогать рукой. Это несчастье всех людей, в ком умирает дух, оставляя им более сильное понимание материального мира, которое заставляет их все больше и больше уподобляться предметам, которые они видят вокруг себя. Однако в Оуэне Уорленде дух не умер и не покинул его, он лишь заснул.

Как он вновь проснулся, никому не известно. Возможно, из глубокой спячки его вывел приступ боли. Возможно, как и в кабаке, прилетела бабочка, покружила у него над головой и вновь вдохновила его — как эти солнечные создания всегда таинственно воздействуют на художников — и вдохнула в него прежнюю цель жизни. Пронзила ли его боль, или же он встрепенулся

от счастья, но первым его порывом было возблагодарить небо за то, что оно снова вернуло ему остроту мысли, резвость воображения и тонкость восприятия, которые он давно утратил.

— Теперь за работу, — сказал он. — Я никогда еще не чувствовал в себе столько сил.

Однако ощущая новый прилив энергии, он заставлял себя работать с еще бо`льшим усердием, боясь, как бы смерть не оборвала его труд на половине. Вероятно, подобный страх свойственен тем, кто всем сердцем посвятил себя столь высоким целям, что жизнь становится важна лишь как условие их достижения. Пока мы любим жизнь как таковую, мы редко боимся ее лишиться. Когда мы хотим жить ради достижения цели, мы осознаем всю ее хрупкость и бренность. Однако этому чувству незащищенности сопутствует несокрушимая вера в неуязвимость перед лицом зияющей бездны смерти, пока мы заняты делом, порученным нам самим Провидением как единственно правильным, и в то, что мир станет скорбеть, если мы его не завершим. Может ли философ, вдохновленный на создание теории, которая изменит жизнь человечества, поверить в то, что его освященное высокой идеей существование закончится в миг, когда он наберет

полные легкие воздуха, чтобы произнести слова светлой истины? Умри он вот так, и пройдут века, а в мировых часах мало-помалу истощится песок, прежде чем появится новый ум, готовый создать ту же истину, что была высказана гораздо раньше. Но история приводит нам множество примеров, когда великий дух, в ту или иную эпоху явившийся среди людей, безвременно умирает, не прожив отпущенного ему срока для выполнения земного предназначения. Пророк умирает, а человек с черствым сердцем и ленивым умом продолжает жить. Поэт оставляет песнь недопетой или заканчивает ее в небесном хоре, неслышимом простым смертным. Художник вроде Оллстона оставляет картину недописанной, огорчая нас несовершенством ее красоты, и отправляется переносить на холст весь мир — не сочтите это непочтительным — красками небесными. Однако не законченные в этой жизни шедевры, скорее всего, так и останутся незавершенными. Столь часто прерванные полеты человеческого гения должны служить доказательствами того, что дела земные, даже вдохновленные благочестием или большим талантом, не имеют иной ценности, кроме как стремления к духовности и ее проявлениям. На небесах все обычные мысли

более возвышенны и мелодичны, чем поэзия Мильтона. В таком случае стал бы он, оказавшись в мире ином, добавлять хоть одну строфу к стихам, не законченным при жизни?

Однако вернемся к Оуэну Уорленду. К счастью или к несчастью, судьбой ему было означено завершить дело всей жизни. Пропустим долгий период напряженных размышлений, кропотливого труда и мучительных тревог, увенчавшийся моментом одинокого торжества. Оставим это нашему воображению и увидим мастера зимним вечером, когда он пришел в гости к Роберту Дэнфорту, чтобы посидеть у камелька. Там он увидел кузнеца, чья могучая фигура под влиянием семейной жизни стала как бы мягче, а движения сделались более плавными и размеренными. Увидел он и Энни, превратившуюся в мать семейства, во многом перенявшую от мужа простоту и твердость характера, но наделенную, как все еще верил Оуэн, изяществом и грацией, которые могли бы сделать ее связующим звеном между силой и красотой. Получилось так, что в тот вечер проведать дочь зашел старый Питер Ховенден, и мастер при первом же взгляде заметил на его лице незабываемое выражение холодного и язвительного осуждения.

— Оуэн, дружище! — вскричал Роберт Дэнфорт, вскочив и сжав тонкие пальцы мастера лапищей, привыкшей хватать железные прутья. — Хорошо, что ты наконец-то по-соседски заглянул к нам. Я уж испугался, что вечный двигатель так тебя околдовал, что ты забыл прошлые времена.

— Рады тебя видеть, — сказала Энни, и на ее округлившихся щеках выступил легкий румянец. — Негоже чураться старых друзей.

— Ну что, Оуэн? — вместо приветствия спросил старый часовщик. — Как подвигается работа над красотой? Ты ее наконец-то создал?

Мастер ответил не сразу. Он пораженно смотрел на ползающего по ковру упитанного малыша — на маленького ребенка, загадочно возникшего из глубин бытия, но такого плотного и крепкого, что он казался сделанным из самого прочного материала, каким только обладает земля. Этот веселый резвый карапуз подполз к незнакомцу и, усевшись на пятую точку, как выразился Роберт Дэнфорт, уставился на Оуэна такими смышленными и внимательными глазами, что его мать невольно обменялась с мужем полным гордости взглядом. Но мастера этот взгляд встревожил, поскольку напомнил ему привычное выражение глаз Питера Ховендена. Ему представилось, будто

старый часовщик сжался до размеров ребенка и глядел на него детскими глазами, язвительно повторяя вопрос: «Красота, Оуэн! Как подвигается работа над красотой? Тебе удалось ее создать?»

— Удалось, — ответил мастер, на мгновение торжествующе сверкнув глазами и лучезарно улыбнувшись, однако улыбка эта была окутана такими глубокими раздумьями, что казалась почти печальной. — Да, друзья мои, это так. Мне удалось ее создать.

— Правда? — воскликнула Энни, и лицо ее вновь озарилось озорной девичьей веселостью. — А теперь-то можно спросить, в чем ее секрет?

— Конечно, я затем и пришел, чтобы вам его открыть, — ответил Оуэн Уорленд. — Вы его увидите, потрогаете и узнаете! Поскольку, Энни — если мне еще позволено так обращаться к подруге мальчишеских лет, — я сработал этот одухотворенный механизм, эту движущуюся гармонию, эту таинственную красоту в подарок на твою свадьбу. Подарок запоздалый, это верно, но по мере того как мы движемся по жизни, когда меркнет свежесть красок, а души теряют тонкость восприятия, дух красоты становится все нужнее. Если… прости, Энни… если ты смо-

жешь… оценить этот подарок, он никогда не станет запоздалым.

С этими словами он вынул предмет, похожий на шкатулку для драгоценностей. Вещица была вручную вырезана из черного дерева, а внутри выложенный из жемчужин узор изображал мальчика в погоне за бабочкой, которая затем превращалась в крылатого духа и взмывала к небу. Тем самым исполнялось желание мальчика — или юноши — взлететь с земли на облако, а оттуда — к небесам, чтобы познать красоту. Мастер открыл шкатулку и попросил Энни коснуться ее пальцами. Она так и сделала, но тихонько вскрикнула, когда бабочка выпорхнула из шкатулки и уселась ей на кончик пальца, помахивая роскошными лиловыми в золотых крапинках крыльями, словно собираясь взлететь. Невозможно передать словами всё великолепие и блеск этой бабочки. В ней в совершенстве воплотился идеал матери-природы — не то блеклое насекомое, что порхает среди земных цветов, а то, что летает над райскими кущами, забавляя крошек ангелов и чистые души младенцев. Крылья покрывал густой пушок, а глаза, казалось, были преисполнены духовного порыва. На это чудо падал свет от камина и отблески свечей, но оно

и само светилось беловатым сиянием, словно драгоценный камень. При совершенной красоте бабочки размеры не имели никакого значения. Если бы крыльями она упиралась в поднебесье, ее вид все так же ласкал бы глаз и душу.

— Вот прелесть! Вот прелесть! — воскликнула Энни. — Она живая? Живая?

— Живая? Конечно, живая, — ответил ее муж. — Думаешь, у простого смертного хватит умения сделать такую бабочку, да и возьмет ли он на себя труд ее смастерить, если любой ребенок сможет летним днем наловить их целую пригоршню? Живая? Разумеется! Но вот дивная шкатулка, несомненно, сработана нашим другом Оуэном и впрямь делает ему честь.

В это мгновение бабочка снова взмахнула крыльями, да так натурально, что Энни поразилась и даже ощутила благоговейный страх, поскольку, в отличие от мужа, она еще не до конца поняла, что это: живое существо или удивительный механизм.

— Она живая? — повторила она, но уже серьезнее, чем раньше.

— Сама суди, — ответил Оуэн Уорленд, пристально глядя ей в глаза.

Бабочка вспорхнула ввысь, покружила у Энни

над головой и улетела в дальний угол гостиной, но не пропала из виду благодаря свечению, похожему на звездное, которое озаряло ее при каждом взмахе крылышек. Сидевший на полу ребенок проводил ее сосредоточенным взглядом. Облетев комнату, бабочка описала спираль и снова села на палец Энни.

— Но ведь она живая?! — снова воскликнула та, а палец, на который приземлилось это чудесное великолепие, задрожал так, что бабочке приходилось помахивать крылышками, чтобы не упасть. — Скажи мне, она живая, или ты ее сделал?

— Зачем спрашивать, кто ее создал, если она прекрасна? — отозвался Оуэн Уорленд. — Живая? Да, Энни, вполне можно сказать, что она наделена жизнью, поскольку она впитала в себя мою сущность. Секрет этой бабочки в том, что она — воплощение чувств, воображения и души Мастера красоты! Да, я ее создал. Однако… — Тут выражение его лица несколько изменилось. — Теперь эта бабочка означает для меня совсем не то, что я видел в юношеских мечтах.

— Какой бы она ни была, игрушка чудесная, — сказал кузнец, улыбаясь от восторга, словно ребенок. — Интересно, снизойдет ли она до того,

чтобы сесть на огромный неуклюжий палец вроде моего? Дай-ка руку, Энни.

По кивку мастера Энни кончиком пальца коснулась пальца мужа, и бабочка, чуть помедлив, перебралась на него. Потом изготовилась для следующего полета, взмахнула крылышками, как и в первый раз, после чего вспорхнула с толстого пальца кузнеца и, постепенно расширяя спираль взлета, поднялась под потолок. Описав широкий круг по комнате, она таким же образом вернулась в то место, откуда вспорхнула.

— Да, вот это я понимаю! — воскликнул Роберт Дэнфорт, высказав похвалу доступными ему словами. И в самом деле, если бы он не продолжил, то человек более красноречивый и с более тонким восприятием едва ли смог бы сказать больше. — Признаться, такое мне не по плечу. Ну и что с того? От одного моего удара кувалдой куда больше пользы, чем от пятилетних трудов, которые наш друг Оуэн потратил на эту бабочку.

Тут ребенок захлопал в ладоши и что-то громко залопотал, явно требуя, чтобы ему дали поиграть с бабочкой.

Тем временем Оуэн Уорленд искоса посматривал на Энни, чтобы понять, разделяет ли она точку зрения мужа на сравнительную ценность

красоты и практической пользы. При всем ее благожелательном отношении к Оуэну, при всем ее удивлении и восхищении, с которыми она смотрела на плод его трудов и воплощение его замысла, в ней проскальзывало какое-то скрытое пренебрежение, возможно, едва ли осознаваемое ею самой, но явственно ощущаемое мастером с тонким интуитивным восприятием. Однако Оуэн на последних стадиях своих изысканий поднялся на такие высоты, где подобное открытие уже не является пыткой. Он знал, что этот мир и Энни, как его представительница, никогда не найдут подходящих слов и не испытают должных чувств, которые в полной мере вознаградили бы мастера, вложившего высокий смысл в вещицу-безделушку, превратив земной прах в духовное золото и тем самым создав подлинную красоту. Он гораздо раньше понял, что награду за высокие достижения нужно или искать в себе самом, или не искать вовсе. Однако существовала и другая точка зрения, которую полностью поняли и приняли бы Энни, ее муж и даже Питер Ховенден, заключавшаяся в том, что многолетний труд вполне может быть достойно вознагражден. Оуэн Уорленд мог бы сказать, что эта бабочка, эта игрушка, этот свадебный подарок бедного

часовщика жене кузнеца на самом деле была шедевром, которым не постыдился бы владеть сам король, щедро вознаградив мастера, осыпав почестями и непременно поместив к другим королевским драгоценностям и относясь как к уникальному и чудеснейшему сокровищу. Но мастер только улыбнулся и оставил эту тайну при себе.

— Папа, — сказала Энни, думая, что похвала из уст старого часовщика доставит удовольствие его бывшему подмастерью, — подойди и полюбуйся на эту прелестную бабочку.

— Посмотрим, посмотрим, — произнес Питер Ховенден и поднялся со стула с презрительной усмешкой на лице, которая всегда заставляла людей, как и его самого, сомневаться во всем, кроме того, что имело вещественное воплощение. — Вот мой палец, чтобы она на него села. Я лучше вникну, когда ее потрогаю.

Однако, к нарастающему изумлению Энни, когда отец кончиком пальца коснулся пальца ее мужа, на котором по-прежнему сидела бабочка, насекомое сложило крылышки и, казалось, собралось упасть на пол. Даже яркие золотые крапинки, усеивавшие крылья и тело бабочки — если только зрение не обманывало Энни, — по-

тускнели, сверкавший лиловый цвет потемнел, а подобное звездному сияние вокруг руки кузнеца стало меркнуть и погасло.

— Она умирает! Умирает! — встревоженно воскликнула Энни.

— Она очень тонкой работы, — спокойно произнес мастер. — Как я уже говорил, она вобрала в себя некое духовное начало — называйте его магнетизмом или чем-то еще. В атмосфере недоверия и насмешек ее утонченная натура страдает так же, как и душа того, кто вдохнул в нее собственную жизнь. Она уже утратила красоту, и через несколько мгновений ее механизм будет непоправимо испорчен.

— Папа, убери руку! — побледнев, взмолилась Энни. — Вот мой малыш, пусть она посидит на ручонке невинного ребенка. Возможно, там к ней вернется жизнь, а краски сделаются ярче прежнего.

Часовщик, раздраженно ухмыльнувшись, убрал палец. Бабочка, похоже, снова обрела способность двигаться, краски засверкали почти как раньше, а звездное сияние, придававшее бабочке особую изысканность, снова окружило ее, будто нимб. Сначала, когда бабочка перелетела с руки Роберта Дэнфорта на крохотный пальчик малы-

ша, сияние это сделалось таким ярким, что на стене появилась тень ребенка. А тот тем временем, как мама и папа, вытянул пухленькую ручку и с детским восторгом глядел, как насекомое помахивало крылышками. Тем не менее глаза ребенка смотрели на бабочку с какой-то странной проницательностью, и Оуэну Уорленду почудилось, что в малыша вселилась частица старого Питера Ховендена, и глубокая недоверчивость старика частично сменила детскую веру в чудо.

— Какой умный взгляд у нашей обезьянки! — шепнул Роберт Дэнфорт жене.

— Никогда раньше не видела у детей такого взгляда, — ответила Энни, по праву любуясь своим малышом с куда большей радостью, чем изящной бабочкой. — Наш карапуз понимает эту тайну гораздо лучше, чем мы.

А бабочка, как и ее создатель, словно почувствовала в ребенке нечто враждебное и принялась то искриться, то снова меркнуть. В конце концов, она вспорхнула с ручки ребенка таким легким движением, что казалось, будто она поднимается вверх без малейшего усилия, словно бы вложенный в нее мастером высокий дух, помимо ее воли, возносил бабочку ввысь. Не будь на ее пути препятствия, она взлетела бы к небу и стала

бессмертной. Однако сияние засверкало под потолком, тонкие крылышки забились о преграду, и пара искр, словно частички звездной пыли, медленно опустились и остались тлеть на ковре. Затем, помахивая крыльями, бабочка устремилась вниз, но вместо того, чтобы вернуться к ребенку, направилась к руке мастера.

— Нет! Нет! — торопливо пробормотал Оуэн Уорленд, словно творение его рук могло понять и его слова. — Ты ушла из сердца создавшего тебя. Возврата тебе нет.

Излучая неровное сияние, бабочка нерешительно, словно с чем-то борясь, повернула к ребенку, собираясь сесть на его пальчик. Но когда она на мгновение зависла в воздухе, пухлый карапуз с дедовским хитрым и смекалистым выражением на лице резко вытянул ручку, поймал дивное насекомое и сжал его в ладошке. Энни завизжала. Старый Питер Ховенден разразился холодным презрительным смехом. Кузнец не без труда разжал кулачок ребенка и увидел на ладошке кучку сверкающих обломков, в которых навсегда исчезла тайна красоты. Что же до Оуэна Уорленда, он спокойно взирал на то, что казалось крахом трудов всей его жизни, но окончательным крахом все-таки не было. Он поймал бабочку, однако

не эту, а совсем другую. Когда мастер достигает высот, достаточных для того, чтобы постичь красоту, чей символ он сделал доступным чувствам смертных, символ этот теряет ценность в глазах художника, в то время как дух его познаёт радость от созерцания окружающего мира.

Огненное очищение Земли

Однажды — и не имеет особого значения, в прошлом или в будущем, — мир столь отяготился скопившимся в нем хламом, что его обитатели решили избавиться от мусора путем его сожжения в огромном костре. Место было определено по рекомендациям страховых компаний, и поскольку находилось в самом центре земного шара, то располагалось оно на бескрайних просторах западных прерий, где пламя не угрожало бы человеческому жилью и где огромное количество зрителей могло бы беспрепятственно понаблюдать за этим зрелищем. Имея склонность к подобного рода мероприятиям, а также полагая, что возжигание костра сможет высветить потаенные глубины нравственности, я отправился в путь, дабы присутствовать при этом событии. По приезде я обнаружил, что огонь уже стали разводить, хотя кипа предназначенного для сожжения мусора была сравнительно невелика. Посреди бескрайней равнины в сумерках мерцали первые искры, напоминающие одинокие звезды на небосводе, и никто не подозревал, в какое пожа-

рище им суждено превратиться. Однако с каждой минутой людей становилось все больше. Они шли пешком, женщины придерживали концы полных мусора фартуков, люди ехали верхом, катили тачки, тряслись в телегах и в других повозках, больших и малых, двигались из ближайших окрестностей и издалека, нагруженные предметами, которые сочли годными лишь на то, чтобы их сжечь.

— А что же использовали для растопки? — спросил я у стоявшего рядом человека, поскольку мне захотелось вникнуть в суть происходящего от начала до конца.

Тот, к кому я обратился, довольно мрачный мужчина лет пятидесяти, явно прибыл сюда понаблюдать за этим зрелищем. Он сразу поразил меня как человек, определивший для себя истинные жизненные ценности, а потому проявлявший небольшой личный интерес к тому, как к ним относится окружающий мир. Прежде чем ответить, он в отблесках разгоравшегося пожара внимательно рассмотрел мое лицо.

— О, самые сухие вещи, — проговорил он, — особенно подходящие для этой цели, на самом деле вчерашние газеты, журналы за прошлый месяц и прошлогоднюю листву. А вот и древний

хлам, от которого костер разгорится, как от пригоршни стружек.

При этих его словах вплотную к огню подошли какие-то мужчины, с виду простолюдины, и принялись бросать туда, как выяснилось, всякий геральдический мусор: сверкающие гербы, эмблемы и регалии знатных семейств, родословные, уходящие, подобно лучикам света, во мрак средних веков. Они летели в пламя вперемежку со звездами, орденами и вышитыми золотом воротниками, которые могли бы показаться несведущему глазу совершеннейшими безделушками, однако в свое время имели огромное значение и, по правде говоря, до сих пор почитались любителями славного прошлого как отличительные знаки высоких моральных и прочих человеческих качеств. В этой геральдической мишуре, охапками швыряемой в огонь, мелькали бесчисленные почетные знаки рыцарского достоинства всех родов Европы, ленты наполеоновского ордена Почетного Легиона переплетались с лентами старинного ордена Святого Людовика. Среди прочего были и медали нашего общества Цинциннати. С его помощью, как гласит история, едва не учредили потомственное дворянство для тех, кто во время революции боролся против вла-

сти монархии. Там же попадались жалованные грамоты немецких графов и баронов, испанских грандов, британских пэров — от изъеденных червями повелений, подписанных Вильгельмом Завоевателем, до хрустящего пергамента новоявленного лорда, получившего сию милость из августейших рук королевы Виктории.

При виде густых облаков дыма, прорезаемых яркими языками пламени, которое поглотило огромную кучу знаков земных почестей, толпа зрителей из простонародья издала радостный крик и так захлопала в ладоши, что звуки эти эхом отразились от небосвода. То был миг торжества, воцарившегося после долгих веков, над теми, кто, будучи созданными из одинакового праха и духовных немощей, осмелился присвоить себе привилегии, даруемые лишь за труды на поприще высшего блага. Но тут к пылающей груде рванулся величавый седоволосый человек в пальто, с которого сорвали звезду или какой-то другой знак отличия. Лицо его не блистало умом, но осанка выдавала привычную и почти естественную высокомерную манеру держаться, присущую человеку, с рождения уверившемуся в своем превосходстве и до этого мгновения ни разу в нем не усомнившемуся.

— Люди! — вскричал он с горечью и изумлением, при этом властно оглядывая останки того, что казалось ему дороже всего на свете. — Люди, что же вы наделали? Огонь пожирает все, что знаменовало собой ваше отдаление от варварства, все, что могло бы помешать вам снова в него впасть. Мы, верхушка общества, являлись теми, кто из века в век сохраняли дух рыцарства, изысканные и благородные помыслы, высокие, чистые, светлые и священные идеалы. Повергая в прах дворянство, вы повергаете в прах поэтов, художников, скульпторов — все изящные искусства. Ибо мы были их покровителями и создали атмосферу для их процветания. Отменяя сословные различия, государство утрачивает не только величие, но и устойчивость…

Несомненно, он сказал бы больше, но тут раздались резкие, презрительные и возмущенные выкрики, окончательно заглушившие речь развенчанного аристократа, выкрики настолько угрожающие, что, в последний раз с отчаянием взглянув на полусгоревшую родословную, он снова нырнул в толпу, с радостью прикрывшись только что обретенной ничтожностью.

— Пусть благодарит судьбу, что мы не бросили в огонь и его! — крикнул коренастый мужчина,

пнув ногой угли. — Отныне никто не посмеет показывать заплесневелый пергамент как подтверждение права распоряжаться своими ближними. Если есть сила в руках и добрая воля — это отчасти превосходство. Если есть острый ум, мудрость, мужество и твердый характер — пусть сослужат человеку службу. Но отныне ни один смертный не должен надеяться, что уважение к заплесневелым костям его предков обеспечит ему положение в обществе. С этой ерундой покончено.

— И как раз вовремя, — заметил стоявший рядом со мной мрачный зритель, однако не очень громко. — Если эта ерунда не сменится ерундой похуже. Однако в любом случае данная разновидность чуши почти что себя изжила.

Времени размышлять или резонерствовать касательно обугливавшегося хлама из прошлого почти не осталось, поскольку, не успел он прогореть, из-за моря надвинулась еще одна толпа, несшая царственные пурпурные мантии, короны, державы и скипетры императоров и королей. Они были заклеймены как бесполезный хлам, который в лучшем случае мог служить игрушками для детей или розгами для их воспитания и наказания. Однако взрослое население

Земли больше не могло мириться с тем, что его оскорбляют подобными предметами. Эти монаршие регалии вызывали такое отвращение, что в огонь со всем прочим полетели золоченая корона и блестящая мантия актера из театра «Друри Лейн», исполнявшего роли королей, несомненно, в знак издевательства над его августейшими собратьями, игравшими на огромной сцене мировой политики. Странно было видеть, как в отблесках пламени сверкают драгоценные камни английской короны. Некоторые из них пришли из времен принцев-саксов, другие покупались на огромные барыши или, возможно, их похитили с мертвых тел туземных правителей Индостана. Все они сверкали нестерпимо ярким светом, словно в то место упала звезда и разбилась на множество осколков. Великолепие рухнувшей монархии отражалось лишь в этих бесценных камнях. Но довольно об этом. Было бы утомительно описывать, как обратилась в прах мантия австрийского императора или же как столпы и столбики французского трона сделались кучкой углей, неотличимой от других останков сгоревшего дерева. Однако позвольте добавить, что я заметил, как один из изгнанников-поляков помешивал в костре скипетром русского царя,

который потом бросил в пламя.

— Эти паленые одеяния воняют совершенно невыносимо, — заметил мой новый знакомый, когда нас от порыва ветра заволокло дымом горевшего королевского гардероба. — Давайте перейдем на наветренную сторону и посмотрим, что делается там.

Мы обошли костер и как раз успели к прибытию огромной процессии вашингтонцев, как теперь называют себя сторонники трезвости, в сопровождении тысяч ирландских последователей отца Мэтью с самим апостолом во главе. Они принесли щедрую пищу огню: ни больше ни меньше — огромные бочки и бочонки с хмельным питьем со всего света, которые катили перед собой через всю прерию.

— Дети мои! — вскричал отец Мэтью, когда они подошли к самому краю пожарища. — Теперь еще один рывок — и наш труд завершен. Станем же в сторонку и посмотрим, как сатана управляется со своим зельем.

Поставив деревянные сосуды поблизости от костра, вновь прибывшие отошли на безопасное расстояние и вскоре увидели, как бочки взорвались и вспыхнули так, что искры взлетали до самых туч, грозя поджечь небо. Что было неуди-

вительно, ибо здесь собрали весь запас спиртных напитков, которые теперь взметнулись неистовой вспышкой, потрясшей человечество. Это средоточие неистового огня обладало способностью выжечь сердца миллионов. Тем временем в костер летели бесчисленные бутылки с драгоценными винами, и пламя, словно любя, лизало их и, подражая пьяницам, становилось все веселее и неистовее от того, что оно поглотило. Алчному пожарищу не выпадет второго такого же случая утолить неиссякаемую жажду. Тут нашлись сокровища известных кутил — напитки, которые бросали в море, смягчали на солнце и хранили в подземных погребах — светлые, золотистые и красные соки из лучших виноградников, все марки токайского. Они сливались в единый поток с гнусными зельями дешевых винокурен и еще больше подпитывали жадное пламя. И когда оно гигантским столбом поднялось, казалось, до самого небосвода, толпа закричала так, словно сама земля восторгалась избавлением от многовекового проклятия.

Но радость не была всеобщей. Многие решили, что человеческая жизнь станет гораздо мрачнее, когда исчезнут недолгие вспышки удовольствия. Пока усердно трудились реформаторы, я случай-

но услышал негромкие возражения, исходившие от нескольких красноносых господ в нарочито просторных туфлях для подагриков. Один из этих достойных людей в потертом платье и с лицом, похожим на давно угасший очаг, выразил недовольство более открыто:

— Что толку в этом мире, если теперь нам больше не повеселиться? Где бедняку искать утешения в минуты печали и сомнений? Как согреть сердце на холодном ветру безрадостной земли? И что вы предлагаете взамен отнятого успокоения? Как старым друзьям посидеть у огня без доброго бокала? Чума на все ваши реформы! Теперь, когда навеки исчезли дружба и приятельство, мир стал грустным, холодным, себялюбивым и подлым! И честному человеку уже незачем в нем жить!

Эта страстная речь вызвала у стоявших рядом громкий смех. Однако, сколь бы несообразными ни были его слова, я не мог не посочувствовать отчаявшемуся пьянице, чьи собутыльники бросились в разные стороны, оставив беднягу без единой живой души, с которой можно опрокинуть рюмочку, да и сама рюмочка уже исчезла. Однако в действительности дело обстояло не совсем так, поскольку я заметил, как в последний момент он успел схватить выкатившуюся из

костра бутылку первоклассного бренди и спрятал ее в карман.

Покончив с крепкими и легкими напитками, ревностные реформаторы занялись тем, чтобы поддержать огонь всеми на свете ящиками чая и мешками с кофе. Тут подоспели плантаторы из Вирджинии с урожаем табака. Сваленный в кучу хлам образовал огромную гору и наполнил пространство таким сильным запахом, что мне показалось, будто мы больше никогда не узнаем, что такое чистый воздух. Эта жертва огорчила любителей табака гораздо сильнее, чем всё виданное ими прежде.

— Ну вот, погасили мою трубку, — произнес пожилой господин, со злостью швыряя ее в пламя. — Все крепкое и острое, всю соль жизни проклинают как ненужную и бесполезную. Раз уж они развели костер, то почему бы этим реформаторам-пустословам самим туда не прыгнуть!

— Терпение, — ответил ему непоколебимый консерватор, — в конце концов, черед дойдет и до них. Сначала они побросают нас в огонь, а потом и сами там окажутся.

Сейчас я перейду от общих и систематических мер реформирования к индивидуальным пожертвованиям тому памятному сожжению.

Во многих случаях они оказывались весьма забавными. Один бедняга кинул в костер пустой кошелек, другой — пачку поддельных или бракованных банкнот. Модно одетые дамы сжигали шляпки из коллекции прошлого сезона вместе с пригоршнями лент, желтых кружев и многими другими едва ношенными вещами, которые исчезали в огне даже быстрее, чем выходили из моды. Толпы влюбленных обоего пола — покинутые девы, холостяки или уставшие друг от друга пары — швыряли в пламя пачки спрыснутых духами писем и пылающих любовью сонетов. Продажный политик, лишившийся поста и хлеба насущного, швырнул в огонь оказавшиеся фальшивыми зубы. Преподобный Сидней Смит, ради этого пересекший Атлантику, с горькой улыбкой подошел к пожарищу и бросил туда аннулированные облигации, пусть и скрепленные большой круглой печатью некоего суверенного государства. Пятилетний ребенок, преждевременно повзрослевший в духе нынешнего времени, кинул в костер игрушки, выпускник колледжа — диплом, аптекарь, разорившийся вследствие распространения гомеопатии, — весь набор лекарств и препаратов, врач — всю свою библиотеку, священник — старые проповеди,

воспитанный в духе традиций рафинированный джентльмен — свод правил хорошего тона, который он ранее составил на благо подрастающего поколения. Вдова, решившая снова выйти замуж, украдкой сожгла портрет покойного мужа. Молодой человек, брошенный возлюбленной, с радостью предал бы огню разбитое сердце, но не мог найти способа вырвать его из груди. Американский писатель, чьи работы публика обошла вниманием, спалил ручку и бумагу, решив найти себе менее разочаровывающее занятие. Я был несколько поражен, подслушав, как некоторые дамы, вполне респектабельные с виду, решили пошвырять в костер наряды и нижние юбки, а потом переодеться в мужское платье, вместе с этим приняв на себя манеры, обязанности, должности и ответственность противоположного пола.

Не могу сказать, в коей мере дамам удалось осуществить эту задумку, поскольку мое внимание внезапно привлекла бедная, кругом обманутая полубезумная девица, которая с криками, что толку от нее никакого ни от живой, ни от мертвой, попыталась броситься в огонь вместе с горами вселенского хлама. Однако ей на помощь пришел какой-то сердобольный человек.

— Терпение, бедняжечка моя! — воскликнул

он, волоча ее прочь от огненных объятий ангела разрушения. — Будь терпелива и покорись воле божьей. Пока в тебе живет душа, все может вернуться к своей первозданной свежести. Творения рук человеческих и плоды людских фантазий не стоят иного, кроме как сгореть, когда придет их час, но твой час — вечность!

— Да, — ответила несчастная, чье неистовство, казалось, сменилось глубоким унынием. — Да, и день этот лишен солнца!

Теперь среди зрителей пошел слух, что в костер отправятся все оружие и военное снаряжение за исключением мировых запасов пороха, которые из-за соблюдения строгих мер безопасности уже утопили в море. Это известие, похоже, породило великое множество мнений. Исполненный надежд филантроп расценил это как признак того, что царство Христово уже наступило, однако люди других взглядов, полагавшие человечество сворой диких псов, пророчествовали, что прежние стойкость, рвение, благородство, великодушие и рыцарский дух исчезнут раз и навсегда, поскольку, по их утверждению, эти качества испокон веков подпитывались кровью. Однако они успокаивали себя тем, что предполагаемое запрещение войн долго не продержится.

Так или иначе, к сожжению приготовили бесчисленные пушки, чей грохот на многие столетия стал голосом войны: артиллерию Великой армады, осадные орудия герцога Мальборо, гаубицы Наполеона и Веллингтона. Благодаря постоянному добавлению сухого топлива костер разгорелся так сильно, что его жара не выдерживали ни латунь, ни сталь. Было восхитительно наблюдать, как эти ужасные орудия смерти плавились, словно восковые игрушки. Затем все армии мира прошли вокруг огромного горнила, под торжественный грохот военных оркестров швыряя в огонь ружья и сабли. Следуя их примеру, знаменосцы в последний раз взглянули на штандарты, простреленные и испещренные названиями мест, где одерживались победы, в последний раз развернули их на ветру и опустили в пламя, которое подхватило их и вознесло к облакам. Когда церемония закончилась, в мире не осталось никакого оружия, кроме, возможно, старых ржавых королевских кинжалов и мечей да других трофеев времен Революции, завалявшихся в государственных арсеналах. Разом ударили барабаны и запели трубы, предваряя провозглашение всеобщего вечного мира и объявления, что отныне слава будет обретаться не кровью, а

соперничеством рода человеческого в труде на общее благо, и в грядущей истории благодеяние станет называться доблестью. Эта весть была громогласно провозглашена и вызвала безграничную радость среди тех, кого поражали ужас и бессмысленность войн.

Но я заметил мрачную улыбку на обожженном лице старого вояки — судя по хромоте и богато расшитому мундиру, это мог быть один из прославленных наполеоновских маршалов, — который вместе с другим воинством только что швырнул в огонь шпагу, за полвека сделавшуюся продолжением его правой руки.

— Да, да! — проворчал он. — Пусть провозглашают что угодно, но в конце концов обнаружится, что все это дурачество лишь добавит работы оружейникам и литейщикам ядер.

— Отчего же, сударь?! — в изумлении воскликнул я. — Почему вы полагаете, что род человеческий когда-нибудь снова вернется на стезю безумия, чтобы вновь ковать мечи и отливать ядра?

— Они не понадобятся, — насмешливо заметил некий человек, который не познал доброты и не верил в нее. — Когда Каин возжелал убить брата своего, он не раздумывал, чем бы ему во-

оружиться.

— Посмотрим, — ответил старый вояка. — Если я ошибаюсь, то тем лучше. Однако, не притворяясь, что философствую на эту тему, выскажу мнение. Необходимость войны имеет куда более глубокую подоплеку, нежели полагают эти уважаемые господа. Как?! Есть ли место для разрешения мелких споров между людьми? И не будет авторитетного суда для улаживания трений между странами? Поле битвы — вот единственный суд, где могут решаться подобные дела.

— Вы забываете, генерал, — возразил я, — что на данном этапе развития цивилизации Разум и Человеколюбие общими усилиями составят именно такой судебный институт.

— Ах, я и вправду об этом забыл! — ответил старый вояка и захромал прочь.

Теперь в пожарище подбрасывали предметы, которые до сих пор считались даже более важными для блага общества, нежели принадлежности для ведения войны, поглощенные огнем на наших глазах. Группа реформаторов объехала множество разных стран, собирая инструменты для свершения казней. Толпа содрогнулась, когда к костру притащили эти орудия умерщвления. Даже пламя, казалось, на мгновение отступило,

осветив эти приспособления для убийства, и одного этого хватало, чтобы убедить род людской в давней и смертельной ошибочности человеческих законов. Эти старинные воплощения жестокости, ужасные механические чудовища, изобретения, требовавшие, казалось, чего-то куда худшего, чем просто сердце человеческое, которые скрывались в темных закоулках старых тюрем и сделались предметами ужасающих легенд, — все они были выставлены на всеобщее обозрение. Топоры для отрубания голов, ржавые от дворянской и королевской крови, огромный набор удавок, насмерть душивших простолюдинов, валялись безобразной кучей. Громкие крики приветствовали прибытие гильотины, поставленной на те же колеса, на которых ее возили по запятнанным кровью улицам Парижа. Но громче всего зааплодировали, извещая далекие небеса о торжестве искупления земли, когда появилась виселица. Однако вперед выбежал какой-то похожий на ненормального человек, преградил дорогу реформаторам, хрипло закричал и стал яростно биться, чтобы остановить их продвижение вперед.

Возможно, не очень удивительно было то, что палач изо всех сил старался защитить и отсто-

ять орудия, которыми добывал себе средства к жизни, а более достойных людей жизни лишал. Однако достоин особого упоминания тот факт, что точку зрения палача приняли люди, занятые совсем другим, даже относящиеся к духовенству, по чьему наставлению мир должен уверовать в торжество добра.

— Остановитесь, братья! — воскликнул один из них. — Ложное человеколюбие сбивает вас с пути истинного, и вы не ведаете, что творите. Виселица есть орудие, дарованное свыше. Верните его обратно и с благоговением водворите на прежнее место, иначе мир обречен на скорое опустошение и разорение!

— Вперед! Вперед! — кричал вождь реформаторов. — В огонь проклятый инструмент поддержания кровавых устоев общества! Может ли закон человеческий прививать доброту и любовь, если упорно насаждает виселицы как свой главный символ? Еще рывок, друзья мои, и мир избавится от величайшей ошибки!

Тысячи рук, с отвращением прикасаясь к виселице, помогали толкать зловещую конструкцию прямо в пасть ревущего горнила. Жуткое и отвратительное видение в последний раз предстало взору людей, превратившись в черные, затем в

красные уголья, а после рассыпавшись в прах.

— Прекрасно! — воскликнул я.

— Да, прекрасно, — отозвался по-прежнему стоящий рядом задумчивый наблюдатель, хотя и с меньшим воодушевлением, нежели я ожидал. — Прекрасно, если мир после этого станет лучше. Однако смерть есть понятие, которое нелегко отринуть в любом из его проявлений, которых, возможно, нам суждено достигнуть после того, как мы пройдем весь круг. Но, в любом случае, неплохо произвести подобный опыт.

— Холодно! Холодно! — нетерпеливо вскричал в порыве торжества молодой и пылкий глава реформаторов. — Пусть сердце говорит так же, как и ум. Что до зрелости и прогресса, то пусть человечество вершит самые добрые и благородные дела, до которых может додуматься в каждый период развития, и дела эти должны быть своевременны.

Не знаю, явилось ли это следствием благородного воодушевления, или же окружавшие костер люди с каждым мгновением делались все более просвещенными, однако теперь они стали совершать действия, которые я не мог поддержать. Например, некоторые швыряли в огонь свои брачные свидетельства, объявляя себя готовыми

к более возвышенному, чистому и всеобъемлющему союзу, нежели тот, что существует с незапамятных времен в виде супружеских уз. Другие поспешили к банковским подвалам и сундукам богачей — всё в тот судьбоносный момент было открыто первому встречному — и приносили для подпитки огня тюки банкнот и мешки монет, чтобы расплавить их в жерле горнила. Отныне, заявляли они, драгоценной валютой станет всеобщее человеколюбие, неподдельное и неисчерпаемое. При этой новости банкиры и биржевые спекулянты побледнели, а воришка, собиравший обильную жатву по карманам зевак, упал в обморок. Некоторые бизнесмены сожгли бухгалтерские и приходно-расходные книги, расписки и кредитные обязательства, а также все свидетельства того, что им кто-то задолжал. Однако куда большее число людей утолило жажду реформ, принеся в жертву неприятные напоминания о своих долгах. Затем раздались крики, что настало время сжечь купчие крепости на землю и передать всю ее в собственность народу, у которого ее несправедливо отобрали, распределив между немногими отдельными людьми. Другие потребовали немедленно уничтожить все писаные конституции, своды правительственных

уложений, законодательные акты, статуты и все, чем человеческая изобретательность пыталась навязывать самочинные правила и законы. По завершении этого мир надлежит сделать свободным, как во времена сотворения человека.

Мне неизвестно, какие действия были предприняты по этим предложениям, поскольку тогда происходили события, которые взволновали меня куда сильнее.

— Глядите! Глядите! Экие кучи книг и брошюр! — крикнул человек, не казавшийся любителем литературы. — Как же сейчас славно разгорится!

— Именно! — согласился современный философ. — Теперь мы избавимся от бремени помертвевших мыслей, которые доселе так подавляли живой ум, что тот не мог должным образом найти себе выражения. Прекрасно, ребята! Все в огонь! Теперь вы и вправду просвещаете мир!

— А что станется с продажами?! — в отчаянии вскричал букинист.

— О, пусть книготорговцы следуют за своим товаром, — холодно заметил философ. — Получится прекрасный погребальный костер!

Правда состояла в том, что род человеческий достиг такой степени прогресса, которая далеко

превосходила самые смелые мечты умнейших мужей минувших времен, и было бы явной нелепостью позволить загромождать землю их убогими достижениями на литературном поприще. Поэтому тщательному и глубокому обследованию подверглись лавки книготорговцев, палатки лоточников, общественные и частные библиотеки и даже книжные полки у деревенских очагов. После этого все напечатанное в мире, отдельными листами или в переплетах, принесли и сложили горой у нашего великолепного костра. Пухлые тяжелые фолианты с трудами лексикографов, толкователей и энциклопедистов бросили в огонь, и, с тяжелым стуком падая на угли, они обратились в пепел, как гнилые дрова. Небольшие, щедро украшенные позолотой французские книжицы прошлого века, включая сотни томов сочинений Вольтера, сгорали в тучах ослепительных искр и тонких язычках пламени, в то время как современная французская литература горела синим и красным, бросала дьявольские отблески на лица зрителей, делая их похожими на карнавальных злодеев. Собрание немецких романов источало запах серы. Книги рядовых английских писателей горели великолепно, не уступая хорошим дубовым поленьям. Работы

Мильтона пылали особенно жарко, постепенно превращаясь в красные угли, обещавшие тлеть дольше, чем все остальное. От Шекспира вспыхнуло такое восхитительное пламя, что людям пришлось заслонять глаза, как от солнца в зените. И даже когда на него посыпались труды его толкователей, он и из-под этой тяжеленной груды продолжал излучать ослепительное сияние. Полагаю, что он по-прежнему пылает так же жарко, как и всегда.

— Коль мог бы поэт зажечь светильник от этого восхитительного пламени, — заметил я, — то тогда наверняка посвятил бы ночные бдения некоей высокой цели.

— Именно к этому и стремятся современные поэты или, по крайней мере, пытаются стремиться, — ответил некий критик. — Главная польза, которую следует ожидать от предания огню литературы прошлого, состоит в том, что отныне писателям придется зажигать светильники от солнца или от звезд.

— Если они сумеют до них дотянуться, — сказал я. — Но это под силу лишь исполину, который потом сможет раздать огонь простым людям. Не каждый осмелится похитить пламя с небес, как Прометей, но как только огонь попадет на землю,

им можно будет растопить тысячи очагов.

Я был весьма изумлен тем, насколько объем сочинений какого-либо автора не соответствовал степени яркости и продолжительности сгорания. К примеру, не нашлось ни одного тома прошлого столетия, как, впрочем, и нынешнего, который мог бы состязаться с небольшой иллюстрированной книжкой «Сказки Матушки-гусыни». «Мальчик-с-пальчик» превзошел биографию герцога Мальборо. Многотомные эпопеи десятками обращались в белесый пепел, прежде чем успевала наполовину сгореть страница старинной баллады. К тому же очень часто пухлые сборники высоко превозносимых стихов не оставляли после себя ничего, кроме облачков едкого дыма, в то время как стих безымянного барда — возможно, тиснутый в углу газетной страницы — взлетал к звездам с сиянием, соперничавшим с их светом. Что же касается свойств огня, мне показалось, что поэзия Шелли горела ярче, чем творения его современников, особенно выделяясь на фоне слабых проблесков пламени и клубов черного дыма, испускаемых томами лорда Байрона. Что же до Томаса Мура, то от некоторых его песен отдавало горящей аптекой.

Я с особым интересом наблюдал, как сгорали

работы американских писателей, и тщательно засекал по часам время, за которое они в большинстве своем превращались из небрежно напечатанных книжек в незаметные горстки пепла. Было бы оскорбительно, если не рискованно, разглашать эти страшные тайны, поэтому ограничусь наблюдением, что не всегда книги превозносимого публикой автора столь же блистательно сгорали в костре. Мне особенно запомнилось, как чудесно горел тонкий сборник стихов Эллери Чаннинга, хотя, по правде сказать, отдельные места неприятно шипели и потрескивали. Относительно некоторых авторов, как американских, так и заграничных, я подметил любопытную особенность. Их произведения, весьма массивные по объему, вместо того чтобы вспыхнуть или хотя бы задымиться, внезапно таяли — а значит, состояли изо льда.

Если не сочтут нескромным упоминание моих книг, то должен признаться, что я высматривал их с отеческим интересом, но тщетно. Они, вероятно, обратились в дым при первом же соприкосновении с огнем, и в лучшем случае я могу лишь надеяться, что они добавили одну-две искорки к сверканию восхитительного вечера.

— Увы! Горе мне, горе! — стонал тучный гос-

подин в зеленых очках. — Мир мой полностью разрушен, и мне незачем больше существовать. У меня отняли дело всей жизни. Ни за что на свете теперь не раздобыть ни одной книги!

— Это книжный червь, — заметил стоящий рядом невозмутимый наблюдатель. — Один из тех, кто рождается, чтобы глодать мертвые мысли. Видите, его платье покрыто библиотечной пылью. Своего источника дум у него нет, и теперь, когда хранилища чужих идей исчезли, я и сам не знаю, что станется с этим беднягой. У вас не найдется для него слов утешения?

— Сударь мой, — сказал я доведенному до отчаяния книжному червю. — Разве природа не лучше книги? Разве сердце человеческое не глубже любой философской системы? Разве жизнь менее поучительна, нежели то, что мыслители прошлого отразили в своих максимах? Приободритесь же. Великая книга Времени все так же открыта перед нами, и если мы правильно ее прочтем, то она станет для нас вместилищем вечной истины.

— Ах, мои книги, книги, мои драгоценные бумажные книги! — повторял отчаявшийся книжный червь — Моя реальность заключалась в переплетенном томе, а теперь мне не оставили

даже захудалой брошюры!

И вправду, теперь в пылающую кучу сыпали то, что осталось от литературы всех веков: целую тучу брошюр, выпущенных типографиями Нового Света. Пламя также поглотило их в мгновение ока, и впервые со времен Кадма из Милета[101] человечество избавилось от буквенной чумы, что предоставило писателям будущих поколений завидное поле деятельности.

— Ну-с, что-нибудь еще осталось сделать? — забеспокоился я. — Разве что поджечь саму землю, а потом прыгнуть в бездонное пространство. Думаю, что дальше реформы продолжать нельзя.

— Вы глубоко заблуждаетесь, друг мой, — ответил наблюдатель. — Поверьте, костру нельзя позволить погаснуть без добавления того, что поразит всех присутствующих.

Тем не менее рвение собравшихся поутихло на время, в течение которого лидеры реформаторов раздумывали, что делать дальше. Между тем философ швырнул в пламя свою теорию, что стало наиболее примечательной жертвой из всех дотоле принесенных. Однако костер не прибавил в силе. Некоторые неутомимые и нетерпеливые,

---

[101] Примечания: 101

Кадм из Милета — один из древнейших греческих историков, почитался в древности как родоначальник литературной прозы.

не желая передохнуть даже мгновение, стали собирать сухую листву и хворост, затем бросать их в огонь, который вознесся выше прежнего. Но это была всего лишь интерлюдия.

— А вот и свежее топливо, о котором я говорил, — сказал мой спутник.

К моему изумлению, приближавшиеся к освободившемуся у огромного костра месту несли стихари и другие предметы облачения священников, митры, посохи, беспорядочно сложенную католическую и протестантскую церковную утварь, похоже, предназначенную для совершения богослужений. Кресты со шпилей древних соборов сваливались в кучу без малейшего сожаления, словно многие столетия не взирали на них как на священнейшие из символов. Купели, в которых крестили младенцев, священные сосуды, влагой которых новорожденные приобщаются к благодати, также подвергались уничтожению. Возможно, трогательнее всего мне было видеть среди этих останков церковного убранства обломки скромных престолов и незатейливых кафедр, вынесенных, как я узнал, из молитвенных собраний Новой Англии. Этим простым домам следовало бы разрешить оставить те нехитрые священные предметы, которые

поместили туда пуританские отцы-основатели, пусть даже огромный собор Святого Петра отправил в этот ужасный жертвенный огонь все свое убранство. Однако я чувствовал, что это лишь внешние атрибуты религии, от которых можно безболезненно избавиться, постигнув их глубинный духовный смысл.

— Все прекрасно, — весело сказал я. — Лесные тропы станут проходами между рядами в нашем соборе, а небесная твердь — его куполом. Нужна ли рукотворная кровля, отделяющая божество от его почитателей? Наша вера вполне может обойтись без убранства, которым окружали ее даже праведнейшие из людей, и лишь возвысится в своей простоте.

— Верно, — согласился мой спутник, — но остановятся ли они на этом?

Прозвучавшее в его голосе сомнение имело под собой основания. При уже описанном всеобщем уничтожении книг пощадили священный том, стоявший особняком в собрании человеческих литературных трудов и вместе с тем возглавлявший его. Однако Титан новаторства — ангел или демон, двойственный по природе и способный на деяния, присущие им обоим, — сначала избавился от старья и гнилья, а теперь, казалось,

наложил свою жуткую руку на главный столп, поддерживавший все здание нашей морали и духовности. Жители Земли сделались слишком просвещенными, чтобы облечь веру в словесную форму или ограничить духовные понятия сравнениями с материальными достижениями. Истины, от которых трепетали небеса, теперь стали сказками о младенчестве мира человеческого. Следовательно: что` оставалось швырнуть на огромную тлеющую кучу как последнюю жертву ошибок людских, если не книгу, пусть и являвшуюся в прежние времена небесным откровением, теперь ставшую отголоском прежних стадий развития человечества? И это было сделано! На полыхавшую груду лжи и банальных истин, в которых земля никогда не нуждалась или от которых по-детски заскучала, рухнула тяжелая церковная Библия, откуда пастор проникновенно зачитывал отрывки из Священного Писания — огромный древний фолиант, так долго лежавший на амвоне. Туда же швырнули и семейную Библию, которую ныне упокоенный отец когда-то читал детям — в радости и горести, у очага или под сенью листвы летних деревьев — и завещал потомкам как семейную реликвию. Та же участь постигла и карманную Библию,

маленький томик, который был задушевным другом кого-нибудь из сыновей почившего, черпавшего в нем мужество в борьбе за жизнь или перед кончиной и твердо веря в бессмертие.

Все это полетело в свирепый огонь. Затем над долиной с воем пронесся вихрь, словно сама земля оплакивала исчезновение солнечного света. Ветер потряс гигантскую огненную пирамиду и осыпал зевак пеплом полусгоревшей скверны.

— Это ужасно! — сказал я, чувствуя, как мои щеки бледнеют, и замечая такую же бледность стоящих рядом людей.

— Мужайтесь, это не все, — ответил человек, о котором я уже много говорил. Он продолжал неотрывно следить за зрелищем с каким-то особенным спокойствием, словно отстраненный наблюдатель. — Мужайтесь и не слишком-то ликуйте, ибо костер принесет гораздо меньше добра и зла, чем хотелось бы верить людям и миру.

— Но как такое может быть?! — нетерпеливо воскликнул я. — Разве пламя не пожрало все? Разве оно не поглотило и не расплавило все человеческие или божественные признаки нашего бренного существования? Останется ли завтра утром что-нибудь лучше или хуже, чем гора углей и пепла?

— Уверяю вас, останется, — ответил мой мрачный собеседник. — Назавтра утром или когда там догорит пожар, среди пепла вы найдете все по-настоящему ценное из того, что было брошено в огонь. Поверьте, завтрашний мир снова обогатится золотом и алмазами, отвергнутыми сегодня. Ни одна из истин не погибла и не погребена под пеплом столь глубоко, чтобы в конечном счете не быть извлеченной на свет.

Заверение прозвучало странно. И все же я хотел ему поверить, тем более что увидел среди вздымавшихся языков пламени книгу Священного Писания, страницы которой, вместо того чтобы почернеть, приобрели еще бо`льшую белизну, избавившись от следов нечестивых человеческих перстов. Правда, кое-какие комментарии и заметки на полях не вынесли испытания огнем, но урон не коснулся ни единого слога, написанного вдохновенным пером.

— Да, и вот доказательство ваших слов, — ответил я, повернувшись к своему спутнику. — Но, если огонь действует лишь на зло, тогда, разумеется, сожжение принесло неоценимую пользу. Однако, если я правильно вас понимаю, вы сомневаетесь, оправдаются ли после этого очищения надежды мира на лучшее?

— Послушайте разговор этих достойных людей, — сказал он, указав на группу, стоявшую у пылающей кучи. — Возможно, они научат вас чему-нибудь полезному, сами того не желая.

Группа, на которую он указал, состояла из жестокого на вид мужчины, который столь истово встал на защиту виселицы — одним словом, палача — в компании последнего вора и последнего убийцы. Они обступили последнего пьяницу, который щедро пустил по кругу бутылку бренди, выхваченную из огня во время уничтожения спиртных напитков. Подвыпивший квартет пребывал в крайней степени уныния, полагая, что очищенный мир наверняка будет совсем не похож на тот, в котором они жили прежде, и поэтому станет странным и безотрадным для подобного рода субъектов.

— Самый лучший всем нам совет, — заметил палач, — это как только мы до последней капли осушим бутылку, я помогу вам, друзья мои, залезть на подходящий сук ближайшего дерева, а потом сам на нем повешусь. В этом мире нам нет больше места.

— Ох, ох, дорогие мои! — воскликнул темнокожий человек, подошедший к компании. На его страшном лице ярче пламени сверкали гла-

за. — Не отчаивайтесь, друзья, вы еще увидите счастливые деньки. Эти умники забыли бросить в огонь одну вещь, а без нее все это сожжение — пшик. Да-да, пусть бы они и саму землю сожгли дотла.

— И что же это такое? — взволнованно спросил убийца.

— Да человеческое сердце! — со зловещей ухмылкой вскричал темнокожий незнакомец. — И пока они не найдут средства очистить эти залежи скверны, на свет не перестанут рождаться злоба и страдания — в прежних обличьях или похуже, — на испепеление которых люди положили столько сил. Я простоял у костра всю ночь и тихонько хохотал над происходившим. О, верьте слову, старый мир еще вернется!

Этот короткий разговор дал мне пищу для долгих размышлений. Если это правда, то насколько она печальна: извечное стремление человека к совершенству выставило его на осмеяние сил зла, поскольку он совершил роковую ошибку в самой сути своего стремления! В сердце — этом крохотном и одновременно безграничном пространстве — обитает первородный порок, а все преступления и страдания мира суть лишь его проявления. Очистите это пространство — и многие ипостаси

зла, довлеющие над миром и кажущиеся почти что нашей единственной реальностью, сделаются призрачными и исчезнут сами по себе. Но если мы не выйдем за пределы понимаемого разумом и попытаемся лишь с помощью него распознать и исправить свои ошибки, то все наши достижения покажутся сном. Сном настолько призрачным, что почти неважно, реален ли подробно описанный мною костер настолько, что его пламенем можно было бы обжечь палец, или он только фосфорическое свечение, притча, порожденная моим воображением.

Послания П

Мой горемычный друг П. потерял нить своей жизни, временами надолго впадая в какое-то затмение ума. Прошлое для него совмещается с настоящим, и, чтобы судить, насколько такое смешение иногда любопытно, лучше вам прочесть его собственное письмо, чем мои изъяснения по этому поводу. Бедняга, ни единожды не покинувший свою беленую каморку с зарешеченным окном, о которой упоминается в первых строках письма, мнит себя, однако же, завзятым путешественником, повстречавшим в своих странствиях самых разных людей, давно уже не зримых ничьими иными очами. По-моему, это не столько заблуждение, сколько отчасти нарочитая, отчасти же невольная игра воображения, которой его недуг сообщил столь болезненную напряженность, что призрачные сцены и лица видятся не менее отчетливо, нежели театральное действо, а правдоподобия в них, пожалуй что, и побольше. У меня хранится множество его писем: некоторые из них порождены тем же заблуждением, что и нижеследующее, другие

предположениями ничуть не менее нелепыми.

Все вместе они образуют некое эпистолярное целое, и если судьба в свое время удалит моего бедного друга из нашего мира, для него иллюзорного, то я обещаю доставить себе позволительное удовольствие и обнародовать их. П. всегда мечтал о славе сочинителя и не один раз безуспешно пытался стяжать таковую. Будет немного странно, если, не достигнув желанной цели при свете разума, он невзначай добьется ее, отуманенно блуждая за пределами нормального.

Лондон, 29 февраля 1845 года

Дорогой друг!

Привычные сближения преследуют ум с поразительным упорством. Ежедневные обыкновения обносят нас как бы каменной стеной, отвердевают почти столь же явственно, как крепчайшие строения человека. Иногда я всерьез задаюсь вопросом, не могут ли идеи быть зримыми, ощутимыми и обладать всеми прочими вещественными свойствами. Вот я: квартирую в Лондоне и пишу тебе, сидя у камина, над которым висит литография королевы Виктории; слышится приглушенный гул мировой столицы, в каких-то пяти шагах от меня окно, я могу подойти к нему и, сколько мне вздумается, созерцать лондонскую жизнь — я

твердо знаю, где нахожусь, но как ты думаешь, что меня сейчас неотвязно тревожит? Поверишь ли, я все время будто бы обитаю в той невзрачной каморке — в той беленой комнатушке с одним оконцем, которое мой хозяин то ли из какого-то каприза, то ли для какого-то удобства забрал железными прутьями, — словом, в той самой каморке, где ты по доброте своей так часто навещал меня! Неужели ни за давностью времени, ни за дальностью расстояния я не избавлюсь от наваждения этого скорбного жилища? Я путешествую, не теряя сходства с улиткой: таскаю свой дом на голове. Ну что ж! Видно, я вступаю в тот период жизни, когда сцены и события настоящего не очень-то впечатляют в сравнении с былым, так что надо смириться с тем, что все больше и больше становишься узником памяти, которая лишь ненадолго отпускает прогуляться, да и то с цепью на ноге.

Рекомендательные письма пришлись как нельзя более кстати: я свел знакомства с несколькими значительными лицами, которые до сих пор казались столь же вне пределов моей досягаемости, сколь остроумцы времен королевы Анны или собутыльники Бена Джонсона в «Русалке». Едва ли не первым делом я воспользовался письмом

к лорду Байрону. Оказалось, что его сиятельство выглядит куда старше, чем я предполгал, хотя, учитывая его прежний пагубный образ жизни и сильную изношенность организма, ничуть не старше, чем ему надлежит выглядеть на пороге седьмого десятка. Просто в своем воображении я наделял его телесный состав духовным бессмертием поэта. На нем каштановый парик, весьма пышно завитой, с начесом на лоб. Выражение глаз его скрыто под очками. Его прежняя склонность к полноте усилилась, и теперь лорд Байрон чудовищно толст: настолько, что производит впечатление непомерно обремененного плотью человека, который не в силах отделить свою личную жизнь от тягостного прозябания огромной телесной массы. Взираешь на груду плоти, вглядываешься в то, что является Байроном, и бормочешь себе под нос: «Господи, да где же он?» Если б я хотел быть язвительным, то объявил бы, что это скопление вещества — осязаемый символ дурных привычек и плотских грехов, оскверняющих природу человека и затрудняющих его сопричастность лучшей жизни. Но это было бы слишком грубо; к тому же нравственность лорда Байрона несказанно улучшилась, между тем как его внешность неописуемо расплылась. Не меша-

ло бы ему, конечно, немного похудеть, а то хоть он и удостоил меня рукопожатия, рука его была словно ватой набита, и я не мог ощутить, что именно она-то и написала «Чайльд Гарольда».

Когда я вошел, его сиятельство извинился за то, что не встает мне навстречу по уважительной причине: подагра вот уж несколько лет терзает его правую лодыжку, обернутую во много слоев фланели и возлежавшую на подушке. Другую ногу скрывала драпировка кресла. Не помнишь, какая нога у Байрона была калечная — правая или левая?

Достойный поэт, как ты знаешь, вот уж лет десять живет в супружеском согласии с миледи Байрон, и в согласии этом, заверили меня, нет ни малейшего ущерба или изъяна. Говорят, что они если не счастливы, то по крайней мере довольны или, во всяком случае, покойны, сходя по жизненному склону более или менее под руку, и эта обоюдная поддержка поможет им легко и благополучно достигнуть подножия общими силами. Отрадно помышлять о том, что в этом отношении поэт полностью загладил ошибки молодости. С удовольствием прибавлю, что влияние ее сиятельства весьма счастливо сказалось на религиозном облике лорда Байрона. Нынче

в нем сочетаются строжайшие принципы методизма[102] с крайностями учения Пьюси[103]; первые, вероятно, соответствуют убеждениям, внушенным ему достойной супругой, а вторые своей красочной прихотливостью удовлетворяют потребностям его мечтательной натуры. Он становится все бережливее, а расходы, которые все же позволяет себе, идут на украшение храмов, так что аристократ, чье имя некогда считалось одним из прозвищ нечистого духа, теперь превозносится почти как святой со столичных и провинциальных кафедр. В политике лорд Байрон твердокаменный консерватор и не упускает случая — в палате лордов или в частном общении — лишний раз обличить и ниспровергнуть злостные и анархические воззрения своих юных лет. Его отчасти притупившееся перо по возможности беспощадно разит и тех, кто нынче подвержен подобным заблуждениям. Саути и он теперь самые закадычные друзья. Ты ведь

[102] Примечания: 102

Методизм — направление протестантизма, отделившееся от англиканской церкви, ставившее своей целью последовательное, методичное соблюдение религиозных предписаний.

[103] Примечания: 103

Пьюси Эдвард Боувери (1800–1882) — английский религиозный философ, приверженец сближения англиканской церкви с католицизмом. Сочетание принципов учения Пьюси с методизмом абсолютно немыслимо.

знаешь, что незадолго до смерти Мура[104] Байрон выгнал этого блестящего, но распущенного поэта из своего дома. Мур принял это оскорбление так близко к сердцу, что, говорят, будто оно и вызвало приступ недуга, который свел его в могилу. Другие, правда, утверждают, что Великий Лирик умер в блаженном состоянии духа, распевая одну из своих священных мелодий и уверенно заявляя, что ее услышат у райских врат и тотчас впустят его в Царство Небесное с превеликим почетом. Хотел бы я, чтоб так оно и было.

Разумеется, в беседе с лордом Байроном я не преминул выказать должное уважение к несравненному поэту, то и дело цитируя строки «Чайльд Гарольда», «Манфреда» и «Дон Жуана» — творений, которым более всего обязан музыкой своей жизни. Слова мои, уместные или не вполне, были по крайней мере согреты пылкой готовностью приобщиться к таинствам бессмертной поэзии. Однако же они явно пришлись не ко двору. Я чувствовал, что совершаю какую-то ошибку, и немало сердился на себя за неудачную попытку донести от моего сердца до слуха одаренного автора стихотворное эхо, некогда оглашавшее

[104] Примечания: 104

Мур Томас (1779–1852) — английский поэт-романтик, близкий друг Байрона, автор его первого посмертного жизнеописания (1830).

весь мир. Но мало-помалу загадка разрешилась. Байрон — я это слышал из его собственных уст, так что можешь не отмалчиваться на сей счет в литературных кругах, — готовит новое полное издание своих сочинений, тщательно исправленное, очищенное и улучшенное в соответствии с его теперешними вкусами и убеждениями — нравственными, политическими и религиозными. Увы, те вдохновенные строки, которые я цитировал, оказались среди приговоренных и исключенных, обреченных забвению. По правде сказать тебе на ухо, мне кажется, что когда в нем перегорели страсти, то с угасанием их яркого и буйного огня лорд Байрон утратил озарение, которое не только побуждало его к творчеству, но и позволяло чувствовать и сознавать написанное. Положительно, он больше не понимает собственной поэзии.

Это стало вполне очевидно, когда он в виде особой милости прочел мне кое-что из нового, благонравного «Дон Жуана». Все соблазнительное — все непочтительное по отношению к таинствам нашей веры, все болезненно-меланхолическое или желчно-издевательское, все нападки на государственные установления или общественный строй, все, что могло задеть чувства какого-либо

смертного, кроме язычников, республиканцев или инакомыслящих, — было безжалостно вымарано и заменено непритязательными стихами в новой манере его сиятельства. Сам посуди, какая часть поэмы осталась в прежнем виде. Результат не так хорош, как хотелось бы; попросту говоря, он довольно плачевный, ибо хоть факелы, возженные в Тофете[105], затушены, они чадят, испуская омерзительный смрад, и их не сменяет огнь очистительный. Зато будем надеяться, что эти старания лорда Байрона искупить грехи юности в конце концов растрогают Вестминстерского декана — или кто там у них главный, — и он позволит изваянию Торвальдсена занять пустующую нишу огромного древнего аббатства. Ты ведь знаешь: его костям, привезенным из Греции, было отказано в погребении среди собратьев по лире.

Ну что за чушь лезет из-под пера! Как нелепо говорить о погребении костей Байрона, которого я только что видел вживе, в массивной мясистой оправе! Но, по правде говоря, всякий непомерно толстый человек мне кажется нежитью; в самом избытке бренной плоти, по-моему, есть нечто

[105] Примечания: 105

Тофет — библейская долина скверны и идоложертвенных приношений близ Иерусалима.

призрачное. Да еще в памяти всплыли смехотворные старые россказни — будто Байрон умер от лихорадки в Миссолунги лет двадцать назад. Я все больше и больше сознаю, что мы обитаем в мире теней: и я, со своей стороны, не вижу особой надобности различать тени, пригрезившиеся и действительные. Коли на то пошло, так первые, пожалуй, основательнее.

Ты подумай, как мне везет! Почтеннейший Роберт Бернс — если не ошибаюсь, на восемьдесят седьмом году жизни — выбрался в Лондон, словно нарочно для того, чтобы я имел возможность пожать ему руку. Так-то он уж больше двадцати лет не покидал свой мирный домишко в Эршире ни на одну ночь, и теперь его насилу оттуда вытащили общими стараниями всех именитых людей Англии. Хотят устроить на его день рождения всенародный праздник. Это будет величайший триумф литературы. Дай-то Господи, чтобы искра жизни, тлеющая в груди престарелого барда, не угасла в блеске этого торжества. Я уже удостоился чести быть ему представленным в Британском музее, где он осматривал коллекцию своих неопубликованных писем, содержащих песни, ускользнувшие от внимания биографов.

Фу, какая чепуха! О чем я только думаю! Как

может стать биографической мумией Бернс, этот все еще бодрый старикан!

Наш бард высокого роста и чрезвычайно благообразен, даром что весьма согбен годами. Его седые власы белоснежной пеленой овевают лицо, на котором раздумья и страсти оставили борозды, подобные руслам умчавшихся бурных потоков. Для своего возраста пожилой джентльмен прекрасно сохранился. Особого рода живостью он похож на сверчка — ведь сверчок стрекочет отчего угодно и даже просто так: и, быть может, это самое подходящее поведение в такие преклонные лета. Наша гордыня воспрещает нам желать подобного для себя, но когда дело идет о других, понятно, что это благость природы. Я был изумлен, что таков оказался Бернс. Точно его пламенное сердце и пылкое воображение выгорели дотла, остался лишь крохотный огонек в уголку: и он, огонек, сам по себе пританцовывает и посмеивается. Возвышенное больше его не трогает. По просьбе Алана Каннингема[106] он попытался спеть свой собственный гимн Деве Марии в небесах, но было заметно, что одушевляющее эти стихи чувство, столь глубоко подлинное и

[106] Примечания: 106

Каннингем Алан (1784–1842) — англо-шотландский поэт, эссеист и биограф, автор «Воспоминаний о Бернсе» (1834).

так просто выраженное, нынче ему совершенно недоступно; когда же что-то былое в нем вдруг пробудилось, слезы брызнули у него из глаз и голос его сорвался на жалобное кудахтанье. Однако ж он едва ли толком понимал, отчего ему плачется. Ах, не надо ему более помышлять о Деве Марии — скоро он стряхнет грязные оковы бренности, взойдет на небеса и встретится там с нею.

Затем Бернс начал декламировать «Тэма О'Шэнтера», но его так расшевелило шутливое остроумие поэмы — хоть я подозреваю, что ощущалось оно лишь поверхностно, — что вскоре он неудержимо заквохтал от смеха, сменившегося кашлем, который и завершил это не слишком удачное представление. Вообще говоря, я предпочел бы не быть тому свидетелем. Впрочем, приятно думать, что последние сорок лет деревенский стихотворец прожил в довольстве и холе. Давным-давно излечился он от поэтической расточительности, стал ухватист, как оно и подобает скопидому-шотландцу, и, говорят, вполне преуспел по денежной части. Ради этого, я думаю, стоило жить так долго.

Я воспользовался случаем разузнать у земляков Бернса о здоровье сэра Вальтера Скотта. Должен с грустью сказать, что его состояние неизменно уже

десять лет — он безнадежный калека: паралич сокрушил не только его телесные, но и духовные способности, которым тело служит орудием, и вот он прозябает изо дня в день, из года в год в своем Абботсфорде, создании его великолепной фантазии, символическом воплощении вкусов, чувствований, ученых занятий, предрассудков и образа мыслей великого романиста. В стихах, в прозе, в зодчестве он достигал одного и того же в бесконечном разнообразии обличий. Он возлежит на диване в своей библиотеке и, говорят, по нескольку часов в день диктует секретарю новые сочинения. Секретарю воображаемому: решено было, что не стоит труда записывать теперешние порождения некогда блистательного вымысла, все образы которого были золотыми самородками и все поддавались чеканке. Правда, Каннингем, который недавно его видел, заверяет меня, что и теперь его гений то и дело дает себя знать: является поразительное сочетание событий или живописная черта характера, какую никто другой не сумел бы подметить, а то вдруг вспыхнет отсвет угасшего сознания — будто солнечный луч озарит проржавевший шлем в полумраке старинного зала. Но занимательные сюжеты безнадежно спутываются, характеры

перемешиваются, и течение рассказа теряется, как ручей в слякоти или трясине.

Я, со своей стороны, не слишком сожалею, что сэр Вальтер Скотт утратил сознание внешнего мира, когда его сочинения еще не вышли из моды. Не худо, что ему выпало забыть о своей славе прежде, чем слава сменилась забвением. Если б он оставался писателем по-прежнему блистательным, то все равно никак не смог бы сохранить былое положение в литературе. Современному миру нужны более ревностные устремления, более глубокая мораль, более явственная и обыденная правдивость, нежели предлагались у него. Но кто же смог бы для нынешнего поколения стать даже тем, чем был Скотт для вчерашнего? Я возлагал надежды на одного молодого человека, некоего Диккенса: он опубликовал несколько журнальных очерков, полных юмора и отмеченных истинным вдохновением, — но бедняга умер, едва начав забавную серию скетчей, озаглавленных, помнится, «Записки Пиквикского клуба». Быть может, мир потерял с безвременной кончиной этого господина Диккенса куда больше, чем нам дано вообразить.

Кого бы ты думал я встретил на днях на Пэлл-Мэлл? С десяти раз не догадаешься. Да ни больше

ни меньше, чем Наполеона Бонапарта, ну или то, что от него осталось, а именно: кожа, кости, телесная субстанция, треуголочка набекрень, зеленый сюртук, белые панталоны и шпажонка, — все это вместе поныне известно под его устрашающим именем.

Его сопровождали всего лишь два полисмена, которые чинно шествовали за фантомом престарелого императора и, по-видимому, заботились только о том, чтобы какой-нибудь ловкач не разжился между делом его звездой Почетного Легиона. Никто, кроме меня, даже не обернулся на него, да и я, признаюсь не без грусти, почти никакого любопытства не испытывал, даже воскрешая в памяти все то, что натворил на земле воинственный дух, который некогда воплощало это весьма теперь потасканное обличье.

Нет более надежного способа рассеять чары великой славы, чем выставить ее обладателя жалким, поверженным, обессиленным — вдавленным в землю своей смертной участью — и лишенным даже здравого смысла, позволяющего самым обычным людям достойно держаться хотя бы на миру. До такого-то состояния под гнетом болезни, усугубленной долгим воздействием тропического климата и отягченной возрастом

— ведь ему уже больше семидесяти, — и дошел Бонапарт. Британское правительство поступило разумно, переместив его в Англию с острова Святой Елены. Теперь надо бы отправить его в Париж — пусть он там заново делает смотр останкам своих армий. Его тусклые глаза слезятся; нижняя губа свисает к подбородку. Между тем, пока я наблюдал за ним, уличная круговерть стала чуть оживленней обычного, и он, собрат Цезаря и Ганнибала — великий полководец, застлавший мир дымом сражений и исследивший его кровавыми сапогами, — затрясся от волнения и воззвал к двум полисменам о защите жалобным и надтреснутым голосом. Те подмигнули друг другу, обронив смешок, похлопали Наполеона по спине, приняли под руки и повели прочь.

Чертовщина! Негодяй, как ты сюда попал? Сгинь, не то запущу чернильницей тебе в голову! Тьфу, пропасть: я обознался. Ради бога, любезный друг, извини за это малюсенькое отступление. Дело в том, что вот я упомянул о двух полисменах, провожатых Бонапарта, и мне сразу привиделся тот гнусный мерзавец — да ты его прекрасно помнишь, — который так нагло и бесцеремонно допекал меня заботами еще тогда, еще в Новой Англии. И тотчас перед моим мысленным

взором возникла та самая беленая каморка с зарешеченным оконцем — как странно, зачем оно было зарешечено? — где, излишне легко подчинившись нелепым желаниям родственников, я потерял несколько лучших лет своей жизни. Ейбогу, мне показалось, будто я так там и сижу и что мой надзиратель — да не надзиратель, конечно, а просто назойливый лакей — сунул нос в дверь. Вот подлец! У меня с ним старые счеты, но ничего, за мной не пропадет! Фу, гадость! Только подумал о нем — и совершенно разволновался. Даже теперь та проклятая комнатушка — с решеткой на окне, из-за которой благословенный солнечный свет, проникавший сквозь пыльные стекла, вызывал у меня душевную муку, — видится мне отчетливей, чем мои роскошные апартаменты в центре Лондона. Действительность — я же знаю, что это действительность, — висит обрывками декорации на остове мучительной иллюзии. Лучше уж не будем об этом.

Ты непременно захочешь услышать о Шелли. Нет нужды говорить о том, что известно всему свету, — сей знаменитый поэт уже много лет назад примирился с англиканской церковью. В позднейших творениях он приложил свои дивные способности к утверждению христианской веры,

преимущественно в ее вышеупомянутой разновидности. Недавно — об этом ты, может быть, и не слышал — он принял сан и получил небольшой деревенский приход милостью лорд-канцлера. Только что, на мое счастье, он приехал в столицу, чтобы присмотреть за изданием тома своих проповедей, трактующих о поэтико-философских резонах христианства на основе «Тридцати девяти статей»[107]. Когда меня ему представили, я был немало озадачен тем, как сочетать то, что мне хочется сказать автору «Королевы Маб», «Восстания Ислама» и «Освобожденного Прометея», с суждениями, приемлемыми для христианского священнослужителя, ревностного сторонника государственной церкви. Но Шелли быстро успокоил меня. Держась своих нынешних убеждений и обозревая все свои былые творения с возвышенной позиции, он заверяет меня, что имеется гармония, порядок, четкая последовательность, которые дают ему право, положа руку на любую из своих прежних поэм, заявить: «Это мое создание!» — с такой же безмятежной совестью, с какой он созерцает пресловутый том проповедей. Это как бы ступени одной лестницы,

[107] Примечания: 107

«Тридцать девять статей» — свод догматов англиканской церкви, принятый в 1571 г.

самая нижняя из которых, в провале хаоса, так же необходима для связи целого, как и наивысшая, у райского порога. Меня так и подмывало спросить, как сложилась бы его судьба, если б он сгинул на нижних ступенях своей лестницы, а не воздвиг ее в небесную лазурь.

Но пусть его: я не берусь, да не очень и стараюсь это понимать, коль скоро Шелли взаправду поднялся — а похоже, что так оно и есть, — из царства тьмы к свету. Оставляя в стороне религиозные достоинства его творений, я все же думаю, что зрелые его стихи лучше юношеских. В них больше любовного тепла, человечности, и оттого они понятнее множеству читателей. Умудренный опытом автор чаще окунает перо в кровь своего сердца, избегая таким образом былых огрехов — из-за переизбытка фантазии и умствований. Прежде страницы его нередко напоминали узор из кристаллов или даже ледышек, столь же холодных, сколь и блестящих. Теперь их принимаешь близко к сердцу и ощущаешь ответную сердечную теплоту. В своей частной жизни Шелли вряд ли стал мягче, добрее и ласковее, чем неизменно был, по отзывам друзей, до той ужасной ночи, когда утонул в Средиземном море. Опять вздор — сущий вздор! Что это я бол-

таю? Видно, вспомнились старые басни: будто он пропал в заливе Специя, и его тело выбросило на берег возле Вьяреджо, и оно было сожжено на погребальном костре, который окропили вином и сдобрили пряностями и благовониями; и будто Байрон стоял у берега и видел, как пламя дивной красы взметнулось к небу из сердца мертвого поэта; и очищенный огнем его прах был схоронен рядом с его ребенком, в римской земле. Если все это случилось двадцать три года назад, то как же я накануне встретил сожженного и похороненного утопленника здесь, в Лондоне?

Уместно упомянуть в заключение, что доктор Реджинальд Хибер[108], бывший епископ Калькуттский, недавно переведенный в Англию, как раз при мне навестил Шелли. Они казались задушевными друзьями и, говорят, сочинили совместную стихотворную медитацию. Какое странное, несуразное сновидение являет собой жизнь человеческая!

Кольридж наконец дописал свою «Кристабель»; полное издание поэмы старина Джон Мэррей выпустит в текущем сезоне. Поэта, как я слышал,

---

[108] Примечания: 108

Хибер Реджинальд (1783–1826) — английский епископ, сочинитель религиозных песнопений, воинствующий реакционер, обличитель Шелли.

поразил какой-то речевой недуг, заткнувший если не многоточием, то хотя бы точкой с запятой неиссякаемый каскад красноречия, низвергавшийся из его уст. Он и месяца не проживет, если постоянный прилив идей не найдет себе другого выхода. Вордсворт умер всего неделю или две назад, упокой Господь его душу и да не закончит он свою «Прогулку»![109] Что-то мне тошно от всех его писаний, кроме «Лаодамии». Очень это прискорбно — непостоянство духа, отторгающее нас от поэтов, некогда обожаемых. Саути[110] по обыкновению бодр и сочиняет стихи с неизменным прилежанием. Старик Гиффорд[111] еще жив, хотя чудовищно стар, и его резкий и недалекий ум, каким когда-то наделил его дьявол, ужасающе оскудел. Мне претит признавать за таким человеком право на старость и хвори. Эдак мы сами лишим себя права мысленно дать ему пинка.

Китс? Нет, его я не видел — разве что через люд-

---

[109] Примечания: 109

«Прогулка» — дидактическая поэма Уильяма Вордсворта (1770–1850), которую автор дописывал и переписывал всю жизнь.

[110] Примечания: 110

Саути Роберт (1774–1843) — английский поэт, в кругу Байрона и Шелли был ославлен графоманом. В последние годы жизни не писал.

[111] Примечания: 111

Гиффорд Уильям (1756–1826) — английский поэт и литературный критик, первый издатель влиятельного журнала «Ежеквартальное обозрение».

ную улицу, сквозь поток карет, телег, всадников, кэбов, омнибусов, пешеходов и прочих помех, заслонивших его невысокую легкую фигурку от моего жадного взора. Хотел бы я встретить его на морском берегу, или под зеленой кровлей леса, или под готическими сводами древнего собора, или среди античных развалин, или в вечерний час у тлеющего камина, или у сумрачного зева пещеры, в смутную глубь которой он сам бы повлек меня за руку, — словом, где угодно, только не возле Темпл-Бара[112], где его и различить-то было невозможно за налитыми портером тушами дюжих англичан. Я стоял и смотрел ему вслед, а он исчезал, исчезал посреди тротуара, и я даже не мог сказать, то ли это был явственный человек, то ли помысел, выскользнувший из моего сознания и облекшийся в плоть и платье лишь затем, чтобы обморочить меня. Он поднес платок ко рту и отнял его от губ, я почти уверен, испятнанным кровью. Никогда, сколько жив, не видел такого хрупкого существа. И то сказать, Китса всю жизнь мучают последствия ужасного легочного кровоизлияния, вызванного статьей о его «Эндимионе» в «Ежеквартальном обозре-

---

[112] Примечания: 112

Темпл-Бар — ворота на западной границе лондонского Сити.

нии», — статьей, которая едва не свела его в гроб. С тех пор он мелькал в нашем мире, как тень, донося дуновением голоса печальные созвучья до слуха разрозненных друзей и никогда не обращаясь к людскому множеству. Я сомневаюсь, что он великий поэт. Бремя могучего гения ни за что не осилить ни таким слабым плечам, ни столь болезненно чуткому духу. Великим поэтам надобны железные мышцы.

И все же Китс, который многие годы безмолвствовал, говорят, отдавал все силы созданию эпической поэмы. Отрывки из нее читались в тесном кругу друзей, и те утверждали, что со времен Мильтона поэзия не звучала возвышенней. Ежели мне удастся раздобыть эти тексты, то прошу тебя, покажи ты их Джеймсу Расселу Лоуэллу — он, кажется, один из самых страстных и видных обожателей Китса. Я же стал в тупик. Я-то думал, что китсовский стихотворный фимиам, не нуждаясь в человеческом языке, восходит ввысь, где мешается с песнопениями бессмертных небожителей, которые, быть может, и слышат новый неведомый голос, прибавляющий сладкозвучия хору. Но оказывается, дело обстоит не так: он в самом деле написал поэму на сюжет «Возвращенного рая», хотя и не в том

смысле, какой вдохновлял Мильтона. Вероятно, сообразуясь с убеждениями тех, кто заявляет, что все эпические возможности прошлой истории мира исчерпаны, Китс отнес свою поэму к неимоверно отдаленному будущему. Он изображает человечество накануне триумфального завершения вековечной борьбы Добра и Зла. Человек за шаг от совершенства; Женщина, разбившая оковы рабства, которое с такой могучей скорбью обличили наши провидицы, стоит наравне с Мужчиной и помимо него общается с ангелами; Земля, обрадованная счастливой участью своих детей, разоделась так пышно и чарующе, что подобная красота не являлась ничьим взорам с той поры, как наши прародители встречали рассвет над росистым Эдемом. Да нет, даже и в те времена не являлась: ибо лишь ныне сбылись тогдашние золотые упованья. Но картина вовсе не безоблачна. Человечеству угрожает еще одна опасность: последнее противостояние Соблазну Зла. Если боренье обернется против нас, мы будем вновь порабощены неизбывной мерзостью и убожеством. Если же мы восторжествуем!.. Но чтобы узреть великолепие этого свершения и не ослепнуть, нужны глаза поэта.

Говорят, что это великое творение Китса про-

никнуто глубокой и трепетной человечностью, что его поэма имеет прелесть и простодушную занимательность народной повести, отнюдь не умаляющие величавый ореол столь возвышенной темы. Так, во всяком случае — быть может, пристрастно, — расписывают поэму друзья ее творца; я же не читал и не слышал ни единой строки вышеупомянутого произведения. Мне сказали, что Китс не отдает его в печать, полагая, что нашему веку не хватит духовной зоркости, дабы воспринять его должным образом. Мне не нравится это недоверие: оно вынуждает меня не доверять поэту. Вселенная готова откликнуться на высочайшее слово, которое вымолвит лучший отпрыск времени и бессмертия. Если же ему отказываются внимать, значит, он пустословит и запинается или толкует о чем-либо несвоевременном и далеком от цели.

На днях я посетил палату лордов, чтобы послушать Каннинга[113], который, можешь себе представить, нынче пэр, уж не помню титула. Он меня разочаровал. Время тупит как острие, так и лезвие, и жестоко обходится с людьми его умственного склада. Затем я отправился в

[113] Примечания: 113

Каннинг Джордж (1770–1827) — английский государственный деятель, в 1822–1827 гг. премьер-министр.

палату общин, где выступал Коббет[114], с виду сущий землекоп, а вернее сказать, таков, словно с дюжину лет пролежал под землей. Многие, кого я встречаю, производят на меня подобное впечатление — возможно потому, что я настроен мрачновато и оттого часто думаю о могилах, поросших высокой травой, с полустертыми ненастьем эпитафиями, и о сухих костях людей, изрядно пошумевших в свое время, а теперь умеющих только клацать, клацать, клацать, когда их прах тревожит заступ могильщика. Если бы хоть узнать, кто из них жив, а кто мертв, мне было бы несравненно спокойнее. А то что ни день кто-нибудь подходит и глядит мне в лицо — между тем как я давно вычеркнул его из списка живущих и отнюдь не опасался, что он снова станет мне докучать зрелищем и звуками своей земной жизни. Вот, например, недавно вечером пошел я в театр «Друри-Лейн», а там передо мной явился под видом тени отца Гамлета Кин-старший[115] собственной персоной — но он-то заведомо умер

---

[114] Примечания: 114

Коббет Уильям (1763–1835) — английский публицист и государственный деятель, поборник демократии.

[115] Примечания: 115

Кин Эдмунд (1787–1833) — английский актер, имевший особый успех в ролях Отелло, Ричарда III и короля Лира; роли тени отца Гамлета не исполнял.

или обязан был умереть с перепоя уже так давно, что о славе его мало кто помнит. Его талант совсем пропал: он был скорее собственной тенью, нежели тенью датского короля.

В ложе у сцены сидели престарелые и дряхлые особы, и среди них величавая и весьма внушительная дамская руина, профиль которой — спереди я ее не видел — оставил оттиск у меня в мозгу точно печать на горячем воске. Трагическим жестом взяла она понюшку табаку, и я понял, что это, конечно же, миссис Сиддонс[116]. Позади сидел ее братец, Джон Кембл[117], напоминавший сломанную куклу, однако проникнутый царственным достоинством. Взамен всех прежних ролей теперь он велением природы уподобился королю Лиру ближе, нежели в расцвете гения. Находился там и Чарлз Мэтьюз, но паралич исказил его некогда столь живые черты, и он был так же не властен над своим безобразно перекошенным лицом, как над обликом земного шара. Казалось, будто шутки ради бедняга скорчил гримасу, и донельзя смешную, и очень уж устрашающую, — и в этот самый миг,

---

[116] Примечания: 116
Сиддонс Сара (1755–1831) — английская трагическая актриса.

[117] Примечания: 117
Кембл Джон Филип (1757–1823) — английский актер.

как бы наказуя за порчу внешности, мстительное Провидение обратило его в камень. Раз уж сам он этого не может, я бы с радостью помог ему изменить выражение лица, а то его уродливая харя мерещится мне днем и ночью. Заметил я и других лицедеев ушедшего поколения, но никто из них меня особенно не заинтересовал. Актерам еще более, чем другим заметным людям, следует вовремя покидать сцену. Они ведь в лучшем случае всего лишь цветные тени, трепещущие на стене, пустопорожние отзвуки чужой мысли, и скорбное разочарование постигает нас, когда краски становятся блеклыми, а голоса надтреснутыми.

А что нового по литературной части на вашей стороне океана? Мой взыскующий взор ничего такого не встречал, кроме томика стихов, который издал уже более года назад доктор Чаннинг. Вот уж не знал, что наш маститый сочинитель пишет стихи; да в них вовсе и нет характерных черт автора общеизвестной прозы — разве что некоторые поэтические создания не только привлекают, но и щедро вознаграждают читателя, если он потрудится вникнуть в них поглубже. И все же они кажутся неуклюжими, как те кольца и прочие изделия из чистейшего золота, но грубой, примитивной работы, которые находят в

африканских золотых россыпях. Сомневаюсь, что американской публике они придутся по вкусу: ей нужен не столько драгоценный металл, сколько затейливое мастерство. Как медленно взрастает наша литература! Безвременная кончина — вот удел наших самых многообещающих писателей. Был у нас, помнится, такой хват Джон Нил[118], который меня, тогда еще юнца, совсем сбил с панталыку своими умопомрачительными романами; он, конечно же, давно умер, а то бы не сидел тише мыши. Брайант[119] уснул вечным сном, осененный своим «Танатопсисом», точно мраморной надгробной статуей в лунном свете. Халлек, тот писывал, бывало, лихие газетные стишки и опубликовал поэму в донжуанском духе «Фанни» — так он сгинул как поэт, хотя говорят, что душа его переселилась в какого-то предпринимателя. Чуть позже него был еще вроде бы Уитьер[120], пламенный юноша-квакер: насмеш-

---

[118] Примечания: 118

Нил Джон (1793–1876) — американский писатель, плодовитый автор приключенческих романов.

[119] Примечания: 119

Уильям Каллен Брайант (1794–1878) — американский поэт, переводчик Гомера. «Танатопсис» (*в пер. с греч.* — *«раздумье о смерти»*) — его поэма, вдохновленная английской кладбищенской школой поэзии.

[120] Примечания: 120

Уитьер Джон Гринлиф (1807–1892) — американский поэт-аболиционист.

ница муза вручила ему боевой барабан, — так его опять же линчевали лет десять назад в Южной Каролине. Еще помню юнца — только-только из колледжа — по имени Лонгфелло: тот развеял по ветру дюжину утонченных стихотворений и отправился в Германию, где его погубили, кажется, усердные занятия в Геттингенском университете. Уиллис — какая жалость! — пропал, если не ошибаюсь, в 1833-м, странствуя по Европе, куда поехал, чтобы хоть мельком, в набросках показать нам светлую сторону жизни. Вот остались бы они живы, и кто-нибудь из них, а то и каждый, вырос бы и стал знаменитостью.

Хотя кто его знает — может, и хорошо, что все они умерли. Я и сам был многообещающим юношей. О, потрясенный ум! О, сломленный дух! Где же исполнение этих обещаний? Истина прискорбна: если судьбе угодно слегка огорчить людей, она умерщвляет самых одаренных из них в молодости; если же надо жестоко высмеять людские надежды, то одаренные остаются в живых. Я же пусть умру, изрекши это, потому что вернее не скажешь!

Как странно устроен ум человеческий! Или — к чему обобщать — какой у меня чудной ум! Поверишь ли? Денно и нощно тревожат мой

внутренний слух отрывки стихотворений — то беспечных, точно птичьи трели, то размеренно-изящных, словно камерная музыка, а иногда полнозвучных, как органные раскаты, — и все это будто бы стихи, которые написали бы эти покойные поэты, если б неумолимая судьба не разлучила их навек с чернильницами. Они бестелесно навещают меня — может статься, желая препоручить мне переписку своих посмертных творений и таким образом снискать им непреходящую славу, которой не успели добиться, рано покинув земные пределы. Но я по горло занят собственными делами; к тому же некий джентльмен-медик, который пользует мои легкие недомогания, советует мне пореже трогать перо и чернила. А безработных переписчиков хватает, и они с радостью возьмутся за подобное дело.

До свидания! Ты жив или умер? Что поделываешь? Все пишешь в «Демократик»?[121] А эти чертовы наборщики и корректоры все так же мерзко уродуют твои разнесчастные творения? Это худо, как ни кинь. Я требую: каждый пусть

[121] Примечания: 121

«Юнайтед стейтс мэгэзин энд демократик ревью» — ежемесячный литературно-художественный и политический журнал, в котором сотрудничал Готорн; издавался с 1837 по 1849 г.

сам производит собственную чепуху! Жди меня скоро домой, и — шепну по секрету — не одного, а с поэтом Кэмпбеллом[122]: он хочет побывать в Вайоминге и отдохнуть под сенью лавров, которые там насадил. Теперь уж он старик. Говорит, что чувствует себя хорошо, как никогда в жизни, но до странности бледен и так призрачен, что, кажется, можно его проткнуть пальцем в самом плотном месте. Я ему шутки ради говорю, что он такой смутный и непрочный, как Память, но зато беспричинный, как Надежда.

Твой истинный друг П.

Постскриптум. Передай, пожалуйста, мой нижайший поклон нашему достопочтенному и многоуважаемому другу, мистеру Брокдену Брауну[123]. Я был счастлив узнать, что полное однотомное собрание его сочинений ин-октаво в два столбца вот-вот выйдет в Филадельфии. Скажи ему, что по эту сторону океана ни один американский писатель, кроме него, в бесспор-

---

[122] Примечания: 122

Кэмпбелл Томас (1777–1844) — американский поэт, автор поэмы о жестоких превратностях судьбы «Гертруда из Вайоминга». Ко времени написания этой новеллы Готорна смерть Кэмпбелла была еще свежей новостью.

[123] Примечания: 123

Чарльз Брокден Браун (1771–1810) — весьма плодовитый американский писатель, автор первых в американской литературе романов.

ных классиках не ходит. А что, неужели старина Джоэль Барлоу еще жив? Потрясающий человек! Эдак еще немного и доживет до ста лет! И неужели правда, что он обдумывает эпическую поэму о войне Мексики и Техаса с применением паровых машин — этого самого богоугодного изобретения нашей эпохи? Как же он думает восстать из мертвых, если на краю могилы обвешивается тяжкими веригами свинцовых стихосплетений?

Итан Бренд

Бартрам, обжигальщик извести, угрюмый, коренастый мужчина, весь обсыпанный угольной пылью, сидел в вечерних сумерках, глядя на печь, а его маленький сын играл, строя домики из разбросанных повсюду обломков мрамора, когда внизу, на склоне холма, они услышали взрыв смеха — не радостного, а долгого и даже печального, как шум ветра, качающего ветви деревьев в лесу.

— Папа, что это? — спросил мальчуган, перестав играть и прижавшись к коленям отца.

— Да, наверное, пьяница какой-нибудь, — ответил обжигальщик. — Весельчак из деревенского кабака, который не решился рассмеяться внутри, иначе бы у дома крышу снесло. Вот он и хохочет у подножия Грейлока.

— Папа, но ведь он смеется не как человек, которому хорошо, — сказал мальчик, более чувствительный, чем его простоватый родитель. — Мне страшно!

— Не дури, сынок! — грубо одернул его отец. — Похоже, никогда тебе не стать настоящим

мужчиной, слишком много в тебе от матери. Бывает, листья зашелестят, а ты уже пугаешься. Слышишь? Вот он идет, этот весельчак. Увидишь: он совсем не злой.

Бартрам с сыном вели такой разговор, сидя у обжиговой печи, рядом с которой Итан Бренд полжизни размышлял в полном одиночестве, прежде чем начал поиски Непростительного Греха. Как мы видели, много лет минуло с той памятной ночи, когда у Итана родилась Идея. Однако обжиговая печь все так же стояла, целая и невредимая, на склоне горы и ничуть не изменилась с той поры, когда он бросил в ее жаркое горнило свои темные мысли и сплавил их в одну-единственную, которой сделался одержим на всю жизнь. Печь представляла собой огромное, похожее на башню сооружение метров шести в высоту, прочно сложенное из неотесанных камней и почти кругом обнесенное земляной насыпью, чтобы подвозить тележками и сбрасывать вниз глыбы и обломки мрамора. Внизу печи находилось отверстие, похожее на устье обычной печки, но достаточно большое, чтобы туда, согнувшись, мог зайти человек. Отверстие это закрывала массивная железная дверь, из щелей и трещин которой вырывались клубы дыма и

язычки пламени, исходившие, казалось, из чрева холма. Дверь эта напоминала потаенный вход в преисподнюю, который пастухи с Усладных гор обычно показывали проезжающим.

В этом краю много таких печей, где обжигают белый мрамор, который в изобилии добывают в здешних холмах. Некоторые из них, сложенные много лет назад и давно заброшенные, с заросшими сорняками днищами, глядящими в небо, и с пробившимися между камнями травой и полевыми цветами, уже похожи на древние развалины и в грядущие столетия могут густо порасти лишайником. Другие же, в которых обжигальщики денно и нощно поддерживают огонь, вызывают интерес у идущих между холмов путников, присаживающихся на бревна или обломки мрамора и ведущих разговоры с одинокими смотрителями печей. Это занятие для отшельников, а если обжигальщик склонен к размышлениям, он может вовсю им предаваться, что и доказал Итан Бренд, который в прошлом додумался до очень странной идеи, поддерживая огонь в именно этой печи.

Тот, кто теперь следил за огнем, был человеком иного склада и не тревожил себя другими мыслями, кроме как о работе. Он то и дело открывал

тяжелую лязгавшую дверь печи и, отвернувшись от нестерпимого света и жара, бросал в нее тяжелые дубовые поленья или длинным железным прутом помешивал огромные горящие головни. Внутри виднелись танцующие языки пламени и обгоревшие, почти расплавленные жаром куски мрамора. Снаружи отблески огня подрагивали на переплетенных ветвях деревьев подступавшего почти к самой печи леса, высвечивая на переднем плане казавшуюся красноватой избушку, текущий у ее порога ручей, коренастую, обсыпанную угольной пылью фигуру обжигальщика и его напуганного сына, скрывшегося в спасительной тени отца. Когда железная дверь в очередной раз закрылась, снова возник нежный свет неполной луны, тщетно пытавшийся высветить смутные очертания соседних холмов, а в небе заскользили сбившиеся в кучки облака, все еще розовевшие в лучах заката, хотя внизу, в долине, стемнело уже давным-давно.

Когда послышались шаги поднимавшегося по склону человека, а его силуэт показался среди жавшихся к деревьям кустов, мальчуган подобрался поближе к отцу.

— Эгей, кто это?! — крикнул обжигальщик, раздраженный робостью сына и отчасти поддав-

шийся ей. — Выходи и покажись, как порядочный, не то башку снесу куском мрамора!

— Недобрым словом ты меня встречаешь, — раздался угрюмый голос, когда незнакомец подошел ближе. — Впрочем, я не прошу и не хочу, чтобы меня встретили добром, пусть даже у собственной печи.

Чтобы получше разглядеть чужака, Бартрам открыл железную дверь, откуда сразу брызнул нестерпимо яркий свет, обрушившийся на лицо и фигуру незнакомца. Досужий взгляд не увидел бы в нем ничего примечательного: мужчина в простой одежде незатейливого покроя, в тяжелых дорожных башмаках, высокий и худой. Подойдя ближе, он впился жадным взглядом в яркое пламя, словно увидел или ожидал увидеть что-то достойное внимания.

— Добрый вечер, человек прохожий, — произнес обжигальщик. — Откуда ты в столь поздний час?

— Возвращаюсь с поисков, — ответил странник, — поскольку они, наконец, закончены.

— Пьяный! Или не в себе! — еле слышно пробормотал Бартрам. — Доставит хлопот. Чем быстрее я от него избавлюсь, тем лучше.

Мальчуган, весь дрожа, зашептал отцу на ухо,

прося закрыть дверь, чтобы вновь стало поменьше света: в лице незнакомца мелькнуло что-то, на что было страшно смотреть, но отвести от него взгляд он не мог. И вправду, даже толстокожего и туповатого обжигальщика начало пробирать что-то неописуемо странное в этом худом, хмуром, задумчивом лице, обрамленном седыми клочьями волос, и в глубоко запавших глазах, сверкающих, словно огоньки над входом в загадочную пещеру. Но когда он закрыл дверь, незнакомец повернулся к нему и заговорил тихим знакомым голосом, отчего Бартрам подумал, что перед ним все-таки здравомыслящий и разумный человек.

— Вижу, твоя работа близится к концу, — сказал путник. — Мрамор уже три дня как в обжиге. Через несколько часов он превратится в известь.

— Слушай, ты кто?! — воскликнул обжигальщик — Похоже, это ремесло знакомо тебе так же, как мне.

— Если не лучше, — ответил незнакомец. — Ведь я занимался им много лет, причем здесь, на этом самом месте. Но ты пришлый в этих краях. Никогда не слышал об Итане Бренде?

— О том, кто пустился на поиски Непростительного Греха? — смеясь, спросил Бартрам.

— Именно, — ответил незнакомец. — Он нашел что искал, и поэтому возвращается.

— Так-так! Выходит, ты и есть тот самый Итан Бренд?! — изумленно вскричал обжигальщик. — Сам я пришлый, как ты говоришь, но слышал, что прошло восемнадцать лет с тех пор, как ты отправился в путь от подножия Грейлока. Однако, доложу я тебе, добрые люди в деревне все еще говорят об Итане Бренде и о странном деле, из-за которого он бросил обжиговую печь. Значит, ты все-таки нашел Непростительный Грех?

— Именно так, — спокойно ответил незнакомец.

— Если не обижу вопросом, — продолжал Бартрам, — где же он, этот грех?

Итан Бренд ткнул пальцем себе в область сердца.

— Здесь! — ответил он.

И тут без малейшей веселости в лице он рассмеялся, словно помимо своей воли признавая безграничную нелепость поисков того, что было совсем рядом, в нем самом, несусветность копания во всех встречавшихся ему сердцах, кроме собственного, где он и нашел искомое. Рассмеялся тем же долгим печальным смехом, который чуть не напугал Бартрама, когда возвестил о прибли-

жении странника.

От этого смеха атмосфера над пустынным склоном холма сделалась гнетущей. Смех, когда он не к месту, не ко времени или вызван острым смятением чувств, может придать человеческому голосу пугающее, жуткое звучание. Смех спящего, пусть даже ребенка, смех сумасшедшего или слабоумного от рождения — суть звуки, которые иногда приводят в содрогание и которые хочется поскорее забыть. Поэты давно подметили, что ничто так не свойственно демонам и злым духам, как леденящий душу смех. И даже туповатый обжигальщик почувствовал, как смех резанул его по нервам, когда незнакомец заглянул себе в сердце и разразился хохотом, который раскатился в ночи и смутным эхом отдался среди холмов.

— Джо, — сказал Бартрам сыну, — живо беги в деревню, в кабак, и скажи бражникам, что Итан Бренд вернулся, и что он нашел Непростительный Грех!

Мальчишка ринулся исполнять приказание, на что Итан Бренд никак не возразил. Похоже, он почти этого не заметил. Он присел на бревно и стал пристально глядеть на дверь печи. Когда мальчуган скрылся из виду и смолкли звуки его быстрых легких шагов по палой листве и каменистой тро-

пинке, обжигальщик начал жалеть, что отправил сына в деревню. Он чувствовал, что мальчуган словно бы ограждал его от незваного гостя и что теперь ему придется один на один иметь дело с человеком, совершившим, по собственному признанию, единственное преступление, которое не могут простить даже небеса. Это преступление словно затмевало самого незнакомца непроницаемым мраком. Перед обжигальщиком встали его собственные грехи, и память его буйною толпою наполнили зловещие образы, заявлявшие свое родство с Главным Грехом, который могла бы придумать и взлелеять порочная человеческая натура. Они были из одного корня и переходили из груди Бартрама в грудь Итана Бренда и обратно, мрачно приветствуя друг дружку.

Тут Бартрам вспомнил прочно вошедшие в обиход истории об этом странном человеке, явившемся к нему как ночная тень и располагавшемся на прежнем месте, как дома, после столь долгого отсутствия, что давным-давно похороненные мертвецы имели бы больше прав устраиваться у очагов, нежели он. Рассказывали, что Итан Бренд в отблесках яркого пламени этой самой печи разговаривал с самим сатаной. До сего момента легенда эта казалась забавной, но теперь вызы-

вала ужас. Согласно ей, Итан Бренд, прежде чем отправиться на поиски, каждую ночь вызывал из горнила печи князя тьмы, чтобы побеседовать с ним о Непростительном Грехе, и оба они пытались определить некое прегрешение, которое нельзя ни искупить, ни простить. И при первых лучах утренней зари князь тьмы залезал в дверь печи и пребывал в центре жаркого пламени, пока его снова не вызовут на пару с человеком решать кошмарную задачу: отыскать такое человеческое прегрешение, которое не по силам даже безграничному небесному милосердию.

Пока обжигальщик боролся с жуткими мыслями, Итан Бренд встал с бревна и распахнул дверь печи. Это действие оказалось столь созвучным размышлениям Бартрама, что тот был почти готов увидеть раскаленного докрасна Люцифера, выходящего из бушующего пламени.

— Обожди! Обожди! — вскричал он, боязливо пытаясь засмеяться, потому что стыдился своего страха, хотя тот полностью овладел им. — Ради всего святого, не вызывай дьявола!

— Послушай, — сурово проговорил Итан Бренд. — Зачем мне дьявол? Я расстался с ним во время странствий. Он занимается мелкими грешниками вроде тебя. Не бойся, я открыл дверь

по старой привычке. Сейчас выровняю огонь, как положено настоящему обжигальщику.

Он помешал угли, подбросил дров и подался вперед, чтобы заглянуть в узилище огня, несмотря на исходивший оттуда жар, от которого его лицо покраснело. Бартрам сидел и глядел на незваного гостя, гадая: если тот и не вызовет дьявола, то, может, хотя бы бросится в пламя и скроется с глаз человеческих. Однако Итан Бренд спокойно выпрямился и закрыл дверь печи.

— Я глядел в человеческие сердца, всемеро сильнее полыхавшие греховными страстями, чем огонь, горящий в этой печи, — сказал он. — Но в них не нашел того, что искал. Не видел я там Непростительного Греха!

— А что это за Непростительный Грех такой? — спросил обжигальщик и резко отодвинулся от сидевшего рядом гостя, дрожа от страха, что на его вопрос ответят.

— Это грех, что взрос у меня в груди, — ответил Итан Бренд, встав во весь рост и горделиво выпрямившись, как и подобает подобного рода одержимым людям. — Грех, который не мог взрасти нигде больше! Грех ума, вознесшегося над братской любовью к ближним и почитанием бога, который все принес в жертву своим непо-

мерным похотям и притязаниям! Единственный грех, заслуживающий воздаяния в вечных муках! Случись мне вновь его совершить, я бы по доброй воле принял на себя вину и не отвратился бы от кары!

— Он тронулся умом, — пробормотал обжигальщик себе под нос. — Может, он грешник, как и все мы, наверняка так оно и есть. Но готов поклясться, что он еще и сумасшедший.

Тем не менее он чувствовал себя очень неловко один на один с Итаном Брендом и очень обрадовался, когда услышал гомон голосов и шаги вроде бы многочисленной компании, которая приближалась, спотыкаясь о камни и шурша ветками кустов. Вскоре появился весь отряд лентяев, ежедневно сидевших в кабаке, состоявший из трех-четырех субъектов, которые со времени ухода Итана Бренда зимой потягивали флип у камина, а летом покуривали трубки под навесом на веранде. Громко смеясь и грубо перебивая друг дружку, они вывалились на полянку, освещенную лунным сиянием и узкими язычками пламени из печи. Бартрам снова приоткрыл дверь, стало светлее, и вся прибывшая компания могла хорошенько разглядеть Итана Бренда, а он — их.

Среди его старых знакомых находился человек из той когорты, что некогда встречалась почти повсеместно, а теперь почти исчезла, с представителем которой раньше мы обязательно бы столкнулись на постоялом дворе любой более-менее благополучной деревни или городка. Это был театральный импресарио. Данный образчик этого вида являл собой поблекшего, иссохшего от табачного дыма субъекта, морщинистого и красноносого, в ладно скроенном, но кургузом коричневом сюртуке с медными пуговицами. Он с незапамятных времен сидел за столиком в углу кабака и по-прежнему попыхивал, казалось, той же сигарой, которую он раскурил двадцать лет назад. Он славился как острослов — возможно, не столько из-за чувства юмора, сколько из-за постоянно исходившего от него запаха бренди и табака, который насквозь пропитал его мысли, слова и самою сущность. Другое хорошо запомнившееся, пусть и сильно изменившееся лицо принадлежало адвокату Джайлзу, как люди по-прежнему называли его из вежливости. Этот пожилой оборванец в грязной рубашке и холщовых штанах когда-то знавал лучшие времена и был поверенным в делах, ловким и изворотливым стряпчим, очень популярным среди деревенских сутяж-

ников. Однако флип, джин, пунш и коктейли, которые он поглощал в любое время утра, дня и ночи, вынудили его оставить труд умственный и заняться трудом физическим, пока, наконец, по его собственным словам, он не плюхнулся в мыловаренный чан. Теперь Джайлз кое-как зарабатывал на жизнь мыловарением. Он превратился в инвалида: часть ноги ему отхватили топором, а руку целиком оторвало дьявольским зажимом паровой машины. Однако, пусть сама рука и исчезла, но образ ее остался, поскольку, подняв культю, Джайлз утверждал, что ощущает невидимые пальцы так же отчетливо, как и при их существовании. Он был жалким калекой, но, тем не менее, никто не смел ни унижать, ни презирать его ни теперь, ни в прежние времена его несчастий, поскольку он по-прежнему сохранял мужество и присутствие духа, не требовал к себе милостей и одной рукой — при этом левой — продолжал сражаться с нуждой и превратностями жизни.

Среди прочих явился и еще один субъект, кое в чем похожий на адвоката Джайлза, но куда более от него отличавшийся. Деревенский врач, мужчина лет пятидесяти, который в более молодом возрасте был представлен как пришедший

к Итану Бренду, когда того предположительно постигло безумие. Теперь он превратился в безжалостного и грубого человека с налитым кровью лицом, однако сохранившего остатки благородной осанки, в словах, жестах и всей манере которого сквозило что-то необузданное, безысходное и отчаянное. Бренди овладело им, словно злой дух, и сделало мрачным и злобным как дикий зверь, и несчастным как заблудшая душа. Однако он, по всей видимости, обладал таким умением, таким врожденным даром исцеления, которыми не может наделить медицинская наука, что общество крепко держало его, не позволяя скатиться на дно. Так что, раскачиваясь в седле и что-то невнятно бормоча у постелей больных, он объезжал всех страждущих в окрестных городках, иногда чудом ставя на ноги умирающих и, несомненно, столь же часто отправляя в могилу тех, кому копать эту могилу было еще очень рано. Он не выпускал изо рта извечной трубки, про которую кто-то заметил, намекая на привычку доктора сквернословить, что в ней горит адский огонь.

Это достойное трио пробилось вперед, и каждый по-своему поздоровался с Итаном Брендом, на полном серьезе уговаривая его хлебнуть из

некоей черной бутылки, в которой, по их уверению, он найдет нечто лучшее, чем поиски Непростительного Греха. Никто из достигших путем напряженных одиноких раздумий столь высокого духовного подъема не вынес бы потока низменных и пошлых мыслей, который обрушился на Итана Бренда. От них его одолели сомнения — как ни странно, сомнения мучительные — вправду ли он нашел Непростительный Грех и нашел его внутри себя? То, чему он посвятил жизнь и даже больше, показалось призрачным наваждением.

— Оставьте меня, — с горечью произнес он, — вы, грубые скоты, утопившие души в вине! Я покончил с вами. Много лет назад я заглянул в ваши сердца и не нашел ничего для себя полезного. Изыдите!

— Ах ты, негодяй! — яростно вскричал врач. — Так-то ты отвечаешь на добрый привет лучших друзей? Так вот, я тебе всю правду скажу. Ты так же отыскал Непростительный Грех, как вот этот мальчишка Джо. Ты всего лишь сумасшедший, я двадцать лет назад тебе это сказал, ты просто помешанный, под стать старому Хамфри!

Он показал на бедно одетого старика с длинными седыми волосами, тонким лицом и блуждаю-

щими глазами. Уже несколько лет этот старикан скитался по разбросанным среди холмов деревням, спрашивая у всех встречных, не видели ли те его дочь. Девушка, похоже, сбежала с бродячим цирком, и время от времени в деревню доходили вести о ней. Люди рассказывали дивные истории о том, как она в сверкающем наряде скакала на коне вокруг арены или восхитительно прыгала на натянутом канате.

Седой отец подошел к Итану Бренду и посмотрел на него блуждающим взглядом.

— Говорят, ты всю землю обошел, — сказал он, заламывая руки в неподдельном горе, — и наверняка видел мою дочь, ведь она теперь такая знаменитая, что все бегут на нее поглядеть. Она ничего не просила передать старику отцу, не сказала, когда домой вернется?

Под взглядом старика Итан Бренд отвел глаза. Дочь, от которой старик безответно ждал хоть словечка, была Эстер из нашего повествования, та самая девушка, которую Итан Бренд с ледяным спокойствием безжалостно превратил в предмет психологического опыта, по ходу которого выжал, поглотил и, возможно, уничтожил ее душу.

— Нет, — пробормотал он, отвернувшись от седого бродяги, — это не наваждение. Непрости-

тельный Грех существует!

Пока это все происходило, у ручья рядом с дверью в избушку разворачивалась забавная сцена. Деревенская молодежь, парни и девушки, прибежали к склону холма, подстегиваемые любопытством увидеть Итана Бренда, героя стольких знакомых с детства легенд. Однако не увидев в нем ничего удивительного — просто загорелый путник в простой одежде и запыленных башмаках, который сидел и смотрел в огонь, словно видел на углях картинки — молодежь быстро заскучала. Так уж получилось, что подоспело новое развлечение. Когда молодые селяне вышли из деревни, к ней по горной дороге подходил старый немецкий еврей с диорамой на спине. Надеясь заработать, он вместе с ними зашагал к обжиговой печи.

— Эй, старикан, покажи-ка нам картинки! — крикнул один из парней. — Если только сможешь поклясться, что на них стоит посмотреть!

— О, да, капитан, — ответил еврей, из вежливости или по расчету называвший всех «капитанами». — И вправду покажу, у меня картинки — высший класс!

Должным образом установив ящик, он пригласил парней и девушек заглянуть в стеклянные

окошечки своего устройства и принялся показывать им как образец достижений изящных искусств жутчайшую мазню, демонстрировать которую когда-либо хватало совести владельцу диорамы. Потертые, надорванные, потемневшие от табачного дыма, картины пришли в чрезвычайно плачевное состояние. На одних якобы изображались европейские города, величественные здания и развалины замков, на других — битвы Наполеона и морские баталии Нельсона. Посреди них красовалась огромная бурая волосатая рука, которую можно было принять за Десницу Судьбы, хотя, по правде, принадлежала она владельцу диорамы и указывала пальцем на различные этапы сражений, а сам владелец давал соответствующие пояснения из истории. Когда представление закончилось, вызвав веселость чудовищным отсутствием всякого изящества, еврей уговорил Джо засунуть голову в ящик. При взгляде сквозь увеличительное стекло круглое розовое личико ребенка приобрело невероятные признаки мальчугана из рода титанов с широченной улыбкой, а глаза и другие черты лица были буквально переполнены весельем от такой шутки. Однако внезапно улыбавшееся лицо побледнело и исказилось от ужаса, поскольку

впечатлительный и легко приходящий в волнение ребенок встретился взглядом со смотревшим на него сквозь стекло Итаном Брендом.

— Вы пугаете малыша, капитан, — мрачно сказал еврей, выпрямившись и повернувшись к Бренду. — Однако взгляните еще разок и, даю слово, вы ненароком увидите нечто очень интересное.

Итан Бренд на мгновение заглянул в коробку и тотчас отшатнулся, пристально посмотрев на еврея. Что же он увидел? Очевидно, ничего, поскольку любопытный парень, посмотревший в диораму одновременно с ним, обнаружил внутри лишь пустой полотняный экран.

— Вот теперь я тебя вспомнил, — тихо сказал Итан Бренд владельцу диорамы.

— Ах, капитан, — со зловещей улыбкой прошептал нюрнбергский еврей. — Как же тяжело таскать в диораме Непростительный Грех! Верьте слову, у меня плечи болят, пока я весь этот долгий день тащил ее на гору и вниз.

— Уймись, — сурово ответил Итан Бренд. — Или отправишься в печь!

Едва еврей закончил представление, как внимание собравшихся решил привлечь огромный старый пес, который, похоже, был сам себе хозя-

ин, поскольку никто не назвался его владельцем. Дотоле он вел себя как очень тихий и воспитанный пожилой пес, переходил от одного человека к другому и, желая подластиться, подставлял косматую голову, чтобы кто-нибудь не поленился и погладил его. Но теперь это спокойное и степенное четвероногое по своей воле и без всякой причины вдруг начало вертеться волчком, стараясь поймать собственный хвост, который, добавляя нелепости происходящему, оказался гораздо короче, чем надо. Никогда еще мир не видывал такого упорного стремления в погоне за тем, что никак нельзя догнать. Никогда еще мир не слыхивал такого яростного рычания, тявканья, лая и воя, будто бы хвост несуразного животного смертельно и непримиримо враждовал с его телом. Дворняга кружилась все быстрее и быстрее, все быстрее и быстрее ускользал от нее недоступный для пасти хвост-коротышка, все громче и злее делался лай, пока, вконец вымотавшись, но так и не достигнув цели, глупый старый пес не остановился так же внезапно, как начал вертеться. Через мгновение он стал тем же кротким, тихим, послушным и воспитанным псом, каким был, когда увязался за направлявшейся к печи компанией.

Как можно с уверенностью полагать, этот его «номер» приветствовали общим хохотом, аплодисментами и криками «бис!», на что пес-артист отвечал помахиванием хвостом-коротышкой, но явно не мог повторить чрезвычайно удачную попытку рассмешить зрителей.

Тем временем Итан Бренд снова присел на бревно и, явно проникнувшись мыслью об отдаленной схожести между своей судьбой и бесполезным бегом за собственным хвостом, который продемонстрировала дворняга, рассмеялся жутким смехом, который как нельзя лучше передавал его внутреннее состояние. В ту же секунду веселость собравшихся угасла, они стояли, объятые ужасом, боясь, как бы эти зловещие звуки не разнеслись эхом до самого горизонта и не начали бы с грохотом перекатываться с холма на холм, тем самым еще дольше терзая их слух. Затем, перешептываясь, что уже поздно, что луна почти зашла, что августовскими вечерами заметно холодает, все заторопились по домам, оставив обжигальщика и малыша Джо в компании незваного гостя. Они втроем остались на опустевшей поляне возле угрюмого леса. За его темным краем отблески пламени плясали на величавых стволах и почти черной хвое сосен, среди которых чуть

светлее зеленели молодые дубки, клены и тополя. Тут и там лежали огромные поваленные деревья, гнившие на усыпанной листвой земле. И маленькому Джо, робкому и впечатлительному ребенку, показалось, что безмолвный лес будто бы затаил дыхание в ожидании чего-то ужасного.

Итан Бренд подбросил в огонь дров и закрыл дверь печи. Потом оглянулся через плечо на обжигальщика с сынишкой и скорее велел, нежели посоветовал им отправляться спать.

— Сам я сегодня не усну, — сказал он. — Мне много о чем нужно подумать. Я послежу за огнем, как в былые времена.

— И, наверное, вызовешь дьявола, чтобы не скучать, — пробормотал Бартрам, который близко познакомился с уже упоминавшейся черной бутылкой. — Присмотри, если хочется, и вызывай хоть всех дьяволов! Что до меня, так я лучше подремлю. Пошли, Джо!

Когда мальчишка вслед за отцом подошел к избушке, он оглянулся на странника. На глаза у него навернулись слезы, поскольку его чувствительное сердце ощутило, на какое беспросветное и жуткое одиночество обрек себя этот человек.

Когда они ушли, Итан Бренд все так же сидел, прислушиваясь к треску дров в печи и глядя

на язычки пламени, пробивавшиеся из щелей двери. Эти мелочи, некогда столь знакомые, почти не привлекали его внимания, когда он в глубоких раздумьях вспоминал постепенные, но поразительные перемены, вызванные в нем поисками, которым он посвятил почти всю жизнь. Он вспомнил, как его окропляла ночная роса, как ему нашептывал темный лес, как над ним сверкали звезды — над простым, полным любви человеком, из года в год следившим за огнем и размышлявшим, пока тот горел. Он вспомнил, с какой нежностью, любовью, состраданием и жалостью к прегрешениям и печалям людей он впервые задумался о том, что` потом стало движущей силой его жизни, с каким трепетом он тогда заглядывал в человеческие сердца, видя в них первородные божественные храмы, остававшиеся священными для ближних его, даже осквернённые. С каким жутким страхом он сомневался в успехе своих поисков и молил вышние силы, чтобы Непростительный Грех так и не открылся ему. Все это привело к быстрому развитию ума, которое с течением времени нарушило равновесие между разумом и сердцем. Овладевшая им Идея послужила средством познания, она до предела развила его природные способности

и подняла неграмотного обжигальщика до уровня высоких истин, которых тщетно пытались добиться философы с их университетскими знаниями. Но довольно об уме! А что же его сердце? Оно воистину усохло, сморщилось, отвердело и погибло! Оно не билось в такт вселенной. Он выпал из магнетической цепи, связывающей человечество. Он стал чужим своим братьям, отворяющим двери узилищ ключом святого сострадания, что давало ему право познания всех его тайн. Он превратился в холодного наблюдателя, видевшего в роде человеческом предмет для опытов и в итоге превращавшего мужчин и женщин в марионеток, которых он дергал за ниточки, доводя до преступления, потребного для его изысканий.

Так Итан Бренд превратился в чудовище. Это превращение началось с того момента, когда его нравственное развитие перестало успевать за развитием умственным. И теперь, на высшей точке этого неизбежного развития, словно яркий и дивный цветок, словно спелый и вкусный плод трудов всей жизни, он вывел для себя Непростительный Грех!

— Что мне еще искать? К чему еще стремиться? — спросил сам себя Итан Бренд. — Моя задача

выполнена прекрасно!

Быстро вскочив с бревна, он взбежал на самый верх земляной насыпи, окружавшей обжиговую печь. Там находилась площадка примерно метра три в поперечнике, откуда были видны огромные груды наваленных в печь обломков мрамора, раскаленные докрасна и испускавшие длинные языки синего пламени, извивавшиеся и плясавшие, словно заключенные в волшебный круг. Они с неустанной силой и упорством то взмывали ввысь, то снова опадали. Когда стоящий на насыпи человек наклонился к жуткому пылающему горнилу, его обдало таким жаром, что он, казалось, в одно мгновение вспыхнет, съежится и обуглится.

Итан Бренд выпрямился и протянул руки к небу. Синие отблески пламени играли у него на лице, озаряя его страшным мертвенным светом, который как нельзя лучше соответствовал его выражению: лику демона, вот-вот готового броситься в бездну невыносимых мук.

— О, Мать-Земля! — вскричал он. — Ты, кто мне больше не мать и в чье лоно этому телу никогда не вернуться! О, человечество, чье братство я отринул и чье великодушное сердце я попрал ногами! О, звезды небесные, что всегда светили

мне, озаряя путь вперед и ввысь! Прощайте же навсегда! Приди, смерть огненная, отныне мой неразлучный друг! Обними меня, как я обнимаю тебя!

Той ночью наводящие ужас раскаты хохота то и дело тяжким уханьем тревожили сон обжигальщика и его сынишки. В их сны врывались неясные мерзкие и гнетущие видения. Казалось, они еще не покинули их скромное жилище, когда отец и сын проснулись и увидели, что на дворе уже светло.

— Вставай, сынок, вставай! — вскричал обжигальщик, оглядываясь по сторонам. — Слава Богу, ночь наконец-то кончилась. Чем провести еще такую ночку, я лучше стану, глаз не сомкнув, целый год следить за огнем в печи. Этот Итан Бренд с его дурацким Непростительным Грехом сделал мне сомнительное одолжение, когда взялся меня подменить.

Он вышел из избушки вместе с Джо, который крепко вцепился ему в руку. Утреннее солнце уже позолотило вершины холмов, и, хотя в долинах царил полумрак, они весело улыбались быстро наступавшему ясному дню. Долина, полностью окруженная пологими холмами, выглядела так, словно мирно покоится в большой длани

Провидения. Был четко виден каждый дом, невысокие шпили двух церквей глядели ввысь, их позолоченные флюгеры играли отсветами пронизывавших небо золотистых лучей. Кабак уже проснулся, и под навесом на веранде виднелась фигура иссохшего от табачного дыма импресарио с неизменной сигарой во рту. На вершине древнего Грейлока красовался венец из золотистых облаков. Над окружавшими его холмами также висели клочья тумана самой фантастической формы: одни внизу, у самой долины, другие повыше, у самых вершин, а третьи — то ли туман, то ли облака — парили в золотистом сиянии неба. Казалось, что, ступая по облакам у холмов, а затем переходя на плывущих по воздуху их собратьев, смертный человек может подняться в небесные сферы. Земля и небо как бы слились друг с другом, и это зрелище могло показаться сном наяву.

Добавляя очарования этому оттенку обыденности и уюта, который природа охотно придает подобным картинам, по дороге между холмами громыхал почтовый дилижанс. Кучер трубил в рожок, его звуки подхватывало эхо, сплетая их в богатую, разнообразную и затейливую гармонию, к которой изначальный исполнитель едва ли мог иметь какое-то отношение. Величавые холмы

сами разыгрывали концерт, каждый из них добавлял свою ноту воздушного сладкоголосия.

Лицо Джо тотчас же просветлело.

— Папа! — закричал он, весело прыгая туда-сюда. — Этот странный незнакомец исчез, небо и горы, похоже, этому радуются!

— Да, — пробурчал обжигальщик, выругавшись себе под нос. — Но он дал погаснуть огню, и не его заслуга, что пятьсот бушелей извести не пропали даром. Еще раз тут этого прохвоста поймаю, так сразу в печь и брошу!

Взяв длинный железный прут, он поднялся на насыпь. Через пару мгновений позвал сына.

— Иди-ка сюда, Джо! — крикнул он.

Мальчуган взбежал на насыпь и встал рядом с отцом. Весь мрамор прогорел и превратился в превосходную белоснежную известь. Но сверху, посреди круга — тоже белоснежный и тоже ставший известью — лежал человеческий скелет в той позе, которую люди принимают, когда ложатся отдохнуть после долгих трудов. Под ребрами — как это ни странно — виднелись очертания человеческого сердца.

— У него что, сердце было из мрамора?! — недоуменно вскричал Бартрам при виде этого необыкновенного явления. — В любом разе, оно

прогорело, похоже, став первосортной известью. Если еще и кости вместе собрать, извести в моей печи станет на бушель больше.

С этими словами толстокожий обжигальщик поднял прут, ударил им по скелету, и останки Итана Бренда рассыпались на мелкие кусочки.